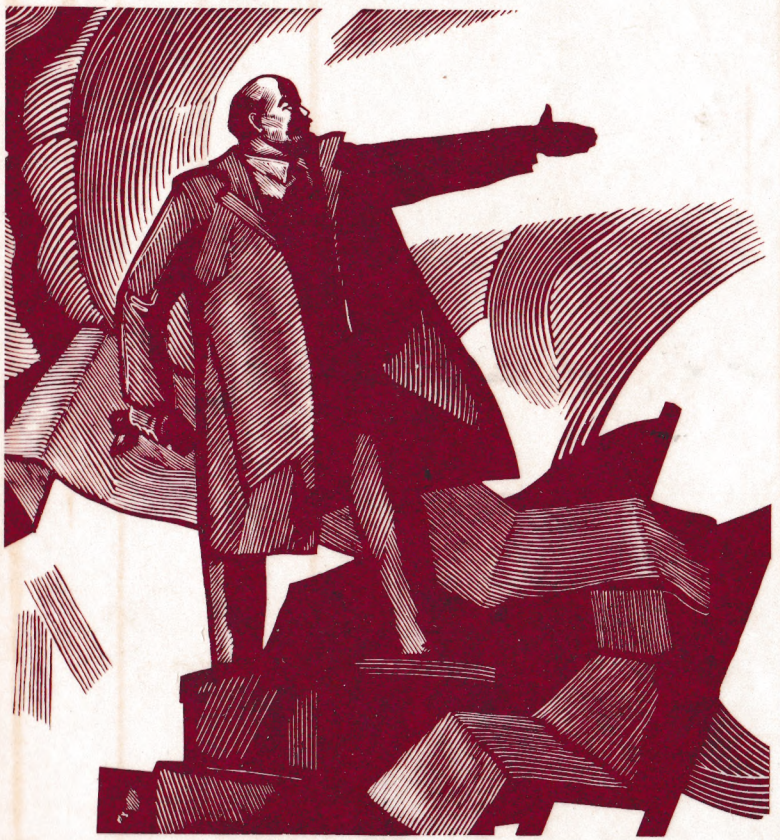


Юношеская Библиотека

О ЛЕНИНЕ

О ЛЕНИНЕ







Н. К. КРУПСКАЯ
В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧ
А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ
М. ГОРЬКИЙ
В. МАЯКОВСКИЙ

О ЛЕНИНЕ

В эту книгу включены воспоминания Н. К. Крупской, В. Д. Бонч-Бруевича, А. В. Луначарского, А. М. Горького о Владимире Ильиче Ленине. Они рассказывают о жизни, в которой для нас дороги и значительны каждый день, каждый час. Со страниц воспоминаний встает образ негибаемого борца, замечательного теоретика, вождя пролетариата, образ чуткого, заботливого, внимательного человека.

Заключает книгу поэма В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин».

Издание посвящается 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина.

Общественная редколлегия
серии книг «Юношеская библиотека»:
Л. Н. Бузилова, И. В. Зырянов,
А. П. Климова, О. Д. Коровин,
Л. И. Кузьмин, А. П. Лебеденко,
О. К. Селянкин (председатель общественной редколлегии), В. М. Ширинкин

Н. К. КРУПСКАЯ

О ВЛАДИМИРЕ
ИЛЬИЧЕ

Из воспоминаний

ДЕТСТВО И РАННЯЯ ЮНОСТЬ ИЛЬИЧА

Я буду писать о детстве Владимира Ильича главным образом то, что слышала от него самого за время нашей совместной жизни. Правда, поглощенный революционной деятельностью, он мало пускался в воспоминания — так, при случае что-нибудь расскажет. Но мы были с ним людьми одного поколения (я на год старше его), росли приблизительно в одной и той же среде, в среде так называемой разночинной интеллигенции. Поэтому его воспоминания, хотя и отрывочные, мне говорили об очень многом.

Родился Владимир Ильич 22 апреля 1870 г. в приволжском городке Симбирске и прожил там до 17 лет. Это был губернский город, но, когда смотришь теперь на зарисовки улиц, домов, окрестностей Симбирска того времени, чувствуешь, какая тихая заводь это была тогда. Не было там ни фабрик, ни заводов, не было даже

железной дороги; ни телефонов, ни радио, конечно, не было.

Настоящая фамилия Ильича была Ульянов. Только много позже, став революционером, он стал писать по конспиративным соображениям под вымышленной фамилией Ленин, стали так его называть. Теперь Симбирск в память Ильича носит имя Ульяновск. Сейчас Ульяновск — главным образом учебный городок, много там учащейся молодежи...

Отец Владимира Ильича, Илья Николаевич, был простого звания, из астраханских мещан. Жил он в тяжелых условиях, принадлежал к так называемому податному сословию, которому загражден был путь к образованию. С семи лет он остался сиротой и только благодаря помощи старшего брата, отдавшего последние гроши на его образование, благодаря необычайной талантливости и упорному труду удалось Илье Николаевичу «выйти в люди», кончить гимназию и Казанский университет в 1854 г. Он стал педагогом, сначала преподавал физику и математику в старших классах Пензенского дворянского института, потом был преподавателем в мужской и женской гимназиях в Нижнем Новгороде, затем в Симбирске был инспектором, а потом директором народных училищ. Илья Николаевич кончил Казанский университет в разгар Крымской войны. Эта война вскрыла с особой силой всю гнилость крепостного права, ярко осветила всю дикость николаевского режима. Это было время, когда резко критиковались крепостническая эпоха, крепостнический уклад, но революционное движение еще не оформилось.

Чтобы понять до конца, кем был Илья Николаевич, надо почитать «Современник», выходивший под редакцией Некрасова и Панаева, где сотрудничали Белинский, Чернышевский, Добролюбов. И старшая сестра Ильича — Анна Ильинична — и сам Владимир Ильич вспоминали, как любил Илья Николаевич стихи Некрасова. Как педагог, Илья Николаевич особенно усердно читал Добролюбова. Педагогический фронт был в то время фронтом борьбы против крепостничества... В школе царил самый бурсацкий режим; даже в гимназиях, куда принимались лишь дети дворян да служащих, практиковалась порка.

Известно, какую борьбу против крепостнической школы вел Добролюбов. Он умер в 1861 г. 25-летним юно-

шей. В 1857 г. была напечатана его статья «О значении авторитета в воспитании», посвященная вопросу об авторитете учителя. Добролюбов сравнивал в этой статье авторитет при рабском, крепостническом укладе школы с авторитетом, который приобретает учитель, педагог благодаря уважению со стороны учеников...

Некрасов, которого так любил отец Ленина, Илья Николаевич, в стихах «Памяти Добролюбова» писал о нем:

...Ты жажде сердца не дал утоленья;
Как женщину, ты родину любил,
Свои труды, надежды, помышленья
Ты отдал ей; ты честные сердца
Ей покорял. Взывая к жизни новой,
И светлый рай, и перлы для венца
Готовил ты любовнице суровой.
Но слишком рано твой ударил час,
И вешнее перо из рук упало.
Какой светильник разума угас!
Какое сердце биться перестало!

Добролюбов покори́л и честное сердце Ильи Николаевича, и это определило работу Ильи Николаевича как директора народных училищ Симбирской губернии и как воспитателя своего сына — Ленина — и других своих детей, которые все стали революционерами.

До того времени как в Симбирской губернии начал работать Илья Николаевич, крестьянство этой губернии было почти сплошь безграмотно. Усилиями Ильи Николаевича число школ в губернии возросло до 450; громадную работу провел он с учительством. Открытие школ делалось не просто приказом, приходилось ездить на места, трястись в телеге, ночевать на постоянных дворах, препираться с урядниками, созывать крестьянские сходы. Жадно слушал рассказы отца о деревне Ильич. Много слышал он о деревне еще малышом от няни, которую он очень любил, от матери, которая тоже выросла в деревне.

Это заставляло Ильича с детства внимательно вглядываться в жизнь деревни, это наложило печать на всю его деятельность как революционера, это дало ему возможность, изучив марксизм, понять, что социализм может победить и в нашей отсталой России с ее многочисленным разрозненным крестьянством, это дало ему возможность наметить правильный путь борьбы, приведший к победе нашу великую Родину.

Илья Николаевич рос в Астрахани, не отгороженный от жизни стеной, и он видел, как затоптаны были «иностранцы» — калмыки. В своей деятельности, как директор народных училищ, Илья Николаевич особое внимание обращал на то, чтобы вооружить знаниями многочисленных «иностранцев», как тогда их называли, населявших Симбирскую губернию.

В 1937 г. я получила письмо от чуваша — учителя Полеводо-Сундырской неполной средней школы Батыревского района Чувашской АССР — Ивана Яковлевича Зайцева. Ему 77 лет. 55 лет уже учителем он в чувашских школах. Имеет звание «героя труда», «отличника-просвещенца». Активный общественник. Вел работу по ликвидации неграмотности и малограмотности, был председателем союза работников просвещения, был членом сельсовета, месткома и пр. Работал по сельскохозяйственной статистике, был инструктором во всех народных переписях, вел работу на метеорологической станции и т. д.

Иван Яковлевич — сын батрака. С 8 до 13 лет пас гусей. Страстно хотелось ему учиться, и он бежал потихоньку от отца из дому, чтобы поступить в школу. Два дня пробирался он до Симбирска и хотя опоздал к началу занятий, но все же поступил в школу благодаря Илье Николаевичу Ульянову, который пожалел мальчонку. Иван Яковлевич Зайцев рассказывает, как однажды, в первый год его пребывания в школе, на урок арифметики пришел Илья Николаевич Ульянов. Илья Николаевич вызвал его к доске; Зайцев хорошо решил и объяснил задачу. Илья Николаевич сказал: «Хорошо, иди на место!»

«После обеда,— рассказывает в своем письме Иван Яковлевич,— ученикам была дана самостоятельная письменная работа — сочинение. Учитель задал тему «Впечатление сегодняшнего дня». При этом он объявил, что мы можем писать о любом случае из своей школьной жизни, который сами считаем особенно важным. Одним словом, о чем угодно.

Все ученики на несколько минут призадумались, подыскивая подходящую тему. Некоторые вспомнили довольно смешные случаи из школьной жизни, а другие старались выдумывать из головы. Мне не пришлось долго искать тему, так как у меня не выходило из головы посещение урока математики директором Ильей Николае-

вичем и его объяснение плана решения задачи. Я и решил писать об этом.

Я написал: «Сегодня, в 9 часов утра, во время урока математики, пришел к нам г. директор, Илья Николаевич. Вызвали меня к классной доске и задали задачу, в которой несколько раз повторялось слово «гривенник». Я записал задачу, прочитал ее и стал планировать ход решения. Г. директор, Илья Николаевич, задал мне наводящие вопросы, и тут я заметил, что Илья Николаевич чуточку картавил и слово «гривенник» выговаривал «ггивенник». Это врезалось мне в голову и заставило думать: «Я ученик, и то умею правильно произносить звук «р», а он, директор, такой большой и ученый человек, не умеет произносить звук «р», а говорит «гг».

Далее я писал о кое-какой мелочи и на этом кончил сочинение. Дежурный собрал тетради и сдал учителю В. А. Калашникову.

Через два дня, после обеда, на уроке должно было быть изложение прочитанной статьи. Нам роздали наши тетради. Все бросились смотреть отметки. Одни радовались, другие так себе, не выказывали ни радости, ни горя. Учитель Калашников умышленно оставил мою тетрадь у себя. Потом, швырнув мне тетрадь в лицо, с возмущением сказал: «Свинья!»

Я взял тетрадь, раскрыл ее и увидел, что мое сочинение перечеркнуто красным крестом, а в конце его стоит отметка «0» — ноль. Потом подпись. Я чуть не заплакал. Слезы выступили из глаз. Я от природы был прост, наивен, впечатлителен и правдив. Таким я остался на всю жизнь.

Во время письменной работы в класс вошел Илья Николаевич. Поздоровались и продолжали работу. Илья Николаевич ходил между партами, кое-где оставался, наблюдая за работой. Дошел и до меня. Увидел на моем прошлом сочинении красный крест и отметку ноль, положил одну руку мне на плечо, другой взял мою тетрадь, стал читать. Читает и улыбается. Потом подозвал учителя, спросил: «За что вы, Василий Андреевич, наградили этого мальчика орденом красного креста и огромнейшей картошкой? Сочинение написано грамматически правильно, последовательно, и нет здесь ничего выдуманного, искусственного. Главное — *написано искренно* и вполне соответствует данной вами теме».

Учитель замялся, сказал, что в моем сочинении есть места, не совсем удобные для начальствующих, что будет он... Директор И. Н. Ульянов, не дав ему договорить, перебил его и сказал: «Это сочинение — одно из лучших. Читайте заданную вами тему: «Впечатление сегодняшнего дня». Ученик написал именно то, что произвело на него наибольшее впечатление во время прошлого урока. Сочинение отличное». Потом он взял мою ручку и в конце сочинения написал: «Отлично» — и подписался: «Ульянов».

Этот случай я никогда не забуду: его нельзя забыть. Илья Николаевич доказал, насколько он был добр, прост, справедлив».

Такое отношение Ильи Николаевича к нацменам не могло не повлиять на Ильича, который слушал, что говорил отец, что говорили другие. Владимир Ильич рассказывал мне как-то об отношении симбирских обывателей к нацменам: «Начнут говорить о татарине, скажут презрительно «князь», говорят об еврее — непременно скажут «жид», о поляке — «полячишка», об армянине — «армяшка».

Ильич шел по стопам отца: в старшем классе гимназии он целый год занимался с товарищем чувашом, отставшим по русскому языку, чтобы подготовить его к поступлению в университет, и подготовил.

Но и на всю революционную деятельность Ильича повлияло это отношение Ильи Николаевича к нацменам: все знают, какую громадную работу проделал Ленин, закладывая основы дружбы народов СССР.

О крепкой воле писал Добролюбов. Методами Добролюбова воспитывал Ильича отец. Владимир Ильич поступил в гимназию девяти с половиной лет, все время учился отлично, кончил с золотой медалью. Это не так легко ему давалось, как многие думают. Ильич был очень живым. Любил ходить далеко, гулять, любил Волгу, Свиягу, любил купаться, плавать, любил кататься на коньках. Ильич рассказывал мне как-то: «Любил я очень коньки, но увидел, что это мешает учиться, — бросил». Он страшно любил читать, книги захватывали его, увлекали, говорили о жизни, о людях, ширили горизонт, а учеба в гимназии была скучная, мертвая, приходилось брать себя в руки, чтобы заучивать всякий ненужный хлам, но у него был заведен такой порядок: сначала уроки выучит, потом за чтение возьмется. Дер-

жал себя в руках. Время экономил. Когда читал, очень сосредоточивался и потому читал очень быстро. Делал для себя выписки из книг, старался тратить на запись поменьше времени. Кто видел почерк Ильича, знает, как он своеобразно сокращал слова. Благодаря этому он мог записывать то, что ему надо, очень быстро.

Сильную волю он в себе выработал. Что скажет — сделает. На его слово можно было положиться. Как-то, мальчиком еще, он пробовал курить. Увидя его как-то курящим, его мать, Мария Александровна, очень огорчилась и стала просить его: «Володюшка, брось курить». Ильич обещал и с тех пор ни разу не дотронулся до папирос.

Илья Николаевич, обращая внимание на то, чтобы Владимир Ильич хорошо и упорно учился, все же старался воспитать в нем, как того требовал Добролюбов, сознательное отношение к тому, чему и как учили его в школе. Учительница Кашкадамова, с особенной любовью вспоминая об Илье Николаевиче, под руководством которого она работала, рассказывала о том, как Илья Николаевич любил поддразнивать Володю и шутя ругал гимназию, гимназическое преподавание, очень остро высмеивал преподавателей. Володя всегда удачно парировал отцовские удары и в свою очередь начинал говорить о недочетах низшей школы, иногда умея задеть отца за живое.

Из рассказа В. В. Кашкадамовой видно, как Илья Николаевич учил Ильича всматриваться в жизнь, но в то же время, когда Ильич позволял себе насмешки в классе над учителями, например над учителем французского языка Пором, Илья Николаевич сдерживал его, говорил о недопустимости грубого отношения к учителям, даже имеющим серьезные недостатки в преподавании. И Владимир Ильич сдерживал себя.

И еще одну черту воспитало в Ильиче добролюбовское отношение к детям: это умение и к себе, к своей деятельности подходить с точки зрения интересов дела. Это застраховало Ильича от мелочного самолюбия.

Кроме строгого отношения к себе, Илья Николаевич, как это видно из воспоминаний Зайцева, особо ценил в детях искренность, старался воспитывать ее в ребятах. О важности воспитания искренности писал Добролюбов. Одной из особенно характерных черт Ильича была искренность.

Когда Ильичу было 14—15 лет, он много и с увлечением читал Тургенева. Он мне рассказывал, что тогда ему очень нравился рассказ Тургенева «Андрей Колосов», где ставился вопрос об искренности в любви. Мне тоже в эти годы очень нравился «Андрей Колосов». Конечно, вопрос не так просто разрешается, как там описано, и не в одной искренности дело, нужна и забота о человеке и внимание к нему, но нам, подросткам, которым приходилось наблюдать в окружающем мещанском быту еще очень распространенные тогда браки по расчету, очень большую неискренность,— нравился «Андрей Колосов». Потом нам страшно нравилось «Что делать?» Чернышевского. Ильич читал его впервые в гимназические времена. Помню, как меня удивило, когда мы в Сибири стали говорить на эти темы, в каких деталях знал этот роман Чернышевского Ильич. С этого романа началось его увлечение Чернышевским...

Ильич читал все детские журналы и книги, которые присылали отцу, в том числе «Детское чтение». В детских журналах того времени еще много писалось об Америке (как известно, с 1861 по 1865 г. шла борьба Северных штатов с Южными за уничтожение рабства негров в Южных штатах; борьба шла в целях расчистки почвы для более широкого развития капитализма, но велась под флагом борьбы за свободу), писалось много о войне с Турцией, о Балканах. Брал также Ильич книги у старшего брата. Одноклассник Ильича Кузнецов вспоминает, что Ильич всегда писал очень хорошо сочинения по литературе. Когда Ильич учился в гимназии, там директором был Ф. М. Керенский (отец А. Ф. Керенского — эсера, премьер-министра Временного правительства в 1917 г.); он же преподавал и литературу. За все сочинения Керенский ставил Ильичу всегда пятерки. Но однажды, возвращая сочинение, он сказал Ильичу недовольным тоном: «О каких это угнетенных классах вы тут пишете, при чем это тут?» Ученики заинтересовались: сколько же поставил Ульянову за сочинение Керенский? Оказалось, все же пятерка стоит.

Семья Ульяновых была большая — шесть человек детей. Все они росли парами: старшие — Анна и Александр, потом Владимир и Ольга и, наконец, младшие — Дмитрий и Мария. Ильич очень дружил с Ольгой, в детстве играл с ней, позднее вместе читали они Маркса:

В 1890 г. она поехала на Высшие женские курсы в Петер и умерла там весной 1891 г. от тифа.

Александр рос революционером и имел очень сильное влияние на Ильича. Старшие увлекались поэтами «Искры» — так называли себя поэты-чернышевцы (братья Курочкины, Минаев, Жулев и др.), которые особо резко высмеивали пережитки эпохи крепостничества в быту, в нравах, старались показать «все недостойное, подлое, злое» — бюрократизм, подхалимство, фразерство. Особенно много стихов поэтов «Искры», легальных и нелегальных, знала Анна Ильинична, сама писавшая стихи. Она помнила их всю жизнь... и меня всегда удивляла ее колоссальная память. Она помнила целый ряд любимых стихов тогдашней передовой интеллигенции. Меня удивило, когда мы были с Ильичем в ссылке в Сибири, какое количество стихов поэтов «Искры» он знал!

«Не таким путем надо идти» *

Обывательских сплетен, пустопорожней болтовни, которую так высмеивали поэты «Искры», не терпел Ильич, как и его старший брат — Александр... Александр Ильич усиленно читал Писарева, который увлекал его своими статьями по естествознанию, в корне подрывавшими религиозные воззрения. Писарев тогда был запрещен. Читал Писарева усиленно и Владимир Ильич, когда ему было еще лет 14—15... А Илья Николаевич так и остался верующим до конца жизни, несмотря на то, что был преподавателем физики, метеорологом. Его волновало, что его сыновья перестают верить. Александр Ильич главным образом под влиянием Писарева перестал ходить в церковь. Анна Ильинична вспоминает, что одно время Илья Николаевич спрашивал за обедом Сашу: «Ты нынче ко всеобщей пойдешь?», тот отвечал кратко и твердо: «Нет». И вопросы эти перестали повторяться. А Ильич рассказывал, что, когда ему было лет пятнадцать, у отца раз сидел какой-то педагог, с которым Илья Николаевич говорил о том, что дети его плохо посещают церковь. Владимира Ильича, присутствовавшего при начале разговора, отец услав с каким-то по-

* Здесь и далее отмечены звездочками подзаголовки, данные В. С. Дридзо, подготовившей воспоминания Н. К. Крупской для издательства «Детская литература».

ручением. И когда, выполнив его, Ильич проходил потом мимо, гость с улыбкой посмотрел на Ильича и сказал: «Сечь, сечь надо». Возмущенный Ильич решил порвать с религией, порвать окончательно; выбежав во двор, он сорвал с шеи крест, который носил еще, и бросил его на землю.

Александр Ильич стал естественником, уехал в Питер, в университет, учиться. Втягиваясь в революционную работу, конспирируя даже от Анны Ильиничны, он в последнее лето, приехав домой, ничего не говорил о ней никому. А Ильичу ужасно хотелось с кем-нибудь поговорить о тех мыслях, которые зародились у него. В гимназии он не находил никого, с кем бы можно было поговорить об этом. Он рассказывал как-то: показалось ему, что один из его одноклассников революционно настроен, решил поговорить с ним, сговорились идти на Свягу. Но разговор не состоялся. Гимназист начал говорить о выборе профессии, говорил о том, что надо выбрать ту профессию, которая поможет лучше устроиться, сделать карьеру. Ильич рассказывал: «Подумал я: карьерист какой-то, а не революционер» — и не стал с ним ни о чем говорить...

Не только глубоко было влияние на Ильича отца и брата, очень сильно было влияние на него и матери. Мать Марии Александровны была немка, а отец был родом с Украины; был крупным врачом-хирургом и, проработав 20 лет на медицинском поприще, купил домик в деревне в 40 верстах от Казани, в Кокушкине, лечил крестьян. Марию Александровну он не захотел отдавать ни в какое учебное заведение, училась она дома, была прекрасной музыкантшей, много читала, знала жизнь. Отец приучал ее к большому порядку, она была хорошей хозяйкой, учила потом хозяйству и своих дочерей. Когда она вышла замуж, когда стала расти у них семья, на нее легло много забот. Жалованья Ильи Николаевича еле-еле хватало, надо было много работать, чтобы создать тот уют, тот порядок, который был в семье Ульяновых, который давал возможность всем детям спокойно, толково учиться, который позволял привить детям ряд культурных привычек.

На учебу ребят Мария Александровна, как и отец Ильича, обращала очень большое внимание, учила их немецкому языку, и Ильич, улыбаясь, рассказывал, как его нахваливал в младших классах немец-учитель.

Ильич потом очень увлекался изучением языков, даже латыни. Мне кажется, что талант организатора, который был присущ Ильичу, он в значительной мере унаследовал от матери.

Кроме того, мать примером своим показывала старшим, как надо заботиться о младших. Она организовала хоровое пение ребят, которое они ужасно любили, играла с ними. И Ильич с ранних лет заботился о младшем брате и сестре. В этом отношении замечательно много интересных воспоминаний сохранилось у Марии Ильиничны и Дмитрия Ильича. В игру он умел вносить известную организованность, и столько мягкости, внимания было у него во время игры к младшим.

Эта забота о младших наложила печать на все его отношения к детям и в дальнейшем. Он любил с ними поиграть, пошутить, но никогда я не видела, чтобы он над ними строжился, не любил, когда и другие строжились, никогда он их не поучал, как иной раз изображают это на картинах.

В детях он видел продолжателей того дела, которому отдал всю свою жизнь. Бывало, болтает с ребятами и, не требуя ответа, а просто выражая свои чувства, говорит: «Не правда ли, ты ведь вырастешь, станешь коммунистом?» Все знают, как была велика его забота о детях, как он заботился об их питании, об их учебе, о том, чтобы сделать для них жизнь светлой, счастливой, как заботился о том, чтобы они были вооружены знаниями, необходимыми им для победы, умением работать и головой и руками, как того требует современная техника.

Ильич всегда очень любил мать, но особенно ценил он ее в годы ее тяжелых переживаний. В 1886 г. умер Илья Николаевич, и Ильич рассказывал мне, как мужественно она переносила смерть мужа, которого так любила, так уважала. Но особенно стал Ильич вглядываться в мать, понимать ее после гибели брата. Александр Ильич, видя тяжелую долю крестьянства, все те безобразия, которые кругом творятся, решил, что нужна борьба с царской властью. Он, будучи на четыре года старше Ильича, уже по-другому переживал и 1 марта 1881 г., иное у него отношение было к событиям.

В Питере Александр Ильич примкнул к партии «Народная воля» и принял активное участие в подготовке покушения на Александра III. Покушение не уда-

лось — 1 марта 1887 г. он вместе с другими товарищами был арестован.

Весть об аресте Александра Ильича получила в Симбирске учительница Кашкадамова, которая передала ее Ильичу как старшему сыну (ему уже было 17 лет) в семье Ульяновых. Анна Ильинична тоже училась в это время в Питере, на Высших женских курсах, и тоже была арестована. Передавать эту ужасную весть матери пришлось Ильичу. Он видел ее изменившееся лицо. Она собралась в тот же день ехать в Питер. В то время железных дорог в Симбирске не было, надо было до Сызрани ехать на лошадях, стоило это дорого, и обыкновенно ехавшие отыскивали себе попутчиков. Ильич побежал отыскивать матери попутчика, но весть об аресте Александра Ильича уже разнеслась по Симбирску, и никто не захотел ехать с матерью Ильича, которую перед этим все нахваливали как жену и вдову директора. От семьи Ульяновых отшатнулись все, кто раньше у них бывал, все либеральное «общество». Горе матери и испуг либеральной интеллигенции поразили 17-летнего юношу. Уехала мать; с тревогой ждал Ильич вестей из Питера, особенно заботился о младших, взял себя в руки, занимался. Много он после того дум передумал. По-новому зазвучал для него Чернышевский, стал искать он ответа у Маркса; «Капитал» был у брата, но прежде трудно было Ильичу в нем разобраться, а после гибели брата по-иному взялся он за изучение его. Брата казнили 8 мая. Получив об этом известие, Владимир Ильич сказал: «Нет, мы пойдем не таким путем. Не таким путем надо идти». Перед тем матери, начавшей ходатайствовать за сына и дочь, дали свидание с сыном, и это свидание потрясло его. Она стала было уговаривать сына подать прошение о помиловании, но, когда сын сказал ей: «Мама, я не могу этого сделать, это было бы неискренне», — она не стала его уговаривать и, прощаясь с ним, сказала: «Мужайся!» Ходила на суд, слушала речь сына.

Анну Ильиничну выпустили под надзор полиции, выслали в деревню Кокушкино под Казанью. Изменилась Мария Александровна, стала близка ей революционная деятельность ее детей, и особо горячо стали любить ее дети.

В 1899 г., когда она приехала в Петербург хлопотать о том, чтобы Владимира Ильича из Енисейской губер-

нии перевели за границу или хотя бы куда-нибудь ближе к Питеру, директор департамента полиции Зволянский зло ей сказал: «Можете гордиться своими детками: одного повесили, а о другом также плачет веревка». Мария Александровна поднялась и, полная достоинства, сказала: «Да, я горжусь своими детьми»... Ильич не раз говорил о матери, о том, какая громадная была у нее сила воли, говорил как-то: «Хорошо, что отец умер до ареста брата, если бы был жив отец, просто не знаю, что и было бы». Потом мне уже самой пришлось наблюдать Марию Александровну, встречать ее во время болезни Ильича в 1895 г., в доме предварительного заключения, куда она приходила на свидание с Ильичем, и поняла я, почему так любил ее Ильич. В «Письмах к родным», собранных и изданных Марией Ильиничной, каждая строчка его писем к матери дышит любовью и близостью к ней.

Пример матери не мог не повлиять на Ильича, и, как ни тяжело ему было, он взял себя в руки и сдал экзамены отлично, кончил гимназию с золотой медалью.

Летом Ульяновы переехали в Казань, Ильич поступил в Казанский университет, в котором когда-то учился его отец.

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕНИНЕ

В ПИТЕРЕ

1893—1898 гг.

Первая встреча

Владимир Ильич приехал в Питер осенью 1893 г., но я познакомилась с ним не сразу. Слышала я от товарищей, что с Волги приехал какой-то очень знающий марксист, затем мне принесли тетрадку «о рынках», порядком-таки зачитанную. В тетрадке были изложены взгляды, с одной стороны, нашего питерского марксиста, технолога Германа Красина, с другой — взгляды приезжего волжанина. Тетрадка была согнута пополам: на одной стороне растрепанным почерком, с помарками

и вставками, излагал свои мысли Г. Б. Красин, на другой — старательно, без помарок, писал свои примечания и возражения приезжий.

Вопрос о рынках тогда интересовал всех нас, молодых марксистов.

В питерских марксистских кружках в это время стало уже откристаллизовываться особое течение. Суть его заключалась в том, что процессы общественного развития представителям этого течения казались чем-то механическим, схематическим. При таком понимании общественного развития отпадала совершенно роль масс, роль пролетариата. Революционная диалектика марксизма выбрасывалась куда-то за борт, оставались мертвые «фазы развития». Конечно, сейчас каждый марксист сумел бы опровергнуть эту «механистическую» точку зрения, но тогда наши питерские марксистские кружки весьма волновались по этому поводу. Мы были еще очень плохо вооружены — многие из нас не знали из Маркса, например, ничего, кроме первого тома «Капитала», даже «Коммунистического манифеста» в глаза не видали и лишь инстинктом чувствовали, что эта «механистичность» — прямая противоположность живому марксизму.

Вопрос о рынках стоял в тесной связи с этим общим вопросом понимания марксизма.

Сторонники «механистичности» обычно очень абстрактно подходили к вопросу...

Вопрос о рынках в его трактовке приезжим марксистом ставился архиконкретно, связывался с интересами масс, чувствовался во всем подходе именно живой марксизм, берущий явления в их конкретной обстановке и в их развитии.

Хотелось поближе познакомиться с этим приезжим, узнать поближе его взгляды.

Увидала я Владимира Ильича лишь на масленице. На Охте у инженера Классона, одного из видных питерских марксистов, с которым я года два перед тем была в марксистском кружке, решено было устроить совещание некоторых питерских марксистов с приезжим волжанином. Для ради конспирации были устроены блины. На этом свидании, кроме Владимира Ильича, были: Классон, Я. П. Коробко, Серебровский, Ст. Ив. Радченко и другие; должны были прийти Потресов и Струве, но, кажется, не пришли. Мне запомнился один момент.

Речь шла о путях, какими надо идти. Общего языка как-то не находилось. Кто-то сказал — кажется, Шевлягин, — что очень важна вот работа в комитете грамотности. Владимир Ильич засмеялся, и как-то зло и сухо звучал его смех — я потом никогда не слыхала у него такого смеха:

«Ну, что ж, кто хочет спасти отечество в комитете грамотности, что ж, мы не мешаем».

Надо сказать, что наше поколение подростками еще было свидетелями схватки народовольцев с царизмом, свидетелями того, как либеральное «общество» сначала всячески «сочувствовало», а после разгрома партии «Народная воля» трусливо поджало хвост, боялось всякого шороха, начало проповедь «малых дел».

Злое замечание Владимира Ильича было понятно. Он пришел сговариваться о том, как идти вместе на борьбу, а в ответ услышал призыв распространять брошюры комитета грамотности.

Потом, когда мы близко познакомились, Владимир Ильич рассказал мне однажды, как отнеслось «общество» к аресту его старшего брата. Все знакомые отшатнулись от семьи Ульяновых, перестал бывать даже старичок учитель, приходивший раньше постоянно играть по вечерам в шахматы. Тогда еще не было железной дороги из Симбирска, матери Владимира Ильича надо было ехать на лошадях до Сызрани, чтобы добраться до Питера, где сидел сын. Владимира Ильича послали искать попутчика — никто не захотел ехать с матерью арестованного.

Эта всеобщая трусость произвела, по словам Владимира Ильича, на него тогда очень сильное впечатление.

Это юношеское переживание, несомненно, наложило печать на отношение Владимира Ильича к «обществу», к либералам. Он рано узнал цену всякой либеральной болтовни.

На «блинах» ни до чего не договорились, конечно. Владимир Ильич говорил мало, больше присматривался к публике. Людям, называвшим себя марксистами, стало неловко под пристальными взорами Владимира Ильича.

Помню, когда мы возвращались, идя вдоль Невы с Охты домой, мне впервые рассказали о брате Владимира Ильича, бывшего народовольцем, принимавшем участие в покушении на убийство Александра III

в 1887 г. и погибшем от руки царских палачей, не достигнув еще совершеннолетия.

Владимир Ильич очень любил брата. У них было много общих вкусов, у обоих была потребность долго оставаться одному, чтобы можно было сосредоточиться. Они жили обычно вместе, одно время в особом флигеле, и когда заходил к ним кто-либо из многочисленной молодежи — двоюродных братьев или сестер — их было много, у мальчиков была излюбленная фраза: «Осчастливьте своим отсутствием». Оба брата умели упорно работать, оба были революционно настроены. Но сказывалась, вероятно, разница возрастов. Александр Ильич не обо всем говорил с Владимиром Ильичем.

Вот что рассказывал Владимир Ильич.

Брат был естественником. Последнее лето, когда он приезжал домой, он готовился к диссертации о кольчатых червях и все время работал с микроскопом. Чтобы использовать максимум света, он вставал на заре и тотчас же брался за работу. «Нет, не выйдет из брата революционера, подумал я тогда, — рассказывал Владимир Ильич, — революционер не может уделять столько времени исследованию кольчатых червей». Скоро он увидел, как он ошибся.

Судьба брата имела, несомненно, глубокое влияние на Владимира Ильича. Большую роль при этом сыграло то, что Владимир Ильич к этому времени уже о многом самостоятельно думал, решал уже для себя вопрос о необходимости революционной борьбы.

Если бы это было иначе, судьба брата, вероятно, причинила бы ему только глубокое горе или, в лучшем случае, вызвала бы в нем решимость и стремление идти по пути брата. При данных условиях судьба брата обострила лишь работу его мысли, выработала в нем необычайную трезвость, умение глядеть правде в глаза, не давать себя ни на минуту увлечь фразой, иллюзией, выработала в нем величайшую честность в подходе ко всем вопросам...

Пропаганда марксизма *

Зимой 1894/95 г. я познакомилась с Владимиром Ильичем уже довольно близко. Он занимался в рабочих кружках за Невской заставой, я там же четвертый год учительствовала в Смоленской вечерне-воскресной

школе и довольно хорошо знала жизнь Шлиссельбургского тракта¹. Целый ряд рабочих из кружков, где занимался Владимир Ильич, были моими учениками по воскресной школе: Бабушкин, Боровков, Грибакин, Бодровы — Арсений и Филипп, Жуков и др. В те времена вечерне-воскресная школа была прекрасным средством широкого знакомства с повседневной жизнью, с условиями труда, настроением рабочей массы. Смоленская школа была на 600 человек, не считая вечерних технических классов и примыкавших к ней школ женской и Обуховской. Надо сказать, что рабочие относились к «учительницам» с безграничным доверием: мрачный сторож громовских лесных складов с просиявшим лицом докладывал учительнице, что у него сын родился; чахоточный текстильщик желал ей за то, что выучила грамоте, удалого жениха; рабочий-сектант, искавший всю жизнь бога, с удовлетворением писал, что только на страстной узнал он от Рудакова (другого ученика школы), что бога вовсе нет, и так легко стало, потому что нет хуже, как быть рабом божьим, — тут тебе податься некуда, рабом человеческим легче быть — тут борьба возможна; напивавшийся каждое воскресенье до потери человеческого облика табачник, так насквозь пропитанный запахом табака, что, когда наклонился к его тетрадке, голова кружилась, писал каракулями, пропуская гласные, — что вот нашли на улице трехлетнюю девчонку, и живет она у них в артели, надо в полицию отдавать, а жаль; приходил одноногий солдат и рассказывал, что Михайла, который у вас прошлый год грамоте учился, надорвался над работой, помер, а помирая, вас вспоминал, велел поклониться и жить долго приказал; рабочий-текстильщик, горой стоявший за царя и попов, предупреждал, чтобы «того, черного, остерегаться, а то он все на Гороховую шляется»²; пожилой рабочий толковал, что никак он из церковных старост уйти не может, «потому что больно попы народ обдувают и их надо на чистую воду выводить, а церкви

¹ Рабочий пригород Петербурга, расположенный за Невской заставой; раньше он назывался Невским, теперь Володарским районом. Через него вдоль Невы проходила большая почтовая дорога (тракт) на Шлиссельбург, вдоль которой и расположено большинство фабрик и заводов этого района. — *Прим. авт.*

² На Гороховой помещалось охранное отделение — орган тайной полиции в царской России, ведавший политическим сыском.

он совсем даже не привержен и насчет фаз развития понимает хорошо» и т. д. и т. п. Рабочие, входившие в организацию, ходили в школу, чтобы приглядываться к народу и намечать, кого можно втянуть в кружки, вовлечь в организацию. Для них учительницы не все уже были на одно лицо, они уж различали, кто из них насколько подготовлен. Если признают, что учительница «своя», дают ей знать о себе какой-нибудь фразой, например при обсуждении вопроса о кустарной промышленности скажут: «Кустарь не может выдержать конкуренции с крупным производством», или вопрос загнут: «А какая разница между петербургским рабочим и архангельским мужиком?» — и после этого смотрят уж на учительницу особым взглядом и кланяются ей по-особенному: «Наша, мол, знаем».

Что случится на тракту, сейчас же все рассказывали, знали — учительницы передадут в организацию.

Точно молчаливый уговор какой-то был.

Говорить в школе можно было, в сущности, обо всем, несмотря на то что в редком классе не было шпи-ка; надо было только не употреблять страшных слов «царь», «стачка» и т. п., тогда можно было касаться самых основных вопросов. А официально было запрещено говорить о чем бы то ни было: однажды закрыли так называемую повторительную группу за то, что там, как установил нагрывавший инспектор, преподавали десятичные дроби, разрешалось же по программе учить только четырем правилам арифметики.

Я жила в то время на Старо-Невском, в доме с проходным двором, и Владимир Ильич по воскресеньям, возвращаясь с занятий в кружке, обычно заходил ко мне, и у нас начинались бесконечные разговоры. Я была в то время влюблена в школу, и меня можно было хлебом не кормить, лишь бы дать поговорить о школе, об учениках, о Семянниковском заводе, о Торнтоне, Максвелле и других фабриках и заводах Невского тракта. Владимир Ильич интересовался каждой мелочью, рисовавшей быт, жизнь рабочих, по отдельным черточкам старался охватить жизнь рабочего в целом, найти то, за что можно ухватиться, чтобы лучше подойти к рабочему с революционной пропагандой. Большинство интеллигентов того времени плохо знало рабочих. Приходил интеллигент в кружок и читал рабочим как бы лекцию. Долгое время в кружках «проходила» по ру-

кописному переводу книжка Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Владимир Ильич читал с рабочими «Капитал» Маркса, объяснял им его, а вторую часть занятий посвящал вопросам рабочих об их работе, условиях труда и показывал им связь их жизни со всей структурой общества, говоря, как, каким путем можно переделать существующий порядок. Увязка теории и практики — вот что было особенностью работы Владимира Ильича в кружках. Постепенно такой подход стали применять и другие члены нашего кружка. Когда в следующем году появилась виленская гектографированная брошюра «Об агитации», — почва для ведения листковой агитации была уже вполне подготовлена, надо было только приступить к делу. Метод агитации на почве повседневных нужд рабочих в нашей партийной работе пустил глубокие корни. Я поняла вполне всю плодотворность этого метода только гораздо позже, когда жила в эмиграции во Франции и наблюдала, как во время громадной забастовки почтарей в Париже французская социалистическая партия стояла совершенно в стороне и не вмешивалась в эту стачку. Это-де дело профсоюзов. Они считали, что дело партии — только политическая борьба. Необходимость увязки экономической и политической борьбы была им совершенно неясна.

Многие из товарищей, работавших тогда в Питере, видя эффект листковой агитации, в увлечении этой формой работы забыли, что это одна из форм, но не единственная форма работы в массе, и пошли по пути пресловутого «экономизма».

Владимир Ильич никогда не забывал о других формах работы. В 1895 г. он пишет брошюру «Объяснение закона о штрафах, взимаемых с рабочих на фабриках и заводах». В этой брошюре Владимир Ильич дал блестящий образец того, как надо было подходить к рабочему-средняку того времени и, исходя из его нужд, шаг за шагом подводить его к вопросу о необходимости политической борьбы. Многим интеллигентам эта брошюра показалась скучной, растянутой, но рабочие зачитывались ею: она была им понятна и близка (брошюра была напечатана в народовольческой типографии и распространена среди рабочих). В то время Владимир Ильич внимательно изучал фабричные законы, считая, что, объясняя эти законы, особенно легко выяснить ра-

бочим связь их положения с государственным устройством...

Хождение по рабочим кружкам не прошло, конечно, даром: началась усиленная слежка. Из всей нашей группы Владимир Ильич лучше всех был подкован по части конспирации: он знал проходные дворы, умел великолепно надувать шпионов, обучал нас, как писать химией в книгах, как писать точками, ставить условные знаки, придумывал всякие клички. Вообще у него чувствовалась хорошая народовольческая выучка. Недаром он с таким уважением говорил о старом народовольце Михайлове, получившем за свою конспиративную выдержку кличку Дворник. Слежка все росла, и Владимир Ильич настаивал, что должен быть намечен «наследник», за которым нет слежки и которому надо передать все связи. Так как я была наиболее «чистым» человеком, то решено было назначить «наследницей» меня. В первый день пасхи нас человек 5—6 поехало «праздновать пасху» в Царское Село к одному из членов нашей группы — Сильвину, который жил там на уроке. Ехали в поезде как незнакомые. Чуть не целый день просидели над обсуждением того, какие связи надо сохранить. Владимир Ильич учил шифровать. Почти полкниги исшифровали. Увы, потом я не смогла разобрать этой первой коллективной шифровки. Одно было утешением: к тому времени, когда пришлось расшифровать, громадное большинство «связей» уже провалилось.

Владимир Ильич тщательно собирал эти «связи», выискивая всюду людей, которые могли бы так или иначе пригодиться в революционной работе. Помню, раз по инициативе Владимира Ильича было совещание представителей нашей группы (Владимира Ильича и, кажется, Кржижановского) с группой учительниц воскресной школы. Почти все они потом стали социал-демократками...

Организация растет *

Лето 1895 г. Владимир Ильич провел за границей, частью прожил в Берлине, где ходил по рабочим собраниям, частью в Швейцарии, где впервые видел Плеханова, Аксельрода, Засулич. Приехал полон впечатлений, захватив из-за границы чемодан с двойным дном, между стенками которого была набита нелегальная литература.

Тотчас же за Владимиром Ильичем началась бешеная слежка: следили за ним, следили за чемоданом. У меня двоюродная сестра служила в то время в адресном столе. Через пару дней после приезда Владимира Ильича она рассказала мне, что ночью, во время ее дежурства, пришел сыщик, перебирал дуги (адреса в адресном столе надевались по алфавиту на дуги) и хвастал: «Выследили важного государственного преступника Ульянова,— брата его повесили,— приехал из-за границы, теперь от нас не уйдет». Зная, что я знаю Владимира Ильича, двоюродная сестра поторопилась сообщить мне об этом. Я, конечно, сейчас же предупредила Владимира Ильича. Нужна была сугубая осторожность. Дело, однако, не ждало. Работа развевалась. Завели разделение труда, поделив работу по районам. Стали составлять и пускать листки. Помню, что Владимир Ильич составил первый листок к рабочим Семянниковского завода. Тогда у нас не было никакой техники. Листок был переписан от руки печатными буквами, распространялся он Бабушкиным. Из четырех экземпляров два выбрали сторожа, два пошли по рукам. Распространялись листки и по другим районам. Так, на Васильевском острове был составлен листок к работницам табачной фабрики Лаферм. А. А. Якубова и З. П. Неворова (Кржижановская) прибегли к такому способу распространения: свернув листки в трубочки так, чтобы их можно было удобно брать поодиночке, и пристроив соответственным образом передники, они, как только раздался гудок, пошли быстрым шагом навстречу работницам, валившим гурьбой из ворот фабрики, и почти пробежали мимо, рассовывая недоумевающим работницам в руки листки. Листок имел успех. Листки, брошюры шевелили рабочих. Решено было еще издавать — благо была нелегальная типография — популярный журнал «Рабочее дело». Тщательно готовил Владимир Ильич к нему материал. Каждая строчка проходила через его руки. Помню одно собрание у меня на квартире, когда Запорожец с необычайным увлечением рассказывал о материале, который ему удалось собрать на сапожной фабрике за Московской заставой. «За все штраф,— рассказывал он,— каблук на сторону посадишь — сейчас штраф». Владимир Ильич рассмеялся: «Ну, если каблук на сторону посадил, так штраф, пожалуй, и за дело». Материал собирал и проверял Вла-

димир Ильич тщательно. Помню, как собирался, например, материал о фабрике Торнтон. Решено было, что я вызову к себе своего ученика, браковщика фабрики Торнтон, Кроликова, уже высланного раньше из Петербурга, и соберу у него по плану, намеченному Владимиром Ильичем, все сведения. Кроликов пришел в какой-то занятой у кого-то шикарнейшей шубе, принес целую тетрадь сведений, которые были им еще устно дополнены. Сведения были очень ценные. Владимир Ильич на них так и накинулся. Потом я с Аполлиной Александровной Якубовой, повязавшись платочками и придав себе вид работниц, сами ходили еще в общежитие фабрики Торнтон, побывали и на холостяцкой половине и на семейной. Обстановка была ужасающая. Только на основании так собранного материала писал Владимир Ильич корреспонденции и листки. Посмотрите его листок к рабочим и работницам фабрики Торнтон. Какое детальное знание дела в нем видно! И какая это школа была для всех работавших тогда товарищей! Вот уж когда учились «вниманию к мелочам»...

В тюрьме *

Наше «Рабочее дело» не увидало света. 8 декабря было у меня на квартире заседание, где окончательно зачитывался уже готовый к печати номер. Он был в двух экземплярах. Один экземпляр взял Ванеев для окончательного просмотра, другой остался у меня. Наутро я пошла к Ванееву за исправленным экземпляром, но прислуга мне сказала, что он накануне съехал с квартиры. Раньше мы условились с Владимиром Ильичем, что я в случае сомнений буду наводить справки у его знакомого — моего сослуживца по Главному управлению железных дорог, где я тогда служила, — Чеботарева. Владимир Ильич там обедал и бывал каждый день. Чеботарева на службе не было. Я зашла к ним. Владимир Ильич на обед не приходил: ясно было, что он арестован. К вечеру выяснилось, что арестованы очень многие из нашей группы. Хранившийся у меня экземпляр «Рабочего дела» я отнесла на хранение к Нине Александровне Герд — моей подруге по гимназии, будущей жене Струве. Чтобы не всаждать еще больше арестованных, было решено пока «Рабочее дело» не печатать.

Этот петербургский период работы Владимира Ильича был периодом чрезвычайно важной, но невидной по существу, незаметной работы. Он сам так характеризовал ее. В ней не было внешнего эффекта. Вопрос шел не о героических подвигах, а о том, как наладить тесную связь с массой, сблизиться с ней, научиться быть выразителем ее лучших стремлений, научиться быть ей близким и понятным и вести ее за собой. Но именно в этот период петербургской работы выковывался из Владимира Ильича вождь рабочей массы.

Когда я пришла в первый раз после ареста нашей публики в школу, Бабушкин отозвал меня в угол под лестницу и там передал мне написанный рабочими листок по поводу ареста. Листок носил чисто политический характер. Бабушкин просил передать листок в технику и доставить им для распространения. До тех пор у нас с ним никогда не было прямой речи о том, что я связана с организацией. Я передала листок нашим. Помню это собрание — было оно на квартире Ст. Ив. Радченко. Собрались все остатки группы. Прочитав листок, Ляховский воскликнул: «Разве можно печатать этот листок, — он ведь написан на чисто политическую тему». Однако, так как листок был, несомненно, написан рабочими, по собственной инициативе, так как рабочие просили его непременно напечатать, решено было листок печатать. Так и сделали.

Сношения с Владимиром Ильичем завязались очень быстро. В те времена заключенным в «предварилке» можно было передавать книг сколько угодно, они подвергались довольно поверхностному осмотру, во время которого нельзя было, конечно, заметить мельчайших точек в середине букв или чуть заметного изменения цвета бумаги в книге, где писалось молоком. Техника конспиративной переписки у нас быстро совершенствовалась. Характерна была заботливость Владимира Ильича о сидящих товарищах. В каждом письме на волю был всегда ряд поручений, касающихся сидящих: к такому-то никто не ходит, надо подыскать ему «невесту», такому-то передать на свидании через родственников, чтобы искал письма в такой-то книге тюремной библиотеки, на такой-то странице, такому-то достать теплые сапоги и пр. Он переписывался с очень многими из сидящих товарищей, для которых эта переписка имела громадное значение. Письма Владимира Ильича

дышали бодростью, говорили о работе. Получая их, человек забывал, что сидит в тюрьме, и сам принимался за работу. Я помню впечатление от этих писем (в августе 1896 г. я тоже села). Письма молоком приходили через волю в день передачи книг — в субботу. Посмотришь на условные знаки в книге и удостоверись, что в книге письмо есть. В шесть часов давали кипяток, а затем надзирательница водила уголовных в церковь. К этому времени разрежешь письмо на длинные полоски, заваришь чай и, как уйдет надзирательница, начинаешь опускать полоски в горячий чай — письмо проявляется (в тюрьме неудобно было проявлять на свечке письма, вот Владимир Ильич додумался проявлять их в горячей воде), и такой бодростью оно дышит, с таким захватывающим интересом читается. Как на воле Владимир Ильич стоял в центре всей работы, так в тюрьме он был центром сношений с волей.

Кроме того, он много работал в тюрьме. Там было подготовлено «Развитие капитализма в России». Владимир Ильич заказывал в легальных письмах нужные материалы, статистические сборники. «Жаль, рано выпустили, надо бы еще немножко доработать книжку, в Сибири книги доставать трудно», — в шутку говорил Владимир Ильич, когда его выпустили из тюрьмы. Не только «Развитие капитализма» писал Владимир Ильич в тюрьме, писал листки, нелегальные брошюры, написал проект программы для первого съезда (он состоялся лишь в 1898 г., но намечался раньше), высказывался по вопросам, обсуждавшимся в организации. Чтобы его не накрыли во время писания молоком, Владимир Ильич делал из хлеба маленькие молочные чернильницы, которые — как только щелкнет фортка — быстро отправлял в рот.

«Сегодня съел шесть чернильниц», — в шутку добавлял Владимир Ильич к письму.

Но как ни владел Владимир Ильич собой, как ни ставил себя в рамки определенного режима, а нападала, очевидно, и на него тюремная тоска. В одном из писем он развивал такой план. Когда их водили на прогулку, из одного окна коридора на минутку виден кусок тротуара Шпалерной. Вот он и придумал, чтобы мы — я и Аполлинария Александровна Якубова — в определенный час пришли и стали на этот кусочек тротуара, тогда он нас увидит. Аполлинария почему-то не могла

пойти, а я несколько дней ходила и простаивала подолгу на этом кусочке. Только что-то из плана ничего не вышло, не помню уже отчего.

Пока Владимир Ильич сидел, работа на воле разрасталась, стихийно росло рабочее движение. После ареста Мартова, Ляховского и др. силы группы еще более ослабели. Правда, в группу входили новые товарищи, но это была публика уже менее идейно закаленная, а учиться уже было некогда, движение требовало обслуживания, требовало массы сил, все уходило на агитацию, о пропаганде некогда было и думать. Листковая агитация имела большой успех. Стачка 30 тысяч питерских текстилей, разразившаяся летом 1896 г., прошла под влиянием социал-демократов и многим вскрыла голову.

Помню, как однажды (кажется, в начале августа) на собрании в лесу, в Павловске, Сильвин читал вслух проект листка.

В одном месте там попалась фраза, прямо ограничивающая рабочее движение одной экономической борьбой. Прочтя ее вслух, Сильвин остановился. «Ну и загнул же я, как это меня угораздило»,— сказал он смеясь. Фраза была вычеркнута. Летом 1896 г. с треском провалилась Лахтинская типография, пропала возможность печатать брошюры, пришлось надолго отложить попечение о журнале.

Во время стачки 1896 г. в нашу группу вошла группа Тахтарева, известная под кличкой Обезьяны, и группа Чернышева, известная под кличкой Петухи. Но пока «декабристы» сидели в тюрьме и держали связь с волей, работа шла еще по старому руслу. Когда Владимир Ильич вышел из тюрьмы, я еще сидела. Несмотря на чад, охватывающий человека по выходе из тюрьмы, на ряд заседаний, Владимир Ильич ухитрился все же написать письмишко о делах.

Мама¹ рассказывала, что он в тюрьме поправился даже и страшно весел.

Меня выпустили вскоре после «ветровской истории» (заключенная Ветрова сожгла себя в Петропавловской крепости). Жандармы выпустили целый ряд сидевших женщин, выпустили и меня и оставили до окончания дела в Питере, приставив пару шпионов, ходивших всюду

¹ Елизавета Васильевна Крупская.

по стопам. Я застала организацию в самом плачевном состоянии. Из прежних работников остался только Степан Ив. Радченко и его жена. Сам он работы по конспиративным условиям уже вести не мог, но продолжал быть центром и держал связь. Держал связь и со Струве. Струве вскоре женился на Н. А. Герд, социал-демократке, Струве и сам в то время был социал-демократствующим.

Он совершенно не был способен к работе в организации, тем более подпольной, но ему льстило, несомненно, что к нему обращаются за советами. Он даже написал манифест для I съезда социал-демократической рабочей партии. Зимой 1897/98 г. я довольно часто бывала у Струве с поручениями от Владимира Ильича — тогда Струве издавал журнал «Новое слово», — да и так с Ниной Александровной меня многое связывало. Я приглядывалась к Струве. Он в то время был социал-демократом, но меня удивляла его книжность и почти полное отсутствие интереса к «живому дереву жизни», интереса, которого так много было у Владимира Ильича. Струве достал мне перевод и взялся его редактировать. Он, видимо, тяготился этой работой, быстро уставал (с Владимиром Ильичем мы часами сидели за аналогичной работой. Владимир Ильич совсем иначе работал, весь уходя в работу, даже такую, как перевод)...

Знала я и Туган-Барановского. Я училась вместе с его женой, Лидией Карловной Давыдовой (дочерью издательницы журнала «Мир божий»), и одно время захаживала к ним. Лидия Карловна была очень умная и хорошая, хотя и безвольная женщина. Она была умнее своего мужа. В его разговорах всегда чувствовался чужой человек. Раз я обратилась к нему с подписным листком на стачку (костромскую, кажется). Я получила сколько-то, не помню сколько, рублей, но должна была выслушать рассуждение на тему: «Непонятно-де, почему надо поддерживать стачки, — стачка недостаточно действительное средство борьбы с предпринимателями». Я взяла деньги и поторопилась уйти.

Я писала Владимиру Ильичу в ссылку обо всем, что приходилось видеть и слышать. Однако о работе организации мало чего можно было написать. Ко времени I съезда в ней было лишь четыре человека: Ст. Ив. Радченко, его жена Любовь Николаевна, Саммер и я. Делегатом от нас был Степан Иванович. Но, вернувшись со

съезда, он ничего почти не рассказал нам о том, что там произошло, вынул из корешка книги хорошо знакомый нам «манифест», написанный Струве и принятый съездом, и разрыдался: все почти участники съезда — их было несколько человек — были арестованы.

Мне дали три года Уфимской губернии, я перепросилась в село Шушенское Минусинского уезда, где жил Владимир Ильич, для чего объявилась его «невестой».

В ССЫЛКЕ

1898—1901 гг.

В Минусинск, куда я ехала на свой счет, поехала со мной моя мать. Приехали мы в Красноярск 1 мая 1898 г., оттуда надо было ехать на пароходе вверх по Енисею, но пароходы еще не ходили. В Красноярске познакомилась с народоправцем Тютчевым и его женой, которые, как люди опытные в этих делах, устроили мне свидание с проезжавшей через Красноярск партией ссыльных социал-демократов; в их числе были товарищи по одному со мною делу — Ленгник и Сильвин. Солдаты, приведя ссыльных в фотографию, сели в сторонку и жевали хлеб с колбаской, которыми их угостили...

В село Шушенское, где жил Владимир Ильич, мы приехали в сумерки; Владимир Ильич был на охоте. Мы выгрузились, нас провели в избу. В Сибири — в Минусинском округе — крестьяне очень чисто живут, полы устланы пестрыми самоткаными дорожками, стены чисто выбелены и украшены пихтой. Комната Владимира Ильича была хоть невелика, но также чиста. Нам с мамой хозяева уступили остальную часть избы. В избу набились все хозяева и соседи и усердно нас разглядывали и расспрашивали. Наконец вернулся с охоты Владимир Ильич. Удивился, что в его комнате свет. Хозяин сказал, что это Оскар Александрович (ссыльный питерский рабочий) пришел пьяный и все книги у него разбросал. Ильич быстро взбежал на крыльцо. Тут я ему навстречу из избы вышла. Долго мы проговорили в ту ночь.

В Шушенском из ссыльных было только двое рабочих — лодзинский социал-демократ, шляпочник, поляк Проминский с женой и шестью ребятами и путиловский рабочий Оскар Энгберг, финн по национальности. Оба —

очень хорошие товарищи. Проминский был спокойным, уравновешенным и очень твердым человеком. Он мало читал и не много знал, но обладал замечательно ярко выраженным классовым инстинктом. К своей верующей тогда еще жене относился спокойно-насмешливо. Он очень хорошо пел польские революционные песни «*Ludu goboczu, poznaj, poznaj swoje sily*», «*Pierwszy maj*»¹ и целый ряд других. Дети подпевали ему, присоединялся к хору и Владимир Ильич, очень охотно и много певший в Сибири. Пел Проминский и русские революционные песни, которым учил его Владимир Ильич. Проминский собирался назад в Польшу на работу и погубил несметное количество зайчишек, чтобы заготовить мех на шубки детям. Но добраться до Польши ему так и не удалось. Перебрался с семьей только поближе к Красноярску и служил на железной дороге. Дети выросли. Сам он стал коммунистом, коммунисткой стала пани Проминская, коммунистами стали дети. Один убит на войне. Другой чуть не погиб во время гражданской войны, теперь в Чите. Только в 1923 г. выбрался Проминский в Польшу, но по дороге умер от сыпного тифа.

Другой рабочий, Оскар, был совсем иного типа. Молодой, он был сослан за забастовку и за буйное поведение во время нее. Он много читал всякой всячины, но о социализме имел самое смутное представление. Раз приходит из волости и рассказывает: «Новый писарь приехал, сошлись мы с ним в убеждениях». — «То есть?» — спрашиваю. «Да и он, и я против революции». Мы с Владимиром Ильичем так и ахнули. На другой день я засела с ним за «Коммунистический манифест» (приходилось переводить с немецкого) и, одолев его, перешли к чтению «Капитала». Зашел как-то на занятия Проминский, сидит и посасывает трубочку. Я предлагаю какой-то вопрос по поводу прочитанного. Оскар не знает, что сказать, а Проминский спокойно так, улыбаясь, ответил на вопрос. На целую неделю бросил Оскар занятия. Но так парень хороший был. Больше ссыльных в Шушенском не было. Владимир Ильич рассказывал, что он пробовал завести знакомство с учителем, но ничего не вышло. Учитель тянул к местной аристократии: попу, паре лавочников. Дулись они в карты и выпивали. К общественным вопросам интереса у учителя никакого

¹ «Рабочий народ, познай свою силу», «Первое мая».

не было. С этим учителем постоянно препирался старший сын Проминского, Леопольд, тогда уже сочувствовавший социалистам.

Был у Владимира Ильича один знакомый крестьянин, которого он очень любил, Журавлев. Чахоточный, лет тридцати, Журавлев был раньше писарем. Владимир Ильич говорил про него, что он по природе революционер, протестант. Журавлев смело выступал против богатеев, не мирился ни с какой несправедливостью. Он все куда-то уезжал и скоро помер от чахотки.

Другой знакомый Ильича был бедняк, с ним Владимир Ильич часто ходил на охоту. Это был немудрый мужичонка — Сосипатычем его звали; он, впрочем, очень хорошо относился к Владимиру Ильичу и дарил ему всякую всячину: то журавля, то кедровых шишек.

Через Сосипатыча, через Журавлева Владимир Ильич изучал сибирскую деревню. Он мне рассказывал как-то об одном своем разговоре с зажиточным мужиком, у которого он жил. У того батрак украл кожу. Мужик накрыл его у ручья и прикончил. Говорил Ильич по этому поводу о беспощадной жестокости мелкого собственника, о беспощадной эксплуатации им батраков. И правда, как каторжные, работали сибирские батраки, отсыпаясь только по праздникам.

И еще был у Ильича способ изучать деревню. По воскресеньям он завел у себя юридическую консультацию. Он пользовался большой популярностью как юрист, так как помог одному рабочему, выгнанному с присков, выиграть дело против золотопромышленника. Весть об этом выигранном деле быстро разнеслась среди крестьян. Приходили мужики и бабы и излагали свои беды. Владимир Ильич внимательно слушал и вникал во все, потом советовал. Раз пришел крестьянин за двадцать верст посоветоваться, как бы ему засудить зятя за то, что тот не позвал его на свадьбу, где здорово гуляли. «А теперь зять поднесет, если приедете к нему?» — «Теперь-то поднесет». И Владимир Ильич чуть не час убил, пока уговорил мужика с зятем помириться. Иногда совершенно нельзя было разобраться по рассказам, в чем дело, и потому Владимир Ильич всегда просил приносить ему копию с дела. Раз бык какого-то богатея забодал корову маломощной бабы. Волостной суд приговорил владельца быка заплатить бабе десять рублей. Баба опротестовала решение и потребовала

«копию» с дела. «Что тебе, копию с белой коровы, что ли?» — посмеялся над ней заседатель. Разгневанная баба прибежала жаловаться Владимиру Ильичу. Часто достаточно было угрозы обижаемого, что он пожалуется Ульянову, чтобы обидчик уступил.

Сибирскую деревню хорошо изучил Владимир Ильич, — он знал раньше деревню приволжскую. Рассказывал Ильич раз: «Мать хотела, чтобы я хозяйством в деревне занимался. Я начал было, да вижу — нельзя, отношения с мужиками ненормальные становятся». Собственно говоря, заниматься юридическими делами Владимир Ильич не имел права как ссыльный, но тогда времена в Минусинском округе были либеральные...

«Заседатель» — местный зажиточный крестьянин — больше заботился о том, чтобы сбыть нам телятину, чем о том, чтобы «его» ссыльные не сбежали. Дешевизна в этом Шушенском была поразительная. Например, Владимир Ильич за свое «жалованье» — восьмирублевое пособие — имел чистую комнату, кормежку, стирку и чинку белья — и то считалось, что дорого платит. Правда, обед и ужин был простоват — одну неделю для Владимира Ильича убивали барана, которым кормили его изо дня в день, пока всего не съест; как съест — покупали на неделю мяса, работница во дворе в корыте, где корм скоту заготавливали, рубила купленное мясо на котлеты для Владимира Ильича, тоже на целую неделю. Но молока и шанег было вдоволь и для Владимира Ильича и для его собаки, прекрасного гордона — Женьки, которую он выучил и поноску носить, и стойку делать, и всякой другой собачьей науке. Так как у Зыряновых мужики часто напивались пьяными, да и семейным образом жить там было во многих отношениях неудобно, мы перебрались вскоре на другую квартиру — полдома с огородом наняли за четыре рубля. Зажили семейно. Летом никого нельзя было найти в помощь по хозяйству. И мы с мамой вдвоем воевали с русской печкой. Вначале случалось, что я опрокидывала ухватом суп с клецками, которые рассыпались по исподу. Потом привыкла. В огороде выросла у нас всякая всячина — огурцы, морковь, свекла, тыква; очень я гордилась своим огородом. Устроили из двора сад — съездили мы с Ильичем в лес, хмелю привезли, сад соорудили. В октябре появилась помощница, тринадцатилетняя Паша, худущая, с острыми локтями, живо

прибравшая к рукам все хозяйство. Я выучила ее грамоте, и она украшала стены маминими директивами: «Никовды, никовды чай не выливай», вела дневник, где отмечала: «Были Оскар Александрович и Проминский. Пели «Пень», я тоже пела».

Помню, как мы встречали Первое мая ¹.

Утром пришел к нам Проминский. Он имел сугубо праздничный вид, надел чистый воротничок и сам весь сиял, как медный грош. Мы очень быстро заразились его настроением и втроем пошли к Энгбергу, прихватив с собою собаку Женьку. Женька бежала впереди и радостно тявкала. Идти надо было вдоль реки Шуши. По реке шел лед. Женька забиралась по брюхо в ледяную воду и вызывающе лаяла по адресу мохнатых шушенских сторожевых собак, не решавшихся войти в такую холодную воду.

Оскар заволновался нашим приходом. Мы расселись в его комнате и принялись дружно петь:

День настал веселый мая,
Прочь с дороги, горя тени!
Песнь, раздайся удалая!
Забастуем в этот день!
Полицейские до пота
Правят подлую работу,
Нас хотят изловить,
За решетку посадить.
Мы плюем на это дело,
Май отпразднуем мы смело,
Вместе разом,
Гоп-га! Гоп-га!

Спели по-русски, спели ту же песню по-польски и решили после обеда пойти отпраздновать Май в поле. Как наметили, так и сделали. В поле нас было больше, уже шесть человек, так как Проминский захватил своих двух сынишек. Проминский продолжал сиять. Когда вышли в поле на сухой пригорок, Проминский остановился, вытащил из кармана красный платок, расправил его на земле и встал на голову. Дети завизжали от восторга. Вечером собрались все у нас и опять пели. Пришла и жена Проминского. К хору присоединились и моя мать и Паша.

А вечером мы с Ильичем как-то никак не могли заснуть, мечтали о мощных рабочих демонстрациях, в которых мы когда-нибудь примем участие...

¹ 1 Мая 1899 г.

Появился детский элемент. Во дворе жил подселенец — латыш-катанщик. Было у него 14 детей, но выжил один, Минька. Отец был горький пьяница. Было Миньке шесть лет, было у него прозрачное бледное личико, ясные глазки и серьезный разговор. Стал он бывать у нас каждый день — не успеешь встать, а уж хлопает дверь, появляется маленькая фигурка в большой шапке, материнской теплой кофте, закутанная шарфом, и радостно заявляет: «А вот и я». Знает, что души в нем не чаяла моя мама, что всегда пошутит и повозится с ним Владимир Ильич. Забежит Минькина мать:

«Миничка, не видал ты рубля?»

«Видал, ну, посмотрел, валяется на столе, положил в коробку».

Когда мы уехали, захворал с горя Миняй. Теперь его нет уже в живых, а катанщик писал, просил отвести ему земли за Енисеем, «хочется на старости лет сытно пожить».

Наше хозяйственное обрастание все увеличивалось — завели котенка.

Годы серьезной учебы *

С утра мы брались с Владимиром Ильичем за перевод Вебба¹, который достал мне Струве. После обеда часа два переписывали в две руки «Развитие капитализма». Потом другая всякая работешка была. Как-то прислал Потресов на две недели книжку Каутского против Бернштейна, мы побросали все дела и перевели ее в срок — в две недели. Поработав, закатывались на прогулки. Владимир Ильич был страстным охотником, завел себе штаны из чертовой кожи и в какие только болота не залезал. Ну, дичи там было! Я приехала весной, удивлялась. Придет Проминский — он страстно любил охоту — и, радостно улыбаясь, говорит: «Видал — утки прилетели». Приходит Оскар и тоже об утках. Часами говорили, а на следующую весну я сама уже стала способна толковать о том, где, кто, когда видел утку. После зимних морозов буйно пробуждалась весной природа. Сильна становилась власть ее. Закат. На громадной весенней луже в поле плавают дикие лебеди. Или — стоишь на опушке леса, бурлит речонка, токуют тетерева.

¹ Имеется в виду книга Беатрисы и Сиднея Вебб «Теория и практика английского тред-юнионизма».

Владимир Ильич идет в лет, просит подержать Женьку. Держишь ее, Женька дрожит от волнения, и чувствуешь, как тебя захватывает это бурное пробуждение природы. Владимир Ильич был страстным охотником, только горячился очень. Осенью идем по далеким просекам. Владимир Ильич говорит: «Знаешь, если заяц встретится, не буду стрелять, ремня не взял, неудобно будет нести». Выбегает заяц, Владимир Ильич палит.

Позднею осенью, когда по Енисею шла шуга (мелкий лед), ездили на острова за зайцами. Зайцы уже побегают. С острова деться некуда, бегают, как овцы, кругом.

Целую лодку настреляют, бывало, наши охотники.

Живучи в Москве, Владимир Ильич тоже охотился иногда последние годы, но охотничий жар у него уж значительно поубыл. Устроили раз охоту на лис, с флажками. Все предприятие очень заинтересовало Владимира Ильича. «Хитро придумано»,— говорил он. Устроили охотники так, что лиса выбежала прямо на Владимира Ильича, а он схватился за ружье, когда лиса, постояв с минуту и поглядев на него, быстро повернула в лес.

«Что же ты не стрелял?»

«Знаешь, уж красива она была».

Поздней осенью, пока не выпал еще снег, но уже замерзли реки, далеко ходили по протоке — каждый камешек, каждая рыбешка видны подо льдом, точно волшебное царство какое-то. А зимой, когда замерзает ртуть в градусниках и реки промерзают до дна, вода идет сверх льда и быстро покрывается ледком, можно было катить на коньках версты по две по гнущейся под ногами наледи. Все это страшно любил Владимир Ильич.

По вечерам Владимир Ильич обычно читал книжки по философии — Гегеля, Канта, французских материалов, а когда очень устанет — Пушкина, Лермонтова, Некрасова.

Когда Владимир Ильич впервые появился в Питере и я его знала только по рассказам, слышала я от Степана Ивановича Радченко: Владимир Ильич только серьезные книжки читает, в жизнь не прочел ни одного романа. Я подивилась; потом, когда мы познакомились ближе с Владимиром Ильичем, как-то ни разу об этом не заходил у нас разговор, и только в Сибири я узнала,

что все это чистая легенда. Владимир Ильич не только читал, но много раз перечитывал Тургенева, Л. Толстого, «Что делать?» Чернышевского, вообще прекрасно знал и любил классиков. Потом, когда большевики стали у власти, он поставил Госиздату задачу — переиздание в дешевых выпусках классиков. В альбоме Владимира Ильича, кроме карточек родных и старых каторжан, были карточки Золя, Герцена и несколько карточек Чернышевского¹.

Два раза в неделю приходила почта. Переписка была обширная.

Приходили письма и книги из России. Писала подробно обо всем Анна Ильинична, писали из Питера. Писала, между прочим, Нина Александровна Струве мне о своем сынишке: «Уже держит головку, каждый день подносим его к портретам Дарвина и Маркса, говорим: поклонись дедушке Дарвину, поклонись Марксу, он забавно так кланяется». Получали письма из далекой ссылки — из Туруханска от Мартова, из Орлова Вятской губернии от Потресова. Но больше всего было писем от товарищей, разбросанных по соседним селам. Из Минусинска (Шушенское было в 50 верстах от него) писали Кржижановские, Ванеев, Сильвин, Панин — товарищ Оскара; в 70 верстах в Теси жили Ленгник, Шаповал, Барамзин, на сахарном заводе жил Курнатовский. Переписывались обо всем — о русских вестях, о планах на будущее, о книжках, о новых течениях, о философии. Переписывались и по шахматным делам, особенно с Лепешинским. Играли по переписке. Расставит шахматы Владимир Ильич и соображает. Одно время так увлекался, что вскрикивал даже во сне: «Если он конем сюда, то я турой туда».

И Владимир Ильич и Александр Ильич с детства играли с большим азартом в шахматы. Играл и отец Владимира Ильича. «Сначала отец нас обыгрывал, — рассказывал Владимир Ильич, — потом мы с братом достали руководство к шахматной игре и стали отца обыгрывать. Раз — мы наверху жили — встретил отца, идет из нашей комнаты со свечой в руке и несет руководство по шахматной игре. Затем за него засел».

¹ Чернышевского Владимир Ильич особенно любил. На одной из карточек Чернышевского имеется надпись рукой Владимира Ильича: родился тогда-то, умер в 1889 г.— *Прим. авт.*

По возвращении в Россию Владимир Ильич бросил игру в шахматы. «Шахматы чересчур захватывают, это мешает работе». А так как Владимир Ильич ничего не умел делать наполовину, не отдаваясь делу со всей страстью, то и на отдыхе и в эмиграции неохотно уже садился играть в шахматы.

Владимир Ильич с ранней молодости умел отбрасывать то, что мешало. «Когда был гимназистом, стал увлекаться коньками, но уставал, после коньков спать очень хотелось, мешало заниматься, бросил»...

«Одно время,— рассказывал другой раз Владимир Ильич,— я очень увлекался латынью». — «Латынью?» — удивилась я. «Да, только мешать стало другим занятиям, бросил».

С товарищами по ссылке не только переписывались, иногда, хотя не часто, виделись.

Раз мы ездили к Курнатовскому. Был он очень хорошим товарищем, очень образованным марксистом, но тяжело сложилась его жизнь. Суровое детство с извергом-отцом, потом ссылка за ссылкой, тюрьма за тюрьмой. На воле почти не работал, через месяц-другой влетал на долгие годы, жизни не знал. Осталась в памяти одна сценка. Идем мимо сахарного завода, где он служил. Идут две девочки — одна постарше, другая маленькая. Старшая несет пустое ведро, младшая — со свеклой. «Как не стыдно, большая заставляет нести маленькую», — сказал старшей девочке Курнатовский. Та только недоуменно посмотрела на него. Ездили мы еще в Тесь. Пришло как-то раз письмо от Кржижановских — «Исправник злится на тесинцев за какой-то протест и никуда не пускает. В Теси есть гора, интересная в геологическом отношении, напишите, что хотите ее исследовать». Владимир Ильич в шутку написал исправнику заявление, прося не только его пустить в Тесь, но в помощь ему и жену. Исправник прислал разрешение нарочным. Наняли двуколку с лошастью за три рубля — баба уверяла, что конь сильный, не «жоркий», овса ему мало надо,— и покатили в Тесь. И хоть не «жоркий» конь стал у нас посередь дороги, но все же до Теси мы добрались. Владимир Ильич с Ленгником толковали о Канте, с Барамзиным — о казанских кружках; Ленгник, обладавший прекрасным голосом, пел нам; вообще от этой поездки осталось какое-то особенно хорошее воспоминание.

Ездили пару раз в Ермаковское. Раз для принятия резолюции по поводу «Кредо»¹ — Ванеев был тяжело болен туберкулезом, умирал. Его кровать вынесли в большую комнату, где собрались все товарищи. Резолюция была принята единогласно.

Другой раз ездили туда же, уже хоронить Ванеева. Из «декабристов» (так в шутку называли товарищей, арестованных в декабре 1895 г.) двое скоро выбыли из строя: сошедший в тюрьме с ума Запорожец и тяжело захворавший там Ванеев погибли, когда только-только еще начинало разгораться пламя рабочего движения.

На Новый год ездили в Минусу, куда съехались все ссыльные социал-демократы. Были в Минусе и ссыльные народовольцы: Кон, Тырков и др., но они держались отдельно. Старики относились к социал-демократической молодежи недоверчиво: не верили в то, что это настоящие революционеры...

В общем, ссылка прошла неплохо. Это были годы серьезной учебы. По мере того как приближался срок окончания ссылки, все больше и больше думал Владимир Ильич о предстоящей работе...

Л. Толстой где-то писал, что едущий первую половину дороги обычно думает о том, что он оставил, а вторую — о том, что впереди. Так и в ссылке. Первое время больше подводились итоги прошлого. Во второй половине больше думалось о том, что нужно делать, чтобы вывести партию из того состояния, в которое она пришла, что нужно делать, чтобы направить работу по надлежащему руслу, чтобы обеспечить правильное социал-демократическое руководство ею. С чего начать? В последний год ссылки зародился у Владимира Ильича тот организационный план, который он потом развил в «Искре», в брошюре «Что делать?» и в «Письме к товарищу». Начать надо с организации общерусской газеты, поставить ее надо за границей, как можно теснее связать ее с русской работой, с российскими организациями, как можно лучше наладить транспорт. Владимир Ильич перестал спать, страшно исхудал. Бессонными ночами обдумывал он свой план во всех деталях, обсуждал его с Кржижановским, со мной, списывался

¹ Совещание политических ссыльных-марксистов, организованное Лениным для обсуждения манифеста «экономистов» — «Кредо», проходило между 7 и 22 августа (19 августа и 3 сентября по новому стилю) 1899 г.

о нем с Мартовым и Потресовым, сговаривался с ними о поездке за границу. Чем дальше, тем больше овладевало Владимиром Ильичем нетерпение, тем больше рвался он на работу. А тут еще нагрянули с обыском. Перехватили у кого-то квитанцию письма Ляховского к Владимиру Ильичу. В письме была речь о памятнике Федосееву, жандармы придрались к случаю, чтобы учинить обыск. Обыск произведен был в мае 1899 г. Письмо они нашли, оно оказалось очень невинным, пересмотрели переписку — и тоже ничего интересного не нашли. По старой питерской привычке нелегальщину и нелегальную переписку мы держали особо. Правда, она лежала на нижней полке шкафа. Владимир Ильич подсунул жандармам стул, чтобы они начали обыск с верхних полок, где стояли разные статистические сборники, — и они так умаялись, что нижнюю полку и смотреть не стали, удовлетворившись моим заявлением, что там лишь моя педагогическая библиотека. Обыск сошел благополучно, но боязно было, чтобы не воспользовались предлогом и не накинули еще несколько лет ссылки. Побег были еще тогда не так обычны, как позднее, — во всяком случае, это бы осложнило дело. Ведь прежде, чем ехать за границу, нужно было провести большую организационную работу в России. Дело, однако, обошлось благополучно — срока не набавили.

Кончилась ссылка *

В феврале 1900 г., когда кончился срок ссылки Владимира Ильича, мы двинулись в Россию. Рекой по ночам разливалась Паша, ставшая за два года настоящей красавицей. Минька суетился, перетаскивая к себе домой остающуюся бумагу, карандаши, картинки и пр., приходил Оскар Александрович, садился на кончик стула, видимо, волновался, принес мне подарок — самодельную брошку в виде книги с надписью «Карл Маркс», в память моих занятий с ним по «Капиталу», заглядывали то и дело в комнату хозяйка или соседка, недоумевала наша собака, что весь этот переполох должен означать, и ежеминутно отворяла носом все двери, чтобы удостовериться, все ли на месте, кашляла мама, возясь с укладкой, деловито увязывал книги Владимир Ильич.

Доехали до Минусы, где мы должны были захватить с собой Старкова и Ольгу Александровну Сильвину.

Там уже собралась вся наша ссыльная братия, было то настроение, которое бывает, когда кто-нибудь из ссыльных уезжает в Россию: каждый думал, когда и куда он сам поедет, как будет работать. Владимир Ильич договорился уже раньше о совместной работе со всеми, кто вскоре ехал в Россию, договорился о переписке с остающимися. Думали о России, а говорили так, о всякой пустяковине.

Барамзин подкармливал бутербродами Женьку, которая оставалась ему в наследство, но она не обращала на него внимания, лежала у маминых ног и не сводила с нее глаз, следя за каждым ее движением.

Наконец, урядившись в валенки, дохи и пр., двинулись в путь. Ехали на лошадях 300 верст по Енисею, день и ночь, благо луна светила вовсю. Владимир Ильич заботливо засупонивал меня и маму на каждой станции, осматривал, не забыли ли чего, шутил с озябшей Ольгой Александровной. Мчались вовсю, и Владимир Ильич — он ехал без дохи, уверяя, что ему жарко в дохе, — засунув руки во взятую у мамы муфту, уносился мыслью в Россию, где можно будет поработать вволю.

В Уфе в день нашего приезда к нам пришла местная публика — А. Д. Цюрупа, Свидерский, Крохмаль. «Шесть гостиниц обошли... — заикаясь сказал Крохмаль, — наконец-то нашли вас».

Пару дней пробыл Владимир Ильич в Уфе и, поговоривши с публикой и препоручив меня с мамой товарищам, двинулся дальше, поближе к Питеру. От этой пары дней у меня осталось в памяти лишь посещение старой народоволки Четверговой, которую Владимир Ильич знал по Казани. В Уфе у ней был книжный магазин. Владимир Ильич в первый же день пошел к ней, и какая-то особенная мягкость была у него в голосе и лице, когда он разговаривал с ней. Когда потом я читала то, что Владимир Ильич написал в заключении в «Что делать?», я вспомнила это посещение. «Многие (речь идет о молодых руководителях рабочего движения, социал-демократах. — Н. К.) из них, — писал Владимир Ильич в «Что делать?», — начинали революционно мыслить, как народовольцы. Почти все в ранней юности восторженно преклонялись перед героями террора. Отказ от обаятельного впечатления этой геройской традиции стоил борьбы, сопровождался разрывом с людьми, которые во что бы то ни стало хотели остаться верными

«Народной воле» и которых молодые социал-демократы высоко уважали». Этот абзац — кусок биографии Владимира Ильича.

Очень жаль было расставаться, когда только что начиналась «настоящая» работа, но даже и в голову не приходило, что можно Владимиру Ильичу остаться в Уфе, когда была возможность перебраться поближе к Питеру.

Владимир Ильич поселился в Пскове, где жили потом и Потресов и Л. Н. Радченко с детьми. Как-то Владимир Ильич, смеясь, рассказывал, как малышки-девочки Радченко, Женюрка и Люда, передразнивали его и Потресова. Заложив руки за спину, ходили по комнате рядом, одна говорила «Бернштейн», другая отвечала «Каутский»...

Там, сидя в Пскове, усердно вил Владимир Ильич нити организации, которые должны были тесно связывать будущую заграничную общерусскую газету с Россией, с русской работой. Виделся с Бабушкиным, целым рядом других лиц.

Я понемногу акклиматизировалась в Уфе, устроилась с переводами, достала уроки...

Уфа была центром для губернии — ссыльные Стерлитамака, Бирска и других уездных городов добивались всегда разрешения съездить в Уфу...

Перед отъездом за границу Владимир Ильич чуть не влетел. Приехал из Пскова в Питер одновременно с Мартовым. Их выследили и арестовали. В жилетке у него было 2 тысячи рублей, полученных от Тетки (А. М. Калмыковой), и записи связей с заграницей, писанные химией на листке почтовой бумаги, на которой для проформы было написано чернилами что-то безразличное — счет какой-то. Если бы жандармы догадались нагреть листок, не пришлось бы Владимиру Ильичу ставить за границей общерусскую газету. Но ему «пофартило», и через дней десять его выпустили.

Потом он ездил ко мне в Уфу попрощаться. Он рассказывал о том, что ему удалось сделать за это время, рассказывал про людей, с которыми приходилось встречаться. Конечно, по случаю приезда Владимира Ильича был ряд собраний. Помню, как, когда выяснилось, что Леонович, считавший себя народовольцем, не знает даже по названию группы «Освобождение труда», Владимир Ильич вскипел: «Да разве революционер может

не знать этого, разве он может сознательно выбрать партию, с которой будет работать, если не знает, не изучит того, что писала группа «Освобождение труда».

Кажется, около недели прожил тогда в Уфе Владимир Ильич.

Из-за границы он писал мне преимущественно в книжках, отправляемых на адреса различных земцев. В общем, дело шло с газетой не так быстро, как хотелось Владимиру Ильичу; трудно было столкнуться с Плехановым, и письма Владимира Ильича из-за границы были кратки, невеселы, кончались: «расскажу, когда приедешь», «о конфликте с Плехановым подробно записал для тебя».

Еле дождалась я конца ссылки, а тут и писем что-то от Владимира Ильича долго не было.

Хотела ехать в Астрахань, к Дяденьке (Л. М. Книпович), да заторопилась.

Заезжали с мамой в Москву к Марии Александровне — матери Владимира Ильича. Она тогда одна в Москве была: Мария Ильинична сидела, Анна Ильинична была за границей.

Марию Александровну я очень любила, — она такая чуткая и внимательная была всегда. Владимир Ильич страшно любил мать. «У ней громадная сила воли, — сказал он мне как-то, — если бы с братом это случилось, когда отец был жив, не знаю, что бы и было».

Свою силу воли Владимир Ильич унаследовал от матери, унаследовал также и ее чуткость, внимание к людям.

Когда жили за границей, я старалась описать ей как можно живее нашу жизнь, чтобы почувствовала она хоть немного близость сына. Когда Владимир Ильич был в ссылке в 1897 г., еще до моего приезда, в газетах было помещено объявление о смерти Марии Александровны Ульяновой, умершей в Москве. Оскар рассказывал: «Пришел к Владимиру Ильичу, а он бледный, как полотно, — говорит: мать у меня умерла». О смерти какой-то другой М. А. Ульяновой оказалось извещение.

Много горя выпало на долю Марии Александровны: казнь старшего сына, смерть дочери Ольги, бесконечные аресты других детей.

Заболел Владимир Ильич в 1895 г. — она тотчас же приезжает и отхаживает его, сама готовит ему пищу; арестуют его — она опять на посту, часами просиживает

в полутемной приемной Дома предварительного заключения, ходит на свидания, носит передачи, и только чуть-чуть дрожит у нее голова.

Обещала я ей беречь Владимира Ильича, да не уберегла...

Скорей к Владимиру Ильичу *

Из Москвы отвезла я свою мать в Питер, устроила ее там, а сама покатила за границу. По-пошехонски ехала. Направилась в Прагу, полагая, что Владимир Ильич живет в Праге под фамилией Модрачек.

Дала телеграмму. Приехала в Прагу — никто не встречает. Подождала-подождала. С большим смущением наняла извозчика в цилиндре, нагрузила на него свои корзины, поехали. Приезжаем в рабочий квартал, узкий переулок, громадный дом, из окон которого во множестве торчат проветривающиеся перины...

Лечу на четвертый этаж. Дверь отворяет беленькая чешка. Я твержу: «Модрачек, герр Модрачек». Выходит рабочий, говорит: «Я — Модрачек». Ошеломленная, я мямлю: «Нет, это мой муж». Модрачек наконец догадывается. «Ах, вы, вероятно, жена герра Ритмейера, он живет в Мюнхене, но пересылал вам в Уфу через меня книги и письма». Модрачек провозился со мною целый день, я ему рассказала про русское движение, он мне — про австрийское, жена его показывала мне связанные ею прошивки и кормила чешскими клецками.

Приехав в Мюнхен, — ехала я в теплой шубе, а в это время в Мюнхене уже в одних платьях все ходили, — наученная опытом, сдала корзины на хранение на вокзале, поехала в трамвае разыскивать Ритмейера. Отыскала дом, квартира № 1 оказалась пивной. Подхожу к стойке, за которой стоял толстенный немец, и робко спрашиваю господина Ритмейера, предчувствуя, что опять что-то не то. Трактирщик отвечает: «Это — я». Совершенно убитая, я лепечу: «Нет, это мой муж».

И стоим дураками друг против друга. Наконец приходит жена Ритмейера и, взглянув на меня, догадывается: «Ах, это верно жена герра Мейера, он ждет жену из Сибири. Я провожу».

Иду куда-то за фрау Ритмейер на задний двор большого дома, в какую-то необитаемую квартиру. Отворяется дверь, сидят за столом: Владимир Ильич, Мартов

и Анна Ильинична. Забыв поблагодарить хозяйку, я стала ругаться: «Фу, черт, что ж ты не написал, где тебя найти?»

«Как не написал? Я тебя по три раза на день ходил встречать. Откуда ты?» Оказалось потом, что земец, на имя которого была послана книжка с адресом, зачитал книжку.

Немало россиян путешествовали потом в том же стиле. Шляпников заехал в первый раз вместо Женевы в Геную; Бабушкин вместо Лондона чуть не угодил в Америку.

МЮНХЕН

1901—1902 гг.

Хотя и Владимир Ильич, и Мартов, и Потресов поехали за границу по легальным паспортам, но в Мюнхене было решено жить по чужим паспортам, вдали от русской колонии, чтобы не проваливать приезжающих из России работников и легче отправлять нелегальную литературу в Россию в чемоданах, письмах и пр.

Когда я приехала в Мюнхен, Владимир Ильич жил без прописки у этого самого Ритмейера, назывался Мейером. Хотя Ритмейер и был содержателем пивной, но был социал-демократом и укрывал Владимира Ильича в своей квартире. Комнатешка у Владимира Ильича была плохонькая, жил он на холостяцкую ногу, обедал у какой-то немки, которая угощала его *Mehlspeise*¹. Утром и вечером пил чай из жестяной кружки, которую сам тщательно мыл и вешал на гвоздь около крана.

Вид у него был озабоченный, все налаживалось не так быстро, как хотелось. В то время в Мюнхене, кроме Владимира Ильича, жили: Мартов, Потресов и Засулич. Плеханову и Аксельроду хотелось, чтобы газета выходила где-нибудь в Швейцарии, под их непосредственным руководством. Они, в первое время и Засулич, не придавали особого значения «Искре», совершенно недооценивали той организующей роли, которую она могла сыграть и сыграла; их гораздо больше интересовала «Заря».

«Глупая ваша «Искра»,— говорила вначале шутя Вера Ивановна. Это, конечно, была шутка, но в ней скво-

¹ Мучными блюдами.

зила известная недооценка всего предприятия. Владимир Ильич думал, что надо, чтобы «Искра» была в стороне от эмигрантского центра, чтобы она была законспирирована, что имело громадное значение для сношений с Россией, для переписки, для приездов. Старики готовы были видеть в этом нежелание перенести газету в Швейцарию, нежелание руководства, желание вести какую-то свою линию, и не торопились особенно помогать. Владимир Ильич это чувствовал и нервничал. К группе «Освобождение труда» у него было совсем особенное чувство. Я не говорю уже про Плеханова, он относился влюбленно и к Аксельроду и к Засулич. «Вот ты увидишь Веру Ивановну,— сказал мне Владимир Ильич в первый вечер моего приезда в Мюнхен,— это кристально-чистый человек». Да, это была правда.

Вера Ивановна одна из группы «Освобождение труда» стала близко к «Искре». Она жила вместе с нами в Мюнхене и в Лондоне, жила жизнью редакции «Искры», ее радостями и горестями, жила вестями из России.

«А «Искра»-то важная становится»,— шутила она по мере того, как росло и ширилось влияние «Искры». Вера Ивановна рассказывала не раз про долгие холодные годы эмиграции.

Мы никогда такой эмиграции, как группа «Освобождение труда», не знавали — у нас все время были самые тесные связи с Россией, постоянно к нам приезжали отсюда люди. Мы жили в эмиграции в гораздо лучших условиях по части осведомленности, чем в каком-либо другом губернском городе, жили исключительно интересами русской работы, дело в России шло на подъем, рабочее движение росло. Группа «Освобождение труда» жила от России оторванно, жила за границей в годы глухой реакции — заезжий из России студент был уже целым событием, но заезжать опасались: когда к ним в начале 90-х годов заехали Классон и Коробко, их тотчас же по возвращении вызвали в жандармское, спрашивали, зачем ездили к Плеханову. Слежка была организована образцово.

Из всех членов группы «Освобождение труда» Вера Ивановна чувствовала себя наиболее одиноко. У Плеханова и Аксельрода была все же семья. Вера Ивановна говорила не раз о своем одиночестве: «Близких никого нет у меня», и тотчас же старалась прикрыть горечь своих переживаний шуточкой: «Ну вот, вы меня любите,

я знаю, а когда умру, разве что одной чашкой чаю меньше выпьете».

Потребность же в семье у ней была громадная — может быть, потому, что выросла она в чужой семье, была на положении «воспитанницы». Надо было только видеть, как любовно она возилась с беленьким малышом, сынишкой Димки (сестры П. Г. Смидовича). Даже хозяйственность Вера Ивановна проявляла, заботливо покупала провизию в те дни, когда была ее очередь варить обед в коммуне (в Лондоне Вера Ивановна, Мартов и Алексеев жили коммуной). Впрочем, мало кто догадывался о семейственных и хозяйственных склонностях Веры Ивановны. Жила она по-нигилистичекому — одевалась небрежно, курила без конца, в комнате ее царил невероятный беспорядок, убирать свою комнату она никому не разрешала. Кормилась довольно фантастически. Помню, как она раз жарила себе мясо на керосинке, отстригала от него кусочки ножницами и ела.

«Когда я жила в Англии,— рассказывала она,— выдумали меня английские дамы разговорами занимать: «Вы сколько времени мясо жарите?» «Как придется,— отвечаю,— если есть хочется, минут десять жарю, а не хочется — часа три. Ну, они и отстали».

Когда Вера Ивановна писала, она запиралась в своей комнате и питалась одним крепким черным кофе.

По России Вера Ивановна тосковала страшно. Кажется, в 1899 г. она ездила нелегально в Россию — не на работу, а так, «хоть мужика посмотреть, какой у него нос стал». И вот, когда стала выходить «Искра», она почувствовала, что это кусок русской работы, она судорожно за нее держалась. Для нее уйти из «Искры» — значило опять оторваться от России, опять начать тонуть в мертвой, тянущей ко дну эмигрантщине.

Вот почему, когда на II съезде встал вопрос о редакции «Искры», она возмутилась. Для нее это был не вопрос самолюбия, это был вопрос жизни и смерти.

В 1905 г. она поехала в Россию и там осталась.

На II съезде Вера Ивановна в первый раз в жизни пошла против Плеханова. С Плехановым ее соединяли долгие годы совместной борьбы, она видела, какую громадную роль он играл в деле направления революционного движения в правильное русло, ценила его как основоположника русской социал-демократии, ценила его ум, блестящий талант. Самое незначительное не-

согласие с Плехановым страшно волновало ее, но в данном случае она не пошла с Плехановым.

Судьба Плеханова трагична. В области теории его заслуги перед рабочим движением чрезвычайно велики. Но годы эмиграции не прошли для него даром: они оторвали его от русской действительности. Широкое массовое рабочее движение возникло в то время, когда он уже был за границей. Он видел представителей различных партий, писателей, студентов, даже отдельных рабочих, но русской рабочей массы он не видел, с ней не работал, ее не чувствовал. Бывало, придет какая-нибудь корреспонденция из России, которая поднимает завесу над новыми формами движения, заставляет почувствовать перспективы движения, Владимир Ильич, Мартов и даже Вера Ивановна читают и перечитывают ее; Владимир Ильич потом долго шагает по комнате, вечером не может заснуть. Когда мы переехали в Женеву, я пробовала показывать Плеханову корреспонденции и письма, и удивляло меня, как он на них реагировал: точно почву он под ногами терял, недоверие у него появлялось на лице, никогда не говорил он потом об этих письмах и корреспонденциях. Особенно недоверчиво стал он относиться к письмам из России после II съезда.

Меня это вначале даже обижало как-то, а потом стала думать, что это вот отчего: давно он уже уехал из России, и не было у него того мерила, вырабатываемого опытом, которое дает возможность определить удельный вес каждой корреспонденции, читать многое между строк.

Приезжали часто в «Искру» рабочие, каждый, конечно, хотел повидать Плеханова. Попасть к Плеханову было гораздо труднее, чем к нам или Мартову, но даже если рабочий попадал к Плеханову, он уходил от него со смешанным чувством. Его поражали блестящий ум Плеханова, его знания, его остроумие, но как-то оказывалось, что, уходя от Плеханова, рабочий чувствовал лишь громадное расстояние между собой и этим блестящим теоретиком, но о своем заветном, о том, о чем он хотел рассказать, с ним посоветоваться, он так и не смог поговорить.

А если рабочий не соглашался с Плехановым, пробовал изложить свое мнение,— Плеханов начинал раздражаться: «Еще ваши папеньки и маменьки под столом ходили, когда я...»

Вероятно, в первые годы эмиграции это не так было, но к началу 900-х годов Плеханов потерял уже непосредственное ощущение России. В 1905 году он в Россию не ездил.

Павел Борисович Аксельрод в гораздо большей степени, чем Плеханов и Засулич, был организатором. Он больше всех общался с приезжими, у него они больше всего проводили время, там их поили, кормили. Павел Борисыч подробно их обо всем расспрашивал.

Он вел переписку с Россией, знал конспиративные способы сношений. Ну, как мог себя чувствовать в долгие годы эмиграции в Швейцарии русский организатор-революционер, можно себе представить! Павел Борисыч на три четверти потерял работоспособность, он не спал ночей напролет, писал с чрезвычайным напряжением, месяцами будучи не в состоянии окончить начатой статьи, почерк его было почти невозможно разобрать: так нервно он писал.

Почерк Аксельрода производил на Владимира Ильича всегда сильное впечатление. «Вот дойдешь до такого состояния, как Аксельрод,— не раз говорил Владимир Ильич,— ведь это просто ужас один». О почерке Аксельрода он не раз говорил с доктором Крамером, который лечил его во время его последней болезни. Когда Владимир Ильич первый раз ездил за границу, в 1895 г.,— об организационных вопросах он больше всего толковал с Аксельродом.

Об Аксельроде он много рассказывал мне, когда я приехала в Мюнхен. О том, что делает теперь Аксельрод, он спрашивал меня, указывал на фамилию Аксельрода в газете, тогда, когда сам уже не только не мог писать, но и сказать ни слова.

П. Б. Аксельрод особенно болезненно относился к тому, что «Искра» издается не в Швейцарии и что поток сношений с Россией идет не через него. Потому так бешено отнесся он к вопросу о тройке на II съезде. «Искра» будет организационным центром, а он отстраняется от редакции! И это тогда, когда на II съезде больше, чем когда-либо, почувствовалось дыхание России.

«Искра» *

Когда я приехала в Мюнхен, из группы «Освобождение труда» там жила только Засулич под чужим име-

нем — по какому-то болгарскому паспорту, звалась Великой Дмитриевной.

По болгарским паспортам должны были жить и все остальные. До моего приезда Владимир Ильич жил просто без паспорта. Когда я приехала, взяли паспорт какого-то болгарина, доктора Йорданова, вписали туда ему жену Марицу и поселились в комнате, нанятой по объявлению в рабочей семье. До меня секретарем «Искры» была Инна Гермогеновна Смидович-Леман, также жившая по болгарскому паспорту и звавшаяся Димкой. Владимир Ильич, когда я приехала, рассказал, что он провел, что секретарем «Искры» буду я, когда приеду. Это, конечно, означало, что связи с Россией будут вестись все под самым тесным контролем Владимира Ильича. Мартов и Потресов тогда ничего не имели против этого, а группа «Освобождение труда» не имела своего кандидата, да и не придавала в то время «Искре» особого значения. Владимир Ильич рассказывал, что ему это было не очень ловко делать, но он считал, что для дела это необходимо. Работы сейчас же навалилась масса. Дело было организовано так: письма из России посылались на различные города Германии по адресам немецких товарищей, а те все пересылали на адрес доктора Лемана, который все уже пересылал нам.

Незадолго перед тем вышла целая история. В России для брошюр удалось наконец наладить в Кишиневе типографию, и заведующий типографией Аким (брат Либера — Леон Гольдман) выслал на адрес Лемана подушку с зашитыми в середину экземплярами вышедшей в России брошюры. Удивленный Леман в недоумении отказался на почте от подушки, но, когда наши это узнали и забились тревогу, подушку он получил и сказал, что теперь будет принимать все, что на его имя придет, хоть целый поезд.

Транспорта для перевозки «Искры» в Россию еще не было. «Искра» перевозилась главным образом в чемоданах с двойным дном с разными попутчиками, которые отвозили в Россию эти чемоданы в условленное место, на явки. Была такая явка в Пскове у Лепешинских, была в Киеве, еще где-то. Русские товарищи, вынув литературу из чемодана, передавали ее организации. Транспорт только что налаживался через латышей Ролау и Скубика.

На все это тратилось немало времени. Его также уходило много на всякие переговоры, из которых потом ничего не выходило...

Была переписка с агентами «Искры» в Берлине, Париже, Швейцарии, Бельгии. Они помогали чем могли, отыскивая соглашающихся брать чемоданы, добывая деньги, связи, адреса и т. д.

Связи с Россией очень быстро росли. Одним из самых активных корреспондентов «Искры» был питерский рабочий Бабушкин, с которым Владимир Ильич виделся перед отъездом из России и сговорился о корреспондировании. Он присылал массу корреспонденций из Орехово-Зуева, Владимира, Гусь-Хрустального, Иваново-Вознесенска, Кохмы, Кинешмы.

Он постоянно объезжал эти места и укреплял связи с ними. Писали из Питера, Москвы, с Урала, с Юга. Вели переписку с «Северным союзом». Скоро приехал из Иваново-Вознесенска представитель «Союза», Носков. Более российский тип трудно было себе представить. Голубоглазое блондинистое лицо, немного сутулый, он говорил на «о». Приехал он за границу с узелком договориться обо всем. Его дядюшка, мелкий фабрикант в Иваново-Вознесенске, дал ему денег на поездку за границу, чтобы только избавиться от беспокойного племянника, которого то забирали в каталажку, то обыскивали. Борис Николаевич (от природы он назывался Владимиром Александровичем, а это была его кличка) был хорошим практиком. Я его встречала еще в Уфе, когда он заезжал туда проездом в Екатеринбург. За границу он приехал за связями. Собрание связей было его профессией. Помню, как он, усевшись на плиту в нашей узенькой мюнхенской кухне, с блестящими глазами рассказывал нам о работе «Северного союза». Рассказывая, страшно увлекался. Владимир Ильич своими вопросами только подливал масла в огонь. Борис — пока жил за границей — завел тетрадь, куда тщательно записывал все связи: где кто живет, что делает, чем может быть полезен. Потом оставил нам эти связи. Это был своеобразный поэт-организатор. Впрочем, он слишком идеализировал людей и работу, и не было у него умения бесстрашно смотреть действительности в глаза.

После II съезда он был примиренцем, а потом как-то сошел с политической сцены. В годы реакции он умер.

Приезжали в Мюнхен и другие, еще до моего приезда был в Мюнхене Струве. С ним дело в это время шло уже на разрыв. Он переходил в это время из стана социал-демократии в стан либералов. В последний приезд с ним было резкое столкновение. Вера Ивановна подшила ему прозвище «подкованный теленок». Владимир Ильич и Плеханов ставили над ним крест. Вера Ивановна считала, что он еще не безнадежен. Ее и Потресо́ва звали в шутку «Struve — freundliche Partei»¹.

Приезжал Струве второй раз, когда я уже была в Мюнхене. Владимир Ильич отказался его видеть. Я ходила видеться со Струве на квартиру Веры Ивановны. Свидание было очень тяжелое. Струве был страшно обижен. Пахнуло какой-то тяжелой достоевщиной. Он говорил о том, что его считают ренегатом и еще что-то в том же роде, издевался над собой. Сейчас я уж не помню того, что он говорил, помню только то тяжелое чувство, с каким я шла с этого свидания. Было ясно, это — чужой, враждебный партии человек. Владимир Ильич был прав. Потом с кем-то, не помню уже с кем, жена Струве Нина Александровна прислала привет и коробку мармелада. Она была бессильна, да и вряд ли понимала, куда повертывает Петр Бернгардович. Он-то понимал.

Поселились мы после моего приезда в рабочей немецкой семье. У них была большая семья — человек шесть. Все они жили в кухне и маленькой комнатшке. Но чистота была страшная, детишки ходили чистенькие, вежливые. Я решила, что надо перевести Ильича на домашнюю кормежку, завела стряпню. Готовила на хозяйской кухне, но готовить надо было все у себя в комнате. Старалась как можно меньше греметь, так как Владимир Ильич в это время начал уже писать «Что делать?». Когда он писал, он ходил обычно из угла в угол и шепотком говорил то, что собирался писать. Я уже приспособилась к этому времени к его манере работать. Когда он писал, ни о чем уж с ним не говорила, ни о чем не спрашивала. Потом, на прогулке, он рассказывал, что он пишет, о чем думает. Это стало для него такой же потребностью, как шепотком проговорить себе статью, прежде чем ее написать. Бродили мы по

¹ «Дружественная Струве партия».

окрестностям Мюнхена весьма усердно, выбирая места подичее, где меньше народа.

Через месяц перебрались на собственную квартиру в предместье Мюнхена Швабинг, в один из многочисленных только что отстроенных больших домов, завели «обстановочку» (при отъезде продали ее всю за 12 марок) и зажили по-своему.

В начале первого — после обеда — приходил Мартов, подходили и другие, шло так называемое заседание редакции. Мартов говорил не переставая, причем постоянно перескакивал с одной темы на другую. Он массу читал, откуда-то узнавал всегда кучу новостей, знал всех и вся. «Мартов — типичный журналист, — говорил про него не раз Владимир Ильич, — он чрезвычайно талантлив, все как-то хватает на лету, страшно впечатлителен, но ко всему легко относится». Для «Искры» Мартов был прямо незаменим. Владимир Ильич страшно уставал от этих ежедневных 5—6-часовых разговоров, делался от них совершенно болен, неработоспособен. Раз он попросил меня сходить к Мартову и попросить его не ходить к нам. Условились, что я буду ходить к Мартову, рассказывать ему о получаемых письмах, договариваться с ним. Из этого, однако, ничего не вышло, через два дня дело пошло по-старому. Мартов не мог жить без этих разговоров. После нас он шел с Верой Ивановной, Димкой, Блюменфельдом¹ в кафе, где они просиживали целыми часами.

...Иногда чуть, капельку, проскальзывала разница в подходах к некоторым вопросам.

Запомнился один разговор. В кафе, в котором мы сидели, рядом с нашей комнатой был гимнастический зал, как раз там шло упражнение в фехтовании. Рабочие, вооруженные щитами, сражались, скрещивая картонные мечи. Плеханов посмеялся: «Вот и мы в будущем строе будем так сражаться». Когда мы возвращались домой, я шла с Аксельродом — он продолжал развивать тему, задетую Плехановым: «В будущем

¹ Блюменфельд набирал «Искру» сначала в Лейпциге, потом в Мюнхене в немецких социал-демократических типографиях. Он был отличным наборщиком и хорошим товарищем. К делу относился горячо. Он очень любил Веру Ивановну, всегда очень заботился о ней. С Плехановым он не ладил. Это был товарищ, на которого можно было вполне положиться. За что возьмется — сделает. — *Прим. авт.*

строе будет смертельная скука, никакой борьбы не будет».

В это время я еще была до дикости застенчива и ничего не сказала, но, помню, подивилась таким рассуждениям.

«Что делать?» *

...Владимир Ильич засел за окончание «Что делать?». После меньшевики яростно нападали на «Что делать?», но в то время оно всех захватило, особенно тех, кто ближе стоял к русской работе. Вся брошюра была страстным призывом к организации, она набрасывала широкий план организации, в которой каждый мог найти себе место, мог сделаться винтиком революционной машины, винтиком, без которого не может пойти работа, как бы мал он ни был. Брошюра звала к упорной, неустанной работе над созданием того фундамента, который надо было создать для того, чтобы при тогдашних русских условиях могла существовать партия не на словах, а на деле. Нельзя социал-демократу бояться долгой работы, надо работать, работать не покладая рук, быть всегда готовым *«...на все, начиная от спасенья чести, престижа и преемственности партии в момент наибольшего революционного «угнетения» и кончая подготовкой, назначением и проведением всенародного вооруженного восстания»*,— писал Владимир Ильич в «Что делать?».

Двадцать два года прошло с тех пор, как написана эта брошюра, и каких двадцать два года,— в корне изменились все условия работы партии, совсем новые задачи стоят перед рабочим движением, а и сейчас захватывает революционный пафос этой брошюры, и сейчас надо изучать эту брошюру тому, кто хочет не на словах, а на деле быть ленинцем.

Если «Друзья народа» имели громадное значение для определения пути, по которому должно идти революционное движение, то «Что делать?» определяло план широкой революционной работы, указывало определенное дело.

Ясно было, что съезд партии еще преждевременен, что нет еще предпосылок для того, чтобы он не повис в воздухе, как повис I съезд, что нужна длительная подготовительная работа...

Владимира Ильича особенно интересовало отношение к «Что делать?» рабочих. Так, 16 июля 1902 г. он пишет Ивану Ивановичу Радченко: «Уж очень обрадовало Ваше сообщение о беседе с рабочими. Нам до последней степени редко приходится получать такие письма, которые действительно придают массу бодрости. Передайте это непременно Вашим рабочим и передайте им нашу просьбу, чтобы они и сами писали нам *не только для печати*, а и так, для обмена мыслей, чтобы не терять связи друг с другом и взаимного понимания. Меня лично особенно интересует при этом, как отнесутся рабочие к «Что делать?», ибо отзыв рабочих я еще не получал».

«Искра» работала вовсю. Ее влияние росло. Готовилась к съезду Программа партии. Для обсуждения ее приехали в Мюнхен Плеханов и Аксельрод. Плеханов нападал на некоторые места наброска Программы, сделанного Лениным. Вера Ивановна не во всем была согласна с Лениным, но не была согласна до конца и с Плехановым. Аксельрод соглашался тоже кое в чем с Лениным. Заседание было тяжелое. Вера Ивановна хотела возражать Плеханову, но тот принял неприступный вид и, скрестив руки, так глядел на нее, что Вера Ивановна совсем запуталась. Дело дошло до голосования. Перед голосованием Аксельрод, соглашавшийся в данном вопросе с Лениным, заявил, что у него разболелась голова и он хочет прогуляться.

Владимир Ильич ужасно волновался. Так нельзя работать. Какое же это деловое обсуждение?

Необходимость построить работу на деловых основах, так, чтобы не привносился в нее личный элемент, чтобы капризы, исторически сложившиеся личные отношения не влияли на решение,— вставала во весь рост.

Владимир Ильич крайне болезненно относился ко всякой размолвке с Плехановым, не спал ночи, нервничал. А Плеханов сердился, дулся...

К этому времени выяснилось, что печатать «Искру» в Мюнхене далее невозможно, владелец типографии не хотел рисковать. Надо было выбирать. Куда? Плеханов и Аксельрод стояли за Швейцарию, остальные — понюхав атмосферы, развернувшейся на заседании при обсуждении Программы,— голосовали за Лондон.

Мама поехала на лето в Россию, а мы стали собираться.

Этот мюнхенский период вспоминался нам после как какой-то светлый период. Последующие годы эмиграции переживались куда тяжелее. В мюнхенский период не было еще такой глубокой трещины в личных отношениях между Владимиром Ильичем, Мартовым, Потресовым и Засулич. Все силы сосредотачивались на одной цели — создании общерусской газеты, интенсивно шло собирание сил около «Искры». Ощущение роста организации, осознание того, что путь к созданию партии намечен правильно, было у всех.

Поэтому можно было не внешне, а от всей души веселиться на карнавале, возможно было то исключительное жизнерадостное настроение, которое было всеобщим при поездке в Цюрих, и т. д.

Местная жизнь не привлекала нашего особенного внимания. Мы наблюдали ее со стороны. Бывали иногда на собраниях, но в общем они были мало интересны. Помню празднование 1 Мая. В том году первый раз немецкой социал-демократии разрешено было устроить шествие, но с тем, чтобы не скопиться в городе, а устроить празднество за городом.

И вот довольно большие колонны немецких социал-демократов, с женами и детьми и редьками в карманах, молча, очень быстрым шагом прошли по городу — пить пиво в загородном ресторане. Никаких флагов, плакатов не было. Этот *Maifeier*¹ не напоминал совершенно демонстрации во имя торжества рабочего класса во всем мире.

В загородный ресторан, куда направилась процессия, мы не пошли, отстали от демонстрации, а пошли по привычке бродить по улицам Мюнхена, чтобы заглушить чувство разочарования, которое невольно закралось в душу: хотелось принять участие в боевой демонстрации, а не в демонстрации с разрешения полиции.

Так как мы соблюдали сугубую конспирацию, то совершенно не виделись с немецкими товарищами. Встречались только с Парвусом, жившим неподалеку от нас, в Швабинге, с женой и сынишкой. Однажды приезжала к нему Роза Люксембург, и Владимир Ильич ходил тогда повидаться с ней. Тогда Парвус, занимая очень левую позицию, сотрудничал в «Искре», интересовался русскими делами.

¹ Майский праздник.

В Лондон мы ехали через Льеж. В то время там жил Николай Леонидович Мещеряков с женой — мои старые приятели по воскресной школе. В те времена, когда я его знала, он был еще народовольцем, но он первый ввел меня в нелегальную работу, первый обучал правилам конспирации и помог мне сделаться социал-демократкой, усердно снабжая меня заграничными изданиями группы «Освобождение труда».

Теперь он был социал-демократом, давно уже жил в Бельгии, прекрасно знал местное движение, и мы решились по дороге заехать к ним.

В это время в Льеже как раз было громадное возбуждение. За несколько дней перед тем войска стреляли в бастовавших рабочих. Заметно было, как волнуются рабочие кварталы, по лицам рабочих, по кучкам стоявших людей. Ходили мы смотреть Народный дом. Он стоит в очень неудобном месте, толпу легко запереть на площади перед домом, как в ловушке. Рабочие тянулись к Народному дому. И вот, чтобы предупредить скопление там народа, партийные верхи назначили собрания по всем рабочим кварталам. И мелькало недоверие к бельгийским вождям социал-демократии. Получилось какое-то разделение труда: одни стреляют в толпу, другие ищут предлога ее успокоить...

ЖИЗНЬ В ЛОНДОНЕ

1902—1903 гг.

В Лондон мы приехали в апреле 1902 г.

Лондон поразил нас своей грандиозностью. И хоть была в день нашего приезда невероятная мразь, но у Владимира Ильича лицо сразу оживилось, и он с любопытством стал вглядываться в эту твердыню капитализма, забыв на время и Плеханова и конфликты в редакции.

На вокзале нас встретил Николай Александрович Алексеев — товарищ, живший в Лондоне в эмиграции и прекрасно изучивший английский язык. Он был вначале нашим поводырем, так как мы оказались в довольно-таки беспомощном состоянии. Думали, что знаем английский язык, так как в Сибири перевели даже с английского на русский целую толстенную книгу — Веббов. Я английский язык в тюрьме учила по само-

учителю, никогда ни одного живого английского слова не слыхала. Стали мы в Шушенском Вебба переводить — Владимир Ильич пришел в ужас от моего произношения: «У сестры была учительница, так она не так произносила». Я спорить не стала, переучилась. Когда приехали в Лондон, оказалось — ни мы ни черта не понимаем, ни нас никто не понимает. Попадали мы вначале в прекомичные положения. Владимира Ильича это забавляло, но в то же время задевало за живое. Он принялся усердно изучать язык. Стали мы ходить по всяческим собраниям, забираясь в первые ряды и внимательно глядя в рот оратору. Ходили мы вначале довольно часто в Гайд-парк. Там выступают ораторы перед прохожими — кто о чем. Стоит атеист и доказывает кучке любопытных, что бога нет, — мы особенно охотно слушали одного такого оратора, он говорил с ирландским произношением, нам более понятным. Рядом офицер из «Армии спасения» выкрикивает истерично слова обращения к всемогущему богу, а немного поодаль приказчик рассказывает про каторжную жизнь приказчиков больших магазинов. Слушание английской речи давало многое. Потом Владимир Ильич раздобыл через объявления двух англичан, желавших брать обменные уроки, и усердно занимался с ними. Изучил он язык довольно хорошо.

Изучал Владимир Ильич и Лондон. Он не ходил смотреть лондонские музеи — я не говорю про Британский музей, где он проводил половину времени, но там его привлекал не музей, а богатейшая в мире библиотека, те удобства, с которыми можно было там научно работать. Я говорю про обычные музеи. В музее древности через 10 минут Владимир Ильич начинал испытывать необычайную усталость, и мы обычно очень быстро выметались из зал, увешанных рыцарскими доспехами, бесконечных помещений, уставленных египетскими и другими древними вазами. Я помню один только музейчик, из которого Ильич никак не мог уйти — это музей революции 1848 г. в Париже, помещавшийся в одной комнатушке, — кажется, на rue des Cordilières, — где он осмотрел каждую вещичку, каждый рисунок.

Ильич изучал живой Лондон. Он любил забираться на верх омнибуса и подолгу ездить по городу. Ему нравилось движение этого громадного торгового города.

Тихие скверы с парадными особняками, с зеркальными окнами, все увитые зеленью, где ездят только вылощенные кэбы, и ютящиеся рядом грязные переулки, населенные лондонским рабочим людом, где посередине развешано белье, а на крыльце играют бледные дети, оставались в стороне. Туда мы забирались пешком и, наблюдая эти кричащие контрасты богатства и нищеты, Ильич сквозь зубы повторял: «Two nations!» («Две нации!») Но и с омнибуса можно было наблюдать тоже немало характерных сцен. Около баров (распивочных) стояли опухшие, ободранные люмпены, среди которых нередко можно было видеть какую-нибудь пьяную женщину с подбитым глазом, в бархатном платье со шлейфом, с вырванным рукавом и т. п. С омнибуса мы видели однажды, как могучий боби (полицейский), в своей характерной каске с подвязанным подбородком, железной рукой толкал перед собой тщедушного мальчишку, очевидно пойманного воришку, и целая толпа шла следом с гиком и свистом. Часть ехавшей на омнибусе публики повскакала с мест и также стала гикать на воришку. «Н-д-а-а»,— мычал Владимир Ильич. Раза два мы ездили на верху омнибуса вечером в дни получки в рабочие кварталы. Вдоль тротуара широкой улицы (Road—дороги) стоит бесконечный ряд лотков, освещенных каждый горящим факелом,— тротуары залиты толпой рабочих и работниц, шумной толпой, покупающей всякую всячину и тут же утоляющей свой голод. Владимира Ильича всегда тянуло в рабочую толпу. Он шел всюду, где была эта толпа,— на прогулку, где усталые рабочие, выбравшись за город, часами валялись на траве, в бар, в читалку. В Лондоне много читалок—одна комната, куда входят прямо с улицы, где нет даже никакого сиденья, а лишь стойки для чтения и прикрепленные к палкам газеты; входящий берет газету и по прочтении вешает ее на место. Такие читалки хотел потом Ильич завести повсюду и у нас. Шел в народный ресторанчик, в церковь. В Англии в церквях после богослужения бывает обычно какой-нибудь коротенький доклад и потом дискуссия. Эти-то дискуссии, где выступали рядовые рабочие, особенно любил слушать Ильич. В газетах он отыскивал объявления о рабочих собраниях в глухих кварталах, где не было парада, не было лидеров, а были рабочие от станка, как теперь говорят. Собрание посвящалось обычно

обсуждению какого-нибудь вопроса, проекта, например, городов-садов. Внимательно слушал Ильич и потом радостно говорил: «Из них социализм так и прет! Докладчик пошлости разводит, а выступит рабочий,— сразу быка за рога берет, самую суть капиталистического строя вскрывает». На рядового английского рабочего, сохранившего, несмотря ни на что, свой классовый инстинкт, и надеялся всегда Ильич. Приезжие обычно видят лишь развращенную буржуазией обуржуазившуюся рабочую аристократию. Ильич изучал, конечно, и эту верхушку, конкретные формы, в которые выливается это влияние буржуазии, ни на минуту не забывал значение этого факта, но старался нащупать и движущие силы будущей революции в Англии.

По каким только собраниям мы не шатались! Раз забрели в социал-демократическую церковь. В Англии есть такие. Ответственный социал-демократический работник читал в нос Библию, а потом говорил проповедь на тему, что исход евреев из Египта — это прообраз исхода рабочих из царства капитализма в царство социализма. Все вставали и по социал-демократическим молитвенникам пели: «Выведи нас, господи, из царства капитализма в царство социализма». Потом мы еще раз ходили в эту церковь «Семи сестер» на собеседование с молодежью. Юноша читал доклад о муниципальном социализме, доказывая, что никакая революция не нужна, а социал-демократ, выступавший при нашем первом посещении церкви «Семи сестер» в роли попа, заявлял, что он уже 12 лет состоит в партии и 12 лет борется с оппортунизмом, а муниципальный социализм — это чистой воды оппортунизм.

Английских социалистов в домашнем быту мы знаем мало. Англичане — народ замкнутый. На русскую эмигрантскую богему они смотрели с наивным удивлением. Помню, как меня допрашивал один английский социал-демократ, с которым мы встретились раз у Тахтаревых: «Неужели вы сидели в тюрьме? Если бы мою жену посадили в тюрьму, я не знаю, что бы сделал! Мою жену!» Всепоглощающее засилье мещанства мы могли наблюдать в семье нашей квартирной хозяйки — рабочей семье, а также на англичанах, дававших нам обменные уроки. Тут мы всласть изучили всю бездонную пошлость английского мещанского быта. Один из ходивших к нам на урок англичанин, заведовавший крупным книжным

складом, утверждал, что он считает, что социализм — теория, наиболее правильно оценивающая вещи. «Я — убежденный социалист, — говорил он, — я даже одно время стал выступать как социалист. Тогда мой хозяин вызвал меня и сказал, что ему социалисты не нужны, и если я хочу остаться у него на службе, то должен держать язык за зубами. Я подумал: социализм придет неизбежно, независимо от того, буду я выступать или нет, а у меня жена и дети. Теперь я уже никому не говорю, что я социалист, но вам-то я могу это сказать».

Этот мистер Раймонд, объехавший чуть не всю Европу, живший в Австралии, еще где-то, проведший в Лондоне долгие годы, и половины того не видал, что успел наглядеть в Лондоне Владимир Ильич за год своего пребывания там. Ильич затащил его однажды в Уайтчепль на какой-то митинг. Мистер Раймонд, как и громадное большинство англичан, никогда не бывал в этой части города, населенной русскими евреями и живущей своей непохожей на жизнь остального города жизнью, и всему удивлялся.

По нашему обыкновению, мы шатались и по окрестностям города. Чаще всего ездили на так называемый Prime Rose Hill. Это был самый дешевый конец — вся прогулка обходилась шесть пенсов. С холма виден был чуть не весь Лондон — задымленная громада. Отсюда пешком уходили уже подальше на лоно природы — в глубь парков и зеленых дорог. Любили мы ездить на Prime Rose Hill и потому, что там близко было кладбище, где похоронен Маркс. Туда ходили.

В Лондоне мы встретились с членом нашей питерской группы — Аполлинарией Александровной Якубовой. В питерские времена она была очень активным работником, ее очень все ценили и любили, а я была еще связана с ней совместной работой в вечерне-воскресной школе за Невской заставой и общей дружбой с Лидией Михайловной Книпович. После ссылки, откуда она бежала, Аполлинария вышла замуж за Тахтарева, бывшего редактора «Рабочей мысли». Они жили теперь в эмиграции, в Лондоне, в стороне от работы. Аполлинария очень обрадовалась нашему приезду. Тахтаревы взяли нас под свою опеку, помогли нам устроиться дешево и сравнительно удобно. С Тахтаревыми мы все время виделись, но так как мы избегали разговоров о рабочем мышлении, то в отношениях была известная на-

тянутость. Раза два взрывало. Объяснились. В январе 1903 г., кажется, Тахтаревы (Тары) официально заявили о своем сочувствии направлению «Искры».

Скоро должна была приехать моя мать, и мы решили устроиться по-семейному — нанять две комнаты и корчиться дома, так как ко всем этим «бычачьим хвостам», жареным в жиру скатам, кэксам российские желудки весьма мало приспособлены, да и жили мы в это время на казенный счет, так приходилось беречь каждую копейку, а своим хозяйством жить было дешевле.

В смысле конспиративном устроились как нельзя лучше. Документов в Лондоне тогда никаких не спрашивали, можно было записаться под любой фамилией.

Мы записались Рихтерами. Большим удобством было и то, что для англичан все иностранцы на одно лицо, и хозяйка так все время и считала нас немцами.

Скоро приехали Мартов и Вера Ивановна¹ и поселились вместе с Алексеевым коммуной в одном из наиболее напоминавших европейские дома поблизости от нас. Владимир Ильич сейчас же устроился работать в Британском музее.

Он обычно уходил туда с утра, а ко мне приходил Мартов, мы с ним разбирали почту и обсуждали ее. Таким образом Владимир Ильич был избавлен от доброй доли так утомлявшей его сутолоки.

С Плехановым конфликт кое-как закончился. Владимир Ильич уехал на месяц в Бретань повидаться с матерью и Анной Ильиничной, пожить с ними у моря. Море с его постоянным движением и безграничным простором он очень любил, у моря отдыхал.

Крепнут связи с Россией *

В Лондон сразу же стал приезжать к нам народ. Приехала Инна Смидович — Димка, вскоре уехавшая в Россию. Приехал и ее брат Петр Гермогенович, который по инициативе Владимира Ильича был окрещен Матреной. Перед тем он долго сидел. Выйдя из тюрьмы, он стал горячим искровцем. Он считал себя большим специалистом по смыванию паспортов — якобы надо было смывать потом, и в коммуне одно время все столы стояли вверх дном, служба прессом для смываемых пас-

¹ Засулич.

портов. Вся эта техника была весьма первобытна, как и вся наша тогдашняя конспирация. Перечитывая сейчас переписку с Россией, диву даешься наивности тогдашней конспирации. Все эти письма о носовых платках (паспортах), варящемся пиве, теплом мехе (нелегальной литературе), все эти клички городов, начинающих с той буквы, с которой начиналось название города (Одесса — Осип, Тверь — Терентий, Полтава — Петя, Псков — Паша и т. д.), вся эта замена мужских имен женскими и наоборот, — все сие было до крайности прозрачно, шито белыми нитками. Тогда это не казалось таким наивным, да и все же до некоторой степени путало следы. Первое время не было такого обилия провокаторов, как позднее. Люди были все надежные, хорошо знавшие друг друга. В России работали агенты «Искры», им доставлялась литература из-за границы — «Искра» и «Заря», брошюры, — они заботились о том, чтобы искровская литература перепечатывалась в нелегальных типографиях, распространяли искровскую литературу по комитетам, заботились о доставке «Искре» корреспонденций и о том, чтобы держать «Искру» в курсе всей ведущейся в России нелегальной работы, собирали на нее деньги. В Самаре (у Сони) жили Грызуны — Кржижановские, Глеб Максимилианович — Клэр и Зинаида Павловна — Улитка. Там же жила Мария Ильинична — Медвежонок. В Самаре сразу образовалось нечто вроде центра. У Кржижановских особая способность группировать около себя публику. Ленгник — Курц поселился на юге, жил одно время в Полтаве (у Пети), потом в Киеве. В Астрахани жила Лидия Михайловна Книпович — Дяденька. В Пскове жил Лепешинский — Лапоть и Любовь Николаевна Радченко — Паша. Степан Иванович Радченко к этому времени замучился окончательно и ушел от нелегальной работы, зато не покладая рук работал на «Искру» брат Степана Ивановича, Иван Иванович (он же Аркадий, он же Касьян). Он был разъездным агентом. Таким же агентом, развозившим по России «Искру», был Сильвин (Бродяга). В Москве работал Бауман (он же Виктор, Дерезо, Грач) и тесно связанный с ним Иван Васильевич Бабушкин (он же Богдан). К числу агентов относилась и тесно связанная с питерской организацией Елена Дмитриевна Стасова — Гуца, она же Абсолют, а также Глафира Ивановна Окулова, после провала

Баумана поселившаяся под именем Зайчик в Москве (у Старухи). Со всеми ними «Искра» вела активную переписку. Владимир Ильич просматривал каждое письмо. Мы знали очень подробно, кто из агентов «Искры» что делает, и обсуждали с ними всю их работу; когда между ними рвались связи,— связывали их между собой, сообщали о провалах и пр.

На «Искру» работала типография в Баку. Работа велась при условиях строжайшей конспирации; там работали братья Енукидзе, руководил делом Красин (Лошадь). Типография называлась Нина. Потом на севере, в Новгороде, пробовали завести другую типографию — Акулину. Она очень быстро провалилась.

Прежняя нелегальная типография в Кишиневе, которой заведовал Аким (Леон Гольдман), к лондонскому периоду уже провалилась.

Транспорт шел через Вильно (через Груню).

Питерцы пробовали наладить транспорт через Стокгольм. Об этом транспорте, функционировавшем под названием пиво, была бездна переписки, мы слали на Стокгольм литературу пудами, нас извещали, что пиво получено. Мы были уверены, что получено в Питере, и продолжали слать на Стокгольм литературу. Потом, в 1905 г., возвращаясь через Швецию в Россию, мы узнали, что пиво находится все еще в пивоварне, попросту говоря, в стокгольмском Народном доме, где нашей литературой был завален целый подвал.

«Малые бочки» посылались через Варде; раз, кажись, была получена посылка, потом что-то расстроилось. В Марселе поселили Матрену. Она должна была наладить транспорт через поваров, служивших на пароходах, ходивших в Батум. В Батуме прием литературы наладили Лошади — бакинцы. Впрочем, большинство литературы выброшено было в море (литература заворачивалась в брезент и выбрасывалась на условленном месте в воду, наши ее выуживали). Михаил Иванович Калинин, работавший тогда на заводе в Питере и входивший в организацию, через Гушу передал адрес в Тулон, какому-то матросу. Возили литературу через Александрию (Египет), налаживали транспорт через Персию. Затем налажен был транспорт через Каменец-Подольск, через Львов. Ели все эти транспорты уймищу денег, энергии, работа в них сопряжена была с большим риском, доходило, вероятно, не больше одной

десятой всего посылаемого. Посылали еще в чемоданах с двойным дном, в переплетах книг. Литература моментально расхватывалась.

Особенный успех имело «Что делать?». Оно отвечало на ряд самых насущных назревших вопросов. Все очень остро чувствовали необходимость конспиративной, планомерно работающей организации...

Особая роль в борьбе за правильную структуру организаций принадлежит Владимиру Ильичу. Его «Письмо к Ереме», или, как оно называется в литературе, «Письмо к товарищу» (о нем скажу дальше), сыграло исключительную роль в деле организации партии. Оно помогло орабочению партии, втягиванию в разрешение всех жгучих вопросов политики рабочих, разбило ту стену, которая была воздвигнута рабочедельцами между рабочим и интеллигентом. Зимой 1902/03 г. в организациях была отчаянная борьба направлений, искровцы завоевывали постепенно положение, но бывало и так, что их вышибали.

Владимир Ильич направлял борьбу искровцев, предостерегая их от упрощенного понимания централизма, борясь со склонностью видеть в каждой живой самостоятельной работе кустарничество. Вся эта работа Владимира Ильича, так глубоко повлиявшая на качественный состав комитетов, малоизвестна молодежи, а между тем именно она определила лицо нашей партии, заложила основы ее теперешней организации.

Рабочедельцы — экономисты были особенно озлоблены на эту борьбу, лишившую их влияния, и негодовали на «командование» со стороны заграницы. Для переговоров по организационным вопросам 6 августа приехал из Питера тов. Краснуха — с паролем: «Читали ли вы «Гражданин» № 47?». С тех пор он пошел у нас под кличкой Гражданин. Владимир Ильич много говорил с ним о питерской организации, ее структуре. В совещании принимали участие и П. А. Красиков (он же Музыкант, Шпилька, Игнат, Панкрат) и Борис Николаевич (Носков). Из Лондона Гражданина отправили в Женеву поговорить с Плехановым и окончательно обыскриться. Через пару недель пришло письмо из Питера от Еремы, высказывавшего свои соображения о том, как должна быть организована работа на местах. Не видно было по письму, был ли Ерема отдельный пропагандист или группа пропагандистов. Но это было неважно. Влади-

мир Ильич стал обдумывать ответ. Ответ разросся в брошюру «Письмо к товарищу». Оно было сначала отпечатано на гектографе и распространено, а затем, в июне 1903 г., издано нелегально Сибирским комитетом.

В начале сентября 1902 г. приехал Бабушкин, бежавший из екатеринославской тюрьмы. Ему и Горовицу помогли бежать из тюрьмы и перейти границу какие-то гимназисты, выкрасили ему волосы, которые скоро превратились в малиновые, обращавшие на себя всеобщее внимание. И к нам он приехал малиновый. В Германии попал в лапы комиссионерам, и еле-еле удалось ему избавиться от отправки в Америку. Поселили мы его в коммуну, где он и прожил все время своего пребывания в Лондоне. Бабушкин за это время страшно вырос в политическом отношении. Это уже был закаленный революционер, с самостоятельным мнением, перевидавший массу рабочих организаций, которому нечего было учиться, как подходить к рабочим,— сам рабочий. Когда он пришел несколько лет перед тем в воскресную школу, это был совсем неопытный парень. Помню такой эпизод. Был он в группе сначала у Лидии Михайловны Книпович. Был урок родного языка, подбирали какие-то грамматические примеры. Бабушкин написал на доске: «У нас на заводе скоро будет стачка». После урока Лидия отозвала его в сторону и наворчала на него: «Если хотите быть революционером, нельзя рисоваться тем, что ты революционер, надо иметь выдержку» и т. п. Бабушкин покраснел, но потом смотрел на Лидию как на лучшего друга, часто советовался с ней о делах и как-то по-особенному говорил с ней.

В то время в Лондон приехал Плеханов. Было устроено заседание совместно с Бабушкиным. Речь шла о русских делах. У Бабушкина было свое мнение, которое он защищал очень твердо, и так держался, что стал импонировать Плеханову. Георгий Валентинович стал внимательно в него вглядываться. О своей будущей работе в России Бабушкин говорил, впрочем, только с Владимиром Ильичем, с которым был особенно близок. Еще помню один маленький, но характерный эпизод. Дня через два после приезда Бабушкина, придя в коммуну, мы были поражены царившей там чистотой — весь мусор был прибран, на столах постланы газеты, пол подметен. Оказалось, порядок водворил Бабушкин. «У русского

интеллигента всегда грязь — ему прислуга нужна, а сам он за собой прибираться не умеет», — сказал Бабушкин.

Он скоро уехал в Россию. Потом мы его уже не видели. В 1906 г. он был захвачен в Сибири с транспортом оружия и вместе с товарищами расстрелян у открытой могилы.

Еще до отъезда Бабушкина приехали в Лондон бежавшие из киевской тюрьмы искровцы — Бауман, Крохмаль, Блюменфельд, повезший в Россию чемодан с литературой, провалившийся на границе с чемоданом и адресами и потом отвезенный в киевскую тюрьму, Валлах (Литвинов, Папаша), Тарсис (он же Пятница).

Мы знали, что готовится в Киеве побег из тюрьмы. Дейч, только что появившийся на горизонте, спец по бегам, знавший условия киевской тюрьмы, утверждал, что это невозможно. Однако побег удался. С воли переданы были веревки, якорь, паспорта. Во время прогулки связали часового и надзирателя и перелезли через стену. Не успел бежать только последний по очереди — Сильвин, державший надзирателя.

Несколько дней прошли как в чаду...

Приехала из ссылки в Олекме Екатерина Михайловна Александрова (Жак). Раньше она была видной народоволкой, и это наложило на нее определенную печать. Она не походила на наших пылких, растрепанных девиц, вроде Димки, была очень выдержанна. Теперь она была искровкой; то, что она говорила, было умно.

К старым революционерам, к народовольцам, Владимир Ильич относился с уважением.

Когда приехала Екатерина Михайловна, на отношение к ней Владимира Ильича не осталось без влияния то, что она бывшая народоволка, а вот перешла к искровцам. Я и совсем смотрела на Екатерину Михайловну снизу вверх. Перед тем как стать окончательно социал-демократкой, я пошла к Александровым (Ольминским) просить кружок рабочих. На меня произвела тогда колоссальное впечатление скромная обстановка, всюду наваленные статистические сборники, молча сидевший в глубине комнаты Михаил Степанович и горячие речи Екатерины Михайловны, убеждавшей меня стать народоволкой. Я рассказывала об этом Владимиру Ильичу перед приездом Екатерины Михайловны. У нас началась полоса увлечения ею. У Владимира Ильича постоянно бывали такие полосы увлечения людьми. Подметит в че-

ловеке какую-нибудь ценную черту и вцепится в него. Екатерина Михайловна поехала из Лондона в Париж. Искровкой она оказалась не очень стойкой — на II партийном съезде не без ее участия плелась сеть оппозиции против «захватнических» намерений Ленина, потом она была в примиренческом ЦК, потом сошла с политической сцены.

Из приезжавших в Лондон из России товарищей помню еще Бориса Гольдмана — Адель и Доливо-Добровольского — Дно.

Бориса Гольдмана я еще знала по Питеру, где он работал по «технике», печатая листки «Союза борьбы». Человек чрезвычайно колеблющийся, в то время он был искровцем. Дно поражал своей тихостью. Сидит, бывало, тихо, как мышь. Он вернулся в Питер, но скоро сошел с ума, а потом, выздоровев наполовину, застрелился. Трудна тогда была жизнь нелегала, не всякий мог ее вынести.

Всю зиму шла усиленная работа по подготовке съезда. В ноябре 1902 г. конституировался Организационный комитет по подготовке съезда...

Название «Организационный» соответствовало сути дела. Без ОК никогда не удалось бы созвать съезд. Нужно было при труднейших полицейских условиях произвести сложную работу по увязке организационной и идейной только еще оформившихся и продолжавших оформляться коллективов, по увязке мест с границей. Вся работа по сношениям с ОК в подготовке съезда фактически легла на Владимира Ильича. Потресов был болен, его легкие не были приспособлены к лондонским туманам, и он где-то лечился. Мартов тяготился Лондоном, его замкнутой жизнью и, поехав в Париж, застрял там. Должен был жить в Лондоне Дейч, бежавший с торговли старый член группы «Освобождение труда». Группа «Освобождение труда» надеялась на него как на крупного организатора. «Вот приедет Женька (кличка Дейча), — говорила Вера Ивановна, — он наладит все отношения с Россией как нельзя лучше». На него надеялись и Плеханов и Аксельрод, считая, что это будет их представитель в редакции «Искры», который за всем будет следить. Однако, когда приехал Дейч, оказалось, что долгие годы оторванности от русских условий наложили на него свой отпечаток. Для сношений с Россией он оказался совершенно непригодным...

Постоянно жила в Лондоне Вера Ивановна, она неохотно слушала рассказы о русской работе, но сама вести сношения с Россией не могла, не умела. Все легло на Владимира Ильича. Переписка с Россией ужасно трепала ему нервы. Ждать неделями, месяцами ответов на письма, ждать постоянно провала всего дела, постоянно пребывать в неизвестности, как разворачивается дело,— все это как нельзя менее соответствовало характеру Владимира Ильича. Его письма в Россию переполнены просьбами писать аккуратно...

Переполнены письма просьбами действовать скорее. Ночи не спал Ильич после каждого письма из России, сообщавшего о том, что «Соня молчит как убитая», или что «Зарин вовремя не вошел в комитет», или что «нет связи со Старухой». Остались у меня в памяти эти бессонные ночи. Владимир Ильич страстно мечтал о создании единой сплоченной партии, в которой растворились бы все обособленные кружки со своими основывавшимися на личных симпатиях и антипатиях отношениями к партии, в которой не было бы никаких искусственных перегородок, в том числе и национальных...

Вскоре группа «Освобождение труда» вновь поставила вопрос о переезде в Женеву, и на этот раз уже один только Владимир Ильич голосовал против переезда туда. Начали собираться. Нервы у Владимира Ильича так разгулялись, что он заболел тяжелой нервной болезнью «священный огонь», которая заключается в том, что воспаляются кончики грудных и спинных нервов.

Когда у Владимира Ильича появилась сыпь, взялась я за медицинский справочник. Выходило, что по характеру сыпи это — стригущий лишай. Тахтарев — медик не то четвертого, не то пятого курса — подтвердил мои предположения, и я вымазала Владимира Ильича йодом, чем причинила ему мучительную боль. Нам и в голову не приходило обратиться к английскому врачу, ибо платить надо было гинею. В Англии рабочие обычно лечатся своими средствами, так как доктора очень дороги. Дорогой в Женеву Владимир Ильич метался, а по приезде туда свалился и пролежал две недели.

Из работ, которые не нервировали Владимира Ильича в Лондоне, а дали ему известное удовлетворение, было писание брошюры «К деревенской бедноте». Крестьянские восстания 1902 г. привели Владимира Ильича к мысли о необходимости написать брошюру для крестьян.

В ней он растолковывал, чего хочет рабочая партия, объяснял, почему крестьянской бедноте надо идти с рабочими. Это была первая брошюра, в которой Владимир Ильич обращался к крестьянству.

ЖЕНЕВА

1903 г.

В апреле 1903 г. мы переехали в Женеву.

В Женеве мы поселились в пригороде, в рабочем поселке Sèchéron,— целый домишко заняли: внизу большая кухня с каменным полом, наверху три маленьких комнатки. Кухня была у нас и приемной. Недостаток мебели пополнялся ящиками из-под книг и посуды. Игнат (Красиков) в шутку назвал как-то нашу кухню «притоном контрабандистов». Толчея у нас сразу образовалась непротолченная. Когда надо было с кем поговорить в особицу, уходили в рядом расположенный парк или на берег озера.

Понемногу стали съезжаться делегаты. Приехали Дементьевы. Костя (жена Дементьева) прямо поразила Владимира Ильича своими познаниями транспортного дела. «Вот это настоящий транспортер!—повторял он.— Вот это дело, а не болтовня». Приехала Любовь Николаевна Радченко, с которой мы лично были очень близко связаны, разговорам не было конца. Потом приехали ростовские делегаты — Гусев и Локерман, затем Землячка, Шотман (Берг), Дяденька, Юноша (Дмитрий Ильич). Каждый день кто-нибудь приезжал. С делегатами толковали по вопросам программы, Бунда, слушали их рассказы. У нас постоянно сидел Мартов, не устававший говорить с делегатами.

Надо было осветить делегатам позицию «Южного рабочего», который, прикрываясь фирмой популярной газеты, хотел сохранить для себя право на обособленное существование. Надо было выяснить, что при условии нелегального существования популярная газета не может стать массовой, не может рассчитывать на массовое распространение.

В редакции «Искры» пошли всякие недоразумения. Положение стало невыносимым. Делилась редакция обычно на две тройки: Плеханов, Аксельрод, Засулич — с одной стороны, Ленин, Мартов, Потресов — с другой. Владимир Ильич внес опять предложение, которое он

вносил уже в марте, о кооптации в редакцию седьмого члена. Временно, до съезда, кооптировали Красикова: надо было иметь в редакции седьмого. В связи с этим Владимир Ильич стал обдумывать вопрос о тройке. Это был очень большой вопрос, и с делегатами об этом не говорилось. О том, что редакция «Искры» в ее прежнем составе стала неработоспособной, об этом слишком тяжело было говорить.

Приехавшие жаловались на членов ОК: одного обвиняли в резкости, халатности, другого — в пассивности, мелькало недовольство тем, что «Искра»-де стремится слишком командовать, но казалось, что разногласий нет и что после съезда дела пойдут прекрасно.

Делегаты съезжались, не приехали только Клэр и Курц.

ВТОРОЙ СЪЕЗД

Июль — август 1903 г.

Первоначально съезд предполагалось устроить в Брюсселе, там и происходили первые заседания. В Брюсселе жил в то время Кольцов — старый плехановец. Он взял на себя устройство всего дела. Однако устроить съезд в Брюсселе оказалось не так-то легко. Явка была назначена у Кольцова. Но после того как к нему пришло штуки четыре россиян, квартирная хозяйка заявила Кольцовым, что больше она этих хождений не потерпит и, если придет еще хоть один человек, пусть они немедленно же съезжают с квартиры. И жена Кольцова стояла целый день на углу, перехватывала делегатов и направляла их в социалистическую гостиницу «Золотой петух» (так она, кажись, называлась).

Делегаты шумным лагерем расположились в этом «Золотом петухе», а Гусев, хватив рюмочку коньяку, таким могучим голосом пел по вечерам оперные арии, что под окнами отеля собиралась толпа (Владимир Ильич очень любил пение Гусева, особенно «Нас венчали не в церкви»).

Со съездом переконспирировали. Бельгийская партия придумала для ради конспирации устроить съезд в громадном мучном складе. Своим вторжением мы поразили не только крыс, но и полисменов. Заговорили о русских революционерах, собирающихся на какие-то тайные совещания.

На съезде было 43 делегата с решающим голосом и 14 — с совещательным. Если сравнить этот съезд с теперешними, где представлены в числе многочисленных делегатов сотни тысяч членов партии, он кажется маленьким, но тогда он казался большим: на I съезде в 1898 г. было всего ведь 9 человек... Чувствовалось, что за 5 лет порядочно ушли вперед. Главное, организации, от которых приехали делегаты, не были уже полумифическими, они были уже оформлены, они были связаны с начинавшим широко развертываться рабочим движением.

Как мечтал об этом съезде Владимир Ильич! Всю жизнь — до самого конца — он придавал партийным съездам исключительно большое значение; он считал, что партийный съезд — это высшая инстанция, на съезде должно быть отброшено все личное, ничто не должно быть затушевано, все сказано открыто. К партийным съездам Ильич всегда особенно тщательно готовился, особенно заботливо обдумывал к ним свои речи. Теперешняя молодежь, которая не знает, что значит годами ждать возможности обсудить сообща, со всей партией в целом, самые основные вопросы партийной программы и тактики, которая не представляет себе, с какими трудностями связан был созыв нелегального съезда в те времена, — вряд ли поймет до конца это отношение Ильича к партийным съездам.

Также страстно, как Ильич, ждал съезда и Плеханов. Он открывал съезд. Большое окно мучного склада около импровизированной трибуны было завешено красной материей. Все были взволнованы. Торжественно звучала речь Плеханова, в ней слышался неподдельный пафос. И как могло быть иначе! Казалось, долгие годы эмиграции уходили в прошлое, он... открывал съезд Российской социал-демократической рабочей партии.

По существу дела II съезд был учредительным. На нем ставились коренные вопросы теории, закладывался фундамент партийной идеологии. На II съезде было принято только название партии и манифест о ее образовании. Вплоть до II съезда программы у партии не было. Редакция «Искры» эту программу подготовила. Долго обсуждалась она в редакции. Обосновывалось, взвешивалось каждое слово, каждая фраза, шли горячие споры. Между мюнхенской и швейцарской частью редакции месяцами велась переписка о программе. Многим практически казалось, что эти споры носят чисто кабинетный

характер и что совсем не важно, будет ли стоять в программе какое-нибудь «более или менее» или его стоять не будет.

Мы вспоминали однажды с Владимиром Ильичем одно сравнение, приведенное где-то Л. Толстым: идет он и видит издали — сидит человек на корточках и машет как-то нелепо руками; он подумал — сумасшедший, подошел ближе, видит — человек нож о тротуар точит. Так бывает и с теоретическими спорами. Слушать со стороны: зря люди препираются, вникнуть в суть — дело кажется самого существенного. Так и с программой было.

Когда в Женеву стали съезжаться делегаты, больше всего, детальнее всего с ними обсуждали вопрос о программе. На съезде этот вопрос прошел наиболее гладко.

Другой вопрос громадной важности, обсуждавшийся на II съезде, был вопрос о Бунде. На I съезде было постановлено, что Бунд составляет часть партии, хотя и автономную. В течение пяти лет, которые прошли со времени I съезда, партии как единого целого, в сущности, не было, и Бунд вел обособленное существование. Теперь Бунд хотел закрепить эту обособленность, установив с РСДРП лишь федеративные отношения...

Тем временем пришлось перебираться в Лондон. Брюссельская полиция стала придирааться к делегатам и выслала даже Землячку и еще кого-то. Тогда снялись все. В Лондоне устройству съезда всячески помогли Тахтаревы. Полиция лондонская не чинила препятствий...

Съезд утвердил направление «Искры», но предстояло еще утверждать редакцию «Искры».

Владимир Ильич выдвинул проект о том, чтобы редакцию «Искры» составить из трех лиц. Об этом проекте Владимир Ильич ранее сообщил Мартову и Потресову. Мартов отстаивал перед съезжавшимися делегатами редакционную тройку как наиболее деловую. Тогда он понимал, что тройка направлена была главным образом против Плеханова. Когда Владимир Ильич передал Плеханову записку с проектом редакционной тройки, Плеханов не сказал ни слова и, прочитав записку, молча положил ее в карман. Он понял, в чем дело, но шел на это. Раз партия — нужна деловая работа.

Мартов больше всех членов редакции вращался среди членов ОК. Очень скоро его уверили, что тройка направлена против него и что, если он войдет в тройку,

он предаст Засулич, Потресова, Аксельрода. Аксельрод и Засулич волновались до крайности.

...Споры о § I Устава приняли особо острый характер. Ленин и Мартов политически и организационно разошлись по вопросу о § I партийного Устава. Они нередко расходились и раньше, но раньше эти расхождения происходили в рамках тесного кружка и быстро изживались, теперь разногласия выступили на съезде, и все те, кто имел зуб против «Искры», против Плеханова и Ленина, постарались раздуть расхождение в крупный принципиальный вопрос. На Ленина стали нападать за статью «С чего начать?», за книжку «Что делать?», изображать честолюбцем и пр. Владимир Ильич выступал на съезде резко. В своей брошюре «Шаг вперед, два шага назад» он писал: «Не могу не вспомнить по этому поводу одного разговора моего на съезде с кем-то из делегатов «центра». «Какая тяжелая атмосфера царит у нас на съезде!» — жаловался он мне.— Эта ожесточенная борьба, эта агитация друг против друга, эта резкая полемика, это нетоварищеское отношение!..» «Какая прекрасная вещь — наш съезд!» — отвечал я ему.— «Открытая, свободная борьба. Мнения высказаны. Оттенки обрисовались. Группы наметились. Руки подняты. Решение принято. Этап пройден. Вперед! — вот это я понимаю. Это — жизнь. Это — не то, что бесконечные, нудные интеллигентские словопрения, которые кончаются не потому, что люди решили вопрос, а просто потому, что устали говорить...» Товарищ из «центра» смотрел на меня недоумевающими глазами и пожимал плечами. Мы говорили на разных языках».

В этой цитате весь Ильич.

С самого начала съезда нервы его были напряжены до крайности. Бельгийская работница, у которой мы поселились в Брюсселе, очень огорчилась, что Владимир Ильич не ест той чудесной редиски и голландского сыру, которые она подавала ему по утрам, а ему было и тогда уже не до еды. В Лондоне же он дошел до точки, совершенно перестал спать, волновался ужасно.

Как ни бешено выступал Владимир Ильич в прениях,— как председатель он был в высшей степени беспристрастен, не позволял себе ни малейшей несправедливости по отношению к противнику. Другое дело Плеханов. Он, председательствуя, особенно любил блистать остроумием и дразнить противника.

Хотя громадное большинство делегатов не разошлось по вопросу о месте Бунда в партии, по вопросу о Программе, о признании направления «Искры» своим знаменем, но уже к середине съезда почувствовалась определенная трещина, углубившаяся к концу его. Собственно говоря, серьезных разногласий, мешавших совместной работе, делавших ее невозможной, на II съезде еще не выявилось, они были еще в скрытом состоянии, в потенции, так сказать. А между тем съезд распался явным образом на две части. Многим казалось, что во всем виноваты нетактичность Плеханова, «бешенство» и честолюбие Ленина, шпильки Павловича, несправедливое отношение к Засулич и Аксельроду,— и они примыкали к обиженным, из-за лиц не замечали сути. В их числе был и Троцкий, превратившийся в яркого противника Ленина. А суть была в том, что товарищи, группировавшиеся около Ленина, гораздо серьезнее относились к принципам, хотели во что бы то ни стало осуществить их, пропитать ими всю практическую работу; другая же группа была более обывательски настроена, склонна была к компромиссам, к принципиальным уступкам, более взирала на лица.

Борьба во время выборов носила крайне острый характер. Осталась в памяти пара предвыборных сенок. Аксельрод корит Баумана (Сорокина) за недостаток якобы нравственного чутья, поминает какую-то ссылочную историю, сплетню. Бауман молчит, и слезы стоят у него на глазах.

И другая сценка. Дейч что-то сердито выговаривает Глебову (Носкову), тот поднимает голову и, блеснув загоревшимися глазами, с досадой говорит: «Помолчали бы вы уж в тряпочку, папаша!»

Съезд кончился. В ЦК выбрали Глебова, Клэра и Курца, причем из 44 решающих голосов 20 воздержалось от голосования, в ЦО выбрали Плеханова, Ленина и Мартова. Мартов от участия в редакции отказался. Раскол был налицо.

ПОСЛЕ ВТОРОГО СЪЕЗДА

1903—1904 гг.

В Женеве, куда мы вернулись со съезда, началась тяжелая канитель. Прежде всего хлынула в Женеву эми-

грантская публика из других заграничных колоний. Приезжали члены Лиги и спрашивали: «Что случилось на съезде? Из-за чего был спор? Из-за чего раскололись?»

Плеханов, которому страшно надоели эти расспросы, рассказывал однажды: «Приехал NN. Расспрашивает и все повторяет: «Я — как буриданов осел». А я его спрашиваю: «Почему же, собственно, буриданов?..»

Стали приезжать и из России. Приехал, между прочим, из Питера Ерема, на имя которого Владимир Ильич адресовал год тому назад письмо к питерской организации. Он сразу встал на сторону меньшевиков, зашел к нам. Приняв архитрагический вид, при встрече он воскликнул, обращаясь к Владимиру Ильичу: «Я — Ерема» — и стал говорить о том, что меньшевики правы... Помню также члена Киевского комитета, который все добивался: какие изменения в технике обусловили раскол на съезде? Я тарачила глаза — столь примитивного понимания соотношения между «базой» и «надстройкой» я никогда не видывала, не предполагала никогда даже, что оно может существовать.

Те, кто помогал деньгами, явками и пр., под влиянием агитации меньшевиков отказывали в помощи. Помню, приехала в Женеву к сестре со своей старушкой матерью одна моя старая знакомая. В детстве мы с ней так чудесно играли в путешественников, в диких, живущих на деревьях, что я ужасно обрадовалась, когда узнала об ее приезде. Теперь это была уже немолодая девушка, совсем чужая. Зашел разговор о помощи, которую их семья всегда оказывала социал-демократам. «Мы не можем вам дать теперь свою квартиру под явки,— заявила она,— мы очень отрицательно относимся к расколу между большевиками и меньшевиками. Эти личные дрязги очень вредно отзываются на деле». Ну уж и посылали же мы с Ильичем ко всем чертям этих «сочувствующих», не входящих ни в какие организации и воображающих, что они своими явками и грошами могут повлиять на ход дела в нашей пролетарской партии.

Владимир Ильич тотчас же написал в Россию о случившемся Клэру и Курцу...

После съезда Владимир Ильич не возражал, когда Глебов предложил кооптировать старую редакцию,— лучше уж маяться по-старому, чем раскол. Меньшевики отказались. В Женеве Владимир Ильич пробовал сговориться с Мартовым, писал Потресову, убеждал его, что

расходиться не из-за чего. Писал по поводу раскола Владимир Ильич и Калмыковой (Тетке) — рассказывал ей, как было дело. Ему все не верилось, что нельзя было найти выхода. Срывать решения съезда, ставить на карту русскую работу, дееспособность только что сложившейся партии казалось Владимиру Ильичу просто безумием, чем-то совершенно невероятным. Бывали минуты, когда он ясно видел, что разрыв неизбежен. Раз он начал писать Клэру о том, что тот не представляет себе совершенно настоящего положения, надо отдать себе отчет в том, что отношения старые в корне изменились, что старой дружбе с Мартовым теперь конец, о старой дружбе надо забыть, начинается борьба. Этого письма не докончил и не послал Владимир Ильич. Ему чрезвычайно трудно было рвать с Мартовым. Период питерской работы, период работы в старой «Искре» тесно связывал их. Впечатлительный до крайности, Мартов в те времена умел чутко подхватывать мысли Ильича и талантливо развивать их. Потом Владимир Ильич яростно боролся с меньшевиками, но каждый раз, когда линия Мартова хоть чуточку выпрямлялась, у него просыпалось старое отношение к Мартову. Так было, например, в 1910 г. в Париже, когда Мартов и Владимир Ильич работали вместе в редакции «Социал-демократа». Приходя из редакции, Владимир Ильич не раз рассказывал довольным тоном, что Мартов берет правильную линию, выступает даже против Дана. И потом, уже в России, как доволен был Владимир Ильич позицией Мартова в июльские дни не потому, что от этого была польза большевикам, а потому, что Мартов держится с достоинством — так, как подобает революционеру...

Большинство делегатов съезда (большевиков) уехало в Россию на работу. Меньшевики уехали не все, напротив, приехал к ним еще Дан. За границей число их сторонников росло.

Большевики, оставшиеся в Женеве, периодически собирались. Самую непримиримую позицию на этих собраниях занимал Плеханов. Он весело шутил и подбадривал публику.

Приехал наконец член ЦК Курц, он же Васильев (Ленгник), и почувствовал себя совершенно придавленным той склокой, которая царил в Женеве. На него навалилась целая куча дел по разбору конфликтов, посылке в Россию людей и т. д...

Плехановские нервы не выдержали скандала, устроенного меньшевиками, он заявил: «Не могу стрелять по своим».

На собрании большевиков Плеханов заявил, что надо идти на уступки. «Бывают моменты,— заявил он,— когда и самодержавие вынуждено делать уступки». «Тогда и говорят, что оно колеблется»,— подала реплику Лиза Кнуньянц. Плеханов метнул на нее сердитый взгляд...

Мартов выпустил брошюру «Осадное положение», наполненную самыми дикими обвинениями. Троцкий также выпустил брошюру «Отчет сибирской делегации», где события освещались совершенно в мартовском духе, Плеханов изображался пешкой в руках Ленина и т. д.

Владимир Ильич засел за ответ Мартову, за писание брошюры «Шаг вперед, два шага назад», где подробно анализировал события на съезде.

Вести из России *

Тем временем в России также шла борьба. Большевистские делегаты делали доклады о съезде. Принятая на съезде Программа и большинство резолюций съезда были встречены местными организациями с большим удовлетворением. Тем непонятнее казалась им позиция меньшевиков. Принимались резолюции с требованием подчинения постановлением съезда. Из наших делегатов в этот период особенно энергично работала Дяденька, которая, как старая революционерка, не могла прямо понять, как допустимо такое неподчинение съезду. Она и другие товарищи из России писали ободряющие письма. Комитеты один за другим становились на сторону большинства.

Приехал Клэр. Он не представлял себе той стены, которая уже выросла между большевиками и меньшевиками, и думал, что можно помирить большевиков и меньшевиков, пошел говорить с Плехановым, увидел полную невозможность примирения и уехал в подавленном настроении. Владимир Ильич еще больше помрачнел.

В начале 1904 г. приехали в Женеву Циля Зеликсон, представитель питерской организации Барон (Эссен), рабочий Макар. Все они были сторонниками большевиков. С ними часто виделся Владимир Ильич. Разговоры шли не только о склоке с меньшевиками, но и о российской работе. Барон, тогда совсем молодой парень, был

увлечен питерской работой. «У нас,— говорил он,— теперь организация строится на коллективных началах, работают отдельные коллективы: коллектив пропагандистов, коллектив агитаторов, коллектив организаторов». Владимир Ильич слушал. «Сколько человек у вас в коллективе пропагандистов?!»— спросил он. Барон несколько смущенно отвечал: «Пока я один». «Маловато,— заметил Ильич.— А в коллективе агитаторов?» Покраснев до ушей, Барон отвечал: «Пока я один». Ильич неистово хохотал, смеялся и Барон. Ильич всегда какой-нибудь парой вопросов, попадавших в самое больное место, умел из гущи красивых схем, эффективных отчетов вышелушить реальную действительность.

Потом приехал Ольминский (Мих. Ст. Александров), ставший на сторону большевиков, приехала бежавшая из далекой ссылки Зверь¹.

Зверь, вырвавшаяся из ссылки на волю, была полна веселой энергией, которой она заражала всех окружающих. Никаких сомнений, никакой нерешительности в ней не было и следа. Она дразнила всякого, кто вешал нос на квинту, кто вздыхал по поводу раскола. Заграничные дразги как-то не задевали ее. В это время мы придумывали устраивать у себя в Сешероне раз в неделю «журфиксы», для сближения большевиков. На этих «журфиксах», однако, настоящих разговоров не выходило, зато очень разгоняли они навеянную всей этой склокой с меньшевиками тоску, и весело было слушать, как залихватски затягивала Зверка какого-нибудь «Ваньку» и подхватывал песню высокий лысый рабочий Егор. Он ходил было поговорить по душам с Плехановым — даже воротнички по этому случаю надел,— но ушел он от Плеханова разочарованный, с тяжелым чувством. «Не унывай, Егор, валяй «Ваньку»,— наша возьмет»,— утешала его Зверка. Ильич веселел: эта залихватость, эта бодрость рассеивала его тяжелые настроения.

Появился на горизонте Богданов. Тогда Владимир Ильич еще мало был знаком с его философскими работами, не знал его совершенно как человека. Было видно, однако, что это работник цекистского масштаба. Он приехал за границу временно, в России у него были большие связи. Кончался период безысходной склоки.

¹ М. М. Эссен.

Больше всего было Ильичу тяжело рвать окончательно с Плехановым.

Весной Ильич познакомился со старым революционером-народоуправцем Натансоном и его женой. Натансон был великолепным организатором старого типа. Он знал массу людей, знал прекрасно цену каждому человеку, понимал, кто на что способен, к какому делу кого можно приставить. Что особенно поразило Владимира Ильича,— он знал прекрасно состав не только своих, но и наших с.-д. организаций лучше, чем многие наши тогдашние цекисты. Натансон жил в Баку, знал Красина, Постоловского и др. Владимиру Ильичу показалось, что Натансона можно бы убедить стать социал-демократом. Натансон очень был близок к социал-демократической точке зрения. Потом кто-то рассказывал, как этот старый революционер рыдал, когда в Баку впервые в жизни увидел грандиозную демонстрацию. Об одном не мог Владимир Ильич сговориться с Натансоном. Не согласен Натансон был с подходом социал-демократии к крестьянству. Недели две продолжался роман с Натансоном. Натансон хорошо знал Плеханова, был с ним на «ты». Владимир Ильич разговорился с ним как-то о наших партийных делах, о расколе с меньшевиками. Натансон предложил поговорить с Плехановым. От Плеханова вернулся каким-то растерянным: надо идти на уступки...

Тем временем ЦК в России вел двойственную примиренческую политику, комитеты стояли за большевиков. Надо было, опираясь на Россию, созвать новый съезд...

Группа большевиков — 22 человека — приняла резолюцию о необходимости созыва III съезда.

Ушли в горы *

Мы с Владимиром Ильичем взяли мешки и ушли на месяц в горы. Сначала пошла было с нами и Зверка, но скоро отстала, сказала: «Вы любите ходить там, где ни одной кошки нет, а я без людей не могу». Мы действительно выбирали всегда самые дикие тропинки, забирались в самую глушь, подальше от людей. Пробродяжничали мы месяц: сегодня не знали, где будем завтра, вечером, страшно усталые, бросались в постель и моментально засыпали.

Деньжат у нас было в обрез, и мы питались больше всухомятку — сыром и яйцами, запивая вином да водой из ключей, а обедали лишь изредка. В одном социал-демократическом трактирчике один рабочий посоветовал: «Вы обедайте не с туристами, а с кучерами, шоферами, чернорабочими: там вдвое дешевле и сытнее». Мы так и стали делать. Тянувшийся за буржуазией мелкий чиновник, лавочник и т. п. скорее готов отказаться от прогулки, чем сесть за один стол с прислугой. Это мещанство процветает в Европе всюю. Там много говорят о демократии, но сесть за один стол с прислугой не у себя дома, а в шикарном отеле — это выше сил всякого выбивающегося в люди мещанина. И Владимир Ильич с особенным удовольствием шел обедать в застольную, ел там с особым аппетитом и усердно похваливал дешевый и сытный обед. А потом мы одевали наши мешки и шли дальше. Мешки были тяжеловаты: в мешке Владимира Ильича уложен был тяжелый французский словарь, в моем — столь же тяжелая французская книга, которую я только что получила для перевода. Однако ни словарь, ни книга ни разу даже не открывались за время нашего путешествия; не в словарь смотрели мы, а на покрытые вечным снегом горы, синие озера, дикие водопады.

После месяца такого времяпровождения нервы у Владимира Ильича пришли в норму. Точно он умылся водой из горного ручья и смыл с себя всю паутину мелкой склоки. Август мы провели вместе с Богдановым, Ольминским, Первухиными в глухой деревушке около озера Lac de Vré. С Богдановым сговорились о плане работы; к литературной работе Богданов намечал привлечь Луначарского, Степанова, Базарова. Наметили издавать свой орган за границей и развивать в России агитацию за съезд.

Ильич совсем повеселел...

В библиотеке *

Осенью, вернувшись в Женеву, мы из предместья Женевы перебрались поближе к центру. Владимир Ильич записался в «Société de Lecture»¹, где была громадная библиотека и прекрасные условия для работы, получалась масса газет и журналов на французском, немец-

¹ «Общество любителей чтения».

ком, английском языках. В этом «Société de Lecture» было очень удобно заниматься, члены общества — по большей части старички профессора — редко посещали эту библиотеку; в распоряжении Ильича был целый кабинет, где он мог писать, ходить из угла в угол, обдумывать статьи, брать с полки любую книгу. Он мог быть спокоен, что сюда не придет ни один русский товарищ и не станет рассказывать, как меньшевики сказали то-то и то-то и там-то и там-то подложили свишью. Можно было, не отвлекаясь, думать.

Подумать было над чем.

Россия начала японскую войну, которая выявляла с особой яркостью всю гнилость царской монархии. В японскую войну пораженцами были не только большевики, но и меньшевики, и даже либералы. Снизу поднималась волна народного возмущения. Рабочее движение вступило в новую фазу. Все чаще и чаще приходили известия о массовых народных собраниях, устраиваемых вопреки полиции, о прямых схватках рабочих с полицией.

Перед лицом нарастающего массового революционного движения мелкие французские дрызги уже не волновали так, как волновали еще недавно...

Мысли были в России *

Теперь мысли были в России. Чувствовалась громадная ответственность перед развивающимся там, в Питере, в Москве, в Одессе и пр., рабочим движением.

Все партии — либералы, эсеры — особенно ярко стали выявлять свою настоящую личность. Выявили свое лицо и меньшевики.

Теперь уже ясно стало, что разделяет большевиков и меньшевиков.

У Владимира Ильича была глубочайшая вера в классовый инстинкт пролетариата, в его творческие силы, в его историческую миссию. Эта вера родилась у Владимира Ильича не вдруг, она выковалась в нем в те годы, когда он изучал и продумывал теорию Маркса о классовой борьбе, когда он изучал русскую действительность, когда он в борьбе с мировоззрением старых революционеров научился героизму борцов-одиночек противопоставлять силу и героизм классовой борьбы. Это была не слепая вера в неведомую силу, это была глубокая уверенность в силе пролетариата, в его громадной роли в

деле освобождения трудящихся, уверенность, покоившаяся на глубоком знании дела, на добросовестнейшем изучении действительности. Работа среди питерского пролетариата облекла в живые образы эту веру в мощь рабочего класса.

В конце декабря стала выходить большевистская газета «Вперед». В редакцию, кроме Ильича, вошли Ольминский, Орловский¹. Вскоре на подмогу приехал Луначарский. Его пафосные статьи и речи были созвучны с тогдашним настроением большевиков.

Нарастало в России революционное движение, а вместе с тем росла и переписка с Россией. Она скоро дошла до 300 писем в месяц, по тогдашним временам это была громадная цифра. И сколько материалу она давала Ильичу! Он умел читать письма рабочих. Помню одно письмо, писанное рабочими одесских каменоломен. Это было коллективное письмо, написанное несколькими первобытными почерками, без подлежащих и сказуемых, без запятых и точек, но дышало оно неисчерпаемой энергией, готовностью к борьбе до конца, до победы, письмо красочное в каждом своем слове, наивном и убежденном, непоколебимом. Я не помню теперь, о чем писалось в этом письме, но помню его вид, бумагу, рыжие чернила. Много раз перечитывал это письмо Ильич, глубоко задумавшись, шагал по комнате. Не напрасно старались рабочие одесских каменоломен, когда писали Ильичу письмо: тому написали, кому нужно было, тому, кто лучше всех их понял.

Через несколько дней после письма рабочих одесских каменоломен пришло письмо от одесской начинающей пропагандистки Танюши, которая добросовестно и подробно описывала собрание одесских ремесленников. И это письмо читал Ильич и тотчас сел отвечать Танюше: «Спасибо за письмо. Пишите чаще. Нам чрезвычайно важны письма, описывающие *будничную*, повседневную работу. Нам чертовски мало пишут таких писем».

Чуть не в каждом письме Ильич просит русских товарищей давать побольше связей. «...Сила революционной организации в числе ее связей», — пишет он Гусеву. Просит Гусева связывать большевистский заграничный центр с молодежью. «...Среди нас есть, — пишет он, — какая-то идиотская, филистерская, обломовская боязнь

¹ В. В. Воровский.

молодежи». Ильич пишет своему старому знакомому по Самаре — Алексею Андреевичу Преображенскому, который жил в то время в деревне, и просит у него связей с крестьянами. Он просит питерцев посылать письма рабочих в заграничный центр не в выдержках, не в изложении, а в подлинниках. Эти письма рабочих яснее всего говорили Ильичу о том, что революция близится, нарастает. У порога стоял уже пятый год.

ПЯТЫЙ ГОД. В ЭМИГРАЦИИ

9-е января *

Уже в ноябре 1904 г., в брошюре «Земская кампания и план «Искры», и затем в декабре, в статьях в №№ 1—3 «Вперед» Ильич писал о том, что близится время настоящей, открытой борьбы масс за свободу. Он ясно чувствовал приближение революционного взрыва. Но одно дело чувствовать это приближение, а другое — узнать, что революция уже началась. И потому, когда пришла весть в Женеву о 9-м Января, когда дошла весть о той конкретной форме, в которой началась революция, — точно изменилось все кругом, точно далеко куда-то в прошлое ушло все, что было до этого времени. Весть о событиях 9-го Января долетела до Женевы на следующее утро. Мы с Владимиром Ильичем шли в библиотеку и по дороге встретили шедших к нам Луначарских. Запомнилась фигура жены Луначарского, Анны Александровны, которая не могла говорить от волнения и лишь беспомощно махала муфтой. Мы пошли туда, куда инстинктивно потянулись все большевики, до которых долетела весть о питерских событиях, — в эмигрантскую столовку Лепешинских. Хотелось быть вместе. Собравшиеся почти не говорили между собой, слишком все были взволнованы. Запели «Вы жертвою пали...», лица были сосредоточены. Всех охватило сознание, что революция уже началась, что порваны пути веры в царя, что теперь уже совсем близко то время, когда «падет произвол, и восстанет народ, великий, могучий, свободный...»

Мы зажили той своеобразной жизнью, какой жила в то время вся женевская эмиграция: от одного выпуска местной газеты «Трибунки» до другого.

Все мысли Ильича были прикованы к России.

Движение растёт *

С первых же дней революции Ильичу стала сразу ясна вся перспектива. Он понял, что теперь движение будет расти как лавина, что революционный народ не остановится на полпути, что рабочие ринутся в бой с самодержавием. Победят ли рабочие, или будут побеждены,— это видно будет в результате схватки. А чтобы победить, надо быть как можно лучше вооруженным.

У Ильича было всегда какое-то особое чутье, глубокое понимание того, что переживает в данную минуту рабочий класс.

Меньшевики, ориентируясь на либеральную буржуазию, которую надо было еще раскачивать, толковали о том, что надо «развязать» революцию,— Ильич знал, что рабочие уже решились бороться до конца. И он был с ними. Он знал, что остановиться на полдороге нельзя, что это внесло бы в рабочий класс такую деморализацию, такое понижение энергии в борьбе, принесло бы такой громадный ущерб делу, что на это нельзя было идти ни под каким видом. И история показала, что в революции пятого года рабочий класс потерпел поражение, но побежден не был, его готовность к борьбе не была сломлена. Этого не понимали те, кто нападал на Ленина за его прямолинейность, кто после поражения не умел ничего сказать, кроме того, что «не нужно было браться за оружие». Оставаясь верным своему классу, нельзя было не браться за оружие, нельзя было авангарду оставлять свой борющийся класс.

И Ильич неустанно звал авангард рабочего класса — партию — к борьбе, к организации, к работе над вооружением масс. Он писал об этом во «Вперед», в письмах в Россию...

Ильич не только перечитал и самым тщательным образом проштудировал, продумал все, что писали Маркс и Энгельс о революции и восстании,— он прочел немало книг и по военному искусству, обдумывая со всех сторон технику вооруженного восстания, организацию его. Он занимался этим делом гораздо больше, чем это знают, и его разговоры об ударных группах во время партизанской войны, «о пятках и десятках» были не болтовней профана, а обдуманым всесторонне планом.

Служащий «Société de Lecture» был свидетелем того, как раненько каждое утро приходил русский революцио-

нер в подвернутых от грязи на швейцарский манер дешевеньких брюках, которые он забывал отвернуть, брал оставленную со вчерашнего дня книгу о баррикадной борьбе, о технике наступления, садился на привычное место к столику у окна, приглаживал привычным жестом жидкие волосы на лысой голове и погружался в чтение. Иногда только вставал, чтобы взять с полки большой словарь и отыскать там объяснение незнакомого термина, а потом ходил все взад и вперед и, сев к столу, что-то быстро, сосредоточенно писал мелким почерком на четвертушках бумаги.

Подготовка вооруженного восстания *

Большевики изыскивали все средства, чтобы переправлять в Россию оружие, но то, что делалось, была капля в море. В России образовался Боевой комитет (в Питере), но работал он медленно. Ильич писал в Питер: «В таком деле менее всего пригодны схемы, да споры и разговоры о функциях Боевого комитета и правах его. Тут нужна бешеная энергия и еще энергия. Я с ужасом, ей-богу с ужасом, вижу, что о бомбах говорят *больше полгода* и ни одной не сделали! А говорят ученейшие люди... Идите к молодежи, господа! вот одно единственное, спасающее средство. Иначе, ей-богу, вы опоздаете (я это по всему вижу) и окажетесь с «учеными» записками, планами, чертежами, схемами, великолепными рецептами, но без организации, без живого дела... Не требуйте никаких формальностей, наплюйте, Христа ради, на все схемы, пошлите вы, бога для, все «функции, права и привилегии» ко всем чертям».

И большевики делали в смысле подготовки вооруженного восстания немало, проявляя нередко колоссальный героизм, рискуя каждую минуту жизнью. Подготовка вооруженного восстания — таков был лозунг большевиков...

Другой лозунг, выдвинутый Ильичем, это — поддержка борьбы крестьян за землю. Эта поддержка дала бы рабочему классу возможность опираться в своей борьбе на крестьянство.

Крестьянскому вопросу Владимир Ильич всегда уделял много внимания...

Ему казалось, что для того, чтобы увлечь за собой крестьянство, надо выставить возможно более близкое

крестьянам конкретное требование. Подобно тому как агитацию среди рабочих начинали социал-демократы с борьбы за кипятки, за сокращение рабочего дня, за своевременную выплату заработной платы, так и крестьянство надо организовать вокруг конкретного лозунга...

В крестьянство поднималось широкое революционное движение. На декабрьской Таммерфорской конференции Ильич внес предложение: пункт об «отрезках» все выбросить из Программы.

Вместо него введен был пункт о поддержке революционных мероприятий крестьянства, вплоть до конфискации помещичьих, казенных, церковных, монастырских и удельных земель...

В Женеве большевистский центр гнезился на углу знаменитой, населенной русскими эмигрантами, Каружки (Rue de Carouge) и набережной реки Арвы. Тут помещалась редакция «Вперед», экспедиции, большевистская столовка Лепешинских, тут жили Бонч-Бруевич, Лядовы (Мандельштамы), Ильины. У Бонч-Бруевичей бывали постоянно Орловский, Ольминский и др. Богданов, вернувшись в Россию, сговорился с Луначарским, который и приехал в Женеву и вступил в редакцию «Вперед». Луначарский оказался блестящим оратором, очень много содействовал укреплению большевистских позиций. С той поры Владимир Ильич стал очень хорошо относиться к Луначарскому, веселел в его присутствии и был к нему порядочно-таки пристрастен даже во время расхождения с впередовцами. Да и Анатолий Васильевич в его присутствии всегда был особенно оживлен и остроумен. Помню, как однажды — кажется, в 1919 или 1920 г. — Анатолий Васильевич, вернувшись с фронта, описывал Владимиру Ильичу свои впечатления и как блестяли глаза у Владимира Ильича, когда он его слушал.

Луначарский, Воровский, Ольминский, — хорошая это была подкрепа «Впереду». Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, заведовавший всей хозяйственной частью, непрерывно сиял, строил разные грандиозные планы, возился с типографией.

Чуть не каждый вечер собирались большевики в кафе Ландольт и подолгу засиживались там за кружкой пива, обсуждая события в России, строя планы.

Уезжали многие, многие готовились к отъезду.

Третий съезд *

В России шла агитация за III съезд. Так многое изменилось со времени II съезда, так много новых вопросов выдвинула жизнь, что новый съезд стал прямо необходим. Большинство комитетов высказывались за съезд. Образовалось Бюро комитетов большинства. ЦК накопировал массу новых членов, в том числе и меньшевиков,— в массе своей он был примиренческим и всячески тормозил созыв III съезда. После провала ЦК, имевшего место в Москве на квартире у писателя Леонида Андреева, оставшиеся на воле члены ЦК согласились на созыв съезда.

Съезд устроен был в Лондоне¹. На нем явное большинство было за большевиками. И потому меньшевики на съезд не пошли, а своих делегатов собрали на конференцию в Женеве.

На съезд от ЦК приехал Зоммер (он же Марк — Любимов) и Винтер (Красин). Марк имел архимрачный вид. Красин — такой, точно ничего не случилось. Делегаты бешено нападали на ЦК за его примиренческую позицию. Марк сидел темнее тучи и молчал. Молчал и Красин, подперев рукой щеку, но с таким невозмутимым видом, точно все эти ядовитые речи не имели к нему ровно никакого отношения. Когда дошла до него очередь, он спокойным голосом сделал доклад, не возражая даже на обвинения,— и всем ясно стало, что больше говорить не о чем, что было у него примиренческое настроение и прошло, что отныне он становится в ряды большевиков, с которыми пойдет до конца.

Партийцы знают теперь ту большую и ответственную работу, которую нес Красин во время революции пятого года по вооружению боевиков, по руководству подготовкой боевых снарядов и пр. Делалось все это конспиративно, без шума, но вкладывалась в это дело масса энергии. Владимир Ильич больше чем кто-либо знал эту работу Красина и с тех пор всегда очень ценил его.

С Кавказа приехало четверо: Миха Цхакая, Алеша Джапаридзе, Леман и Каменев. Мандата было три. Владимир Ильич допрашивал: кому же принадлежат мандаты,— мандатов три, а человека четыре? Кто получил большинство голосов? Миха возмущенно отвечал: «Да

¹ Работа III съезда РСДРП проходила с 12 по 27 апреля (25 апреля — 10 мая) 1905 г.

разве у нас на Кавказе голосуют?! Мы дела все решаем по-товарищески. Нас послали четырех, а сколько мандатов — неважно». Миха оказался старейшим членом съезда — ему было в то время 50 лет. Ему и поручили открыть съезд. От Полесского комитета был Лева Владимиров. Много раз писали мы ему в Россию о расколе и никаких реплик не получали. В ответ на письма, где описывались выходы мартовцев, мы получали письма, где рассказывалось, сколько и каких листовок распространено, где были в Полесье стачки, демонстрации. На съезде Лева держался твердым большевиком.

Были на съезде из России еще Богданов, Постоловский (Вадим), Румянцев (П. П.), Рыков, Саммер, Землячка, Литвинов, Скрипник, Бур (А. М. Эссен), Шкловский, Крамольников и др.

На съезде чувствовалось во всем, что в России переживается разгар рабочего движения. Были приняты резолюции о вооруженном восстании, о временном революционном правительстве, об отношении к тактике правительства накануне переворота, по вопросу об открытом выступлении РСДРП, об отношении к крестьянскому движению, об отношении к либералам, об отношении к национальным социал-демократическим организациям, о пропаганде и агитации, об отколовшейся части партии и т. д...

Сотни новых вопросов выдвигала жизнь, которые нельзя было разрешить в рамках прежней нелегальной организации. Их можно было разрешить лишь путем постановки в России ежедневной газеты, путем широкого легального издательства. Однако пока что свобода печати не была еще завоевана. Решено было издавать в России нелегальную газету, образовать там группу литераторов, обязанных заботиться о популярной газете. Но ясно, что все это были паллиативы.

На съезде немало говорили о разгоравшейся революционной борьбе. Были приняты резолюции о событиях в Польше и на Кавказе. «А движение это становится все шире и шире,— рассказывал уральский делегат.— Давно пора перестать смотреть на Урал как на отсталый, сонный край, неспособный двинуться. Политическая стачка в Лысьве, многочисленные стачки по разным заводам, разнообразные признаки революционного настроения, вплоть до аграрно-заводского террора в самых разнообразных формах, мелких стихийных демонстраций,— все

это признаки, что Урал накануне крупного революционного движения. Что это движение примет на Урале форму вооруженного восстания, это весьма вероятно. Урал был первый, где рабочие пустили в ход бомбы, выставили даже пушки (на Воткинском заводе). Товарищи, не забывайте об Урале!»

Само собой, Владимир Ильич долго толковал с уральским делегатом.

В общем и целом III съезд правильно наметил линии борьбы. Большевики те же вопросы разрешили по-другому. Принципиальную разницу между резолюциями III съезда и резолюциями меньшевистской конференции Владимир Ильич осветил в брошюре «Две тактики социал-демократии в демократической революции»...

На женевском горизонте появились предвестники свободы печати. Появились издатели, наперебой предлагавшие издать легально вышедшие за границей нелегально брошюры. Одесский «Буревестник», издательство Малых и др.— все предлагали свои услуги.

ЦК предлагал воздерживаться от заключений каких бы то ни было договоров, так как предполагал наладить свое издательство.

В начале октября возник вопрос о поездке Ильича в Финляндию, где предполагалось свидание с ЦК, но развивавшиеся события поставили вопрос иначе — Владимир Ильич собрался ехать в Россию. Я должна была еще остаться на пару недель в Женеве, чтобы ликвидировать дела. Вместе с Ильичем разобрали мы его бумаги и письма, разложили по конвертам, Ильич надписал собственноручно каждый конверт. Все было уложено в чемодан и сдано на хранение, кажется, т. Карпинскому. Этот чемодан сохранился и был доставлен уже после смерти Ильича в Институт Ленина. В нем была масса документов и писем, бросающих яркий свет на историю партии...

26 октября Ильич уже сговорился детально в письме о своем возвращении в Россию. «Хорошая у нас в России революция, ей-богу», — пишет он там. И, отвечая на вопрос о сроке восстания, он говорит: *«Я бы лично охотно оттянул его до весны... Но ведь нас все равно не спрашивают»*¹.

¹ Курсив Н. К. Крупской.

СНОВА В ПИТЕРЕ

Было условлено, что в Стокгольм приедет человек и привезет для Владимира Ильича документы на чужое имя, с которыми он мог бы переехать через границу и поселиться в Питере. Человек, однако, не ехал и не ехал, и Ильичу приходилось сидеть и ждать у моря погоды, в то время как в России революционные события принимали все более и более широкий размах. Две недели просидел он в Стокгольме и приехал в Россию в начале ноября. Я приехала вслед за ним дней через десять, устроив предварительно все дела в Женеве. За мной увязался шпик, который сел со мной на пароход в Стокгольме и потом в поезд, шедший из Ханко на Гельсингфорс. В Финляндии революция была уже во всем разгаре. Я хотела было дать телеграмму в Питер, но улыбающаяся веселая финка ответила, что телеграммы она принять не может: шла почтово-телеграфная забастовка. В вагонах все громко разговаривали, я ввязалась в разговор с каким-то финским активистом¹, почему-то говорившим по-немецки. Он описывал успехи революции. «Шпики,— говорил он,— мы арестовали всех и посадили в тюрьму». Мой взгляд упал на сопровождавшего меня шпика. «Но могут приехать новые»,— засмеялась я, выразительно взглянув на своего соглядатая. Финн догадался. «О,— воскликнул он,— только скажите, если кого заметите, мы его сейчас арестуем!» Мы подъезжали к какой-то маленькой станции. Мой шпик встал и сошел на станции, где поезд стоит лишь одну минуту. Больше я его не видала...

Четыре года почти прожила я за границей и смертельно стосковалась по Питеру. Он теперь весь кипел, я это знала, и тишина Финляндского вокзала, где я сошла с поезда, находилась в такой противоречии с моими мыслями о Питере и революции, что мне вдруг показалось, что я вылезла из поезда не в Питере, а в Парголове. Смущенно я обратилась к одному из стоявших тут извозчиков и спросила: «Какая это станция?» Тот даже отступил, а потом насмешливо оглядел меня и, подбо-

¹ *Активисты* — финская буржуазная партия активного сопротивления, ставившая целью добиваться восстановления автономии Финляндии и полного отделения ее от России путем «активного сопротивления». После революции 1905 г. «активисты» сошли со сцены, а в 1917 г. они оказались на стороне белых.

ченясь, ответил: «Не станция, а город Санкт-Петербург».

На крыльце вокзала меня встретил Петр Петрович Румянцев. Он сказал, что Владимир Ильич живет у них, и мы поехали с ним куда-то на Пески. Петра Петровича Румянцева я видела первый раз на похоронах Шелгунова, тогда он был молодягой, с кудрявой шевелюрой — шел впереди демонстрации и пел. В 1896 г. я встретила его в Полтаве, он стоял в центре полтавских социал-демократов, только что вышел из тюрьмы, был бледен и нервен. Он выделялся своим умом, пользовался большим влиянием и казался хорошим товарищем.

В 1900 г. я видела его в Уфе, куда он приезжал из Самары и имел какой-то разочарованный и томный вид.

В 1905 г. он вновь появился на горизонте, был он уже литератором, человеком с положением и брюшком, бонвивановских¹ повадок, но выступал умно и дельно. Он отлично провел кампанию по бойкоту комиссии Шидловского, держал себя твердым большевиком. Вскоре после III съезда был кооптирован в ЦК.

У него была хорошая, хорошо обставленная семейная квартира, и первое время Ильич жил там без прописки.

Владимира Ильича всегда крайне стесняло пребывание в чужих квартирах, мешало его работоспособности. По моем приезде Ильич стал торопить поселиться вместе, и мы поселились в каких-то меблированных комнатах на Невском, без прописки. Я, помню, разговорилась с прислуживавшими девушками, они мне нарасказали о том, что делается в Питере, с массой живых, говорящих подробностей. Я, конечно, сейчас же все пересказала Ильичу. Ильич лестно отозвался о моих исследовательских способностях, и с тех пор я стала его усердным репортером. Обычно, когда мы жили в России, я могла много свободнее передвигаться, чем Владимир Ильич, говорить с гораздо большим количеством людей. По двум-трем поставленным им вопросам я уже знала, что ему хочется знать, и глядела вовсю. И теперь еще не изжилась привычка — каждое свое впечатление формулировать мысленно для Ильича.

На другой же день у меня оказалась в этом отношении довольно богатая пожива. Я отправилась искать нам пристанище и на Троицкой улице, осматривая пустую квартиру, разговорилась с дворником. Долго он мне рас-

¹ *Бонвиван* — человек, любящий весело пожить.

сказывал про деревню, про помещика, про то, что земля должна отойти от бар крестьянам.

Тем временем мы решили поселиться легально. Мария Ильинична устроила нас где-то на Греческом проспекте у знакомых. Как только мы прописались, целая туча шпиков окружила дом. Напуганный хозяин не спал всю ночь напролет и ходил с револьвером в кармане, решив встретить полицию с оружием в руках. «Ну его совсем. Нарвешься зря на историю», — сказал Ильич. Поселились нелегально, врозь. Мне дали паспорт какой-то Прасковьи Евгеньевны Онегиной, по которому я и жила все время. Владимир Ильич несколько раз менял паспорта.

Когда Владимир Ильич приехал в Россию, там уже выходила легальная ежедневная газета «Новая жизнь». Издателем была Мария Федоровна Андреева (жена Горького), редактором был поэт Минский, принимали участие: Горький, Леонид Андреев, Чириков, Бальмонт... Секретарем «Новой жизни» и всех последующих большевистских газет того времени был Дмитрий Ильич Лещенко, он же заведовал хроникой, был корреспондентом, дававшим сведения с заседаний Думы, выпускающим и пр.

За Невской заставой *

Конечно, в первые же дни по приезде я поехала за Невскую заставу, в бывшие вечерне-воскресные смоленские классы. В них теперь преподавалась уже не география, не естествознание, — по классам, переполненным рабочими и работницами, шла пропагандистская работа. Партийные пропагандисты читали лекции. Мне запомнилась одна из них. Молодой пропагандист излагал по Энгельсу тему «Развитие социализма от утопии к науке». Рабочие сидели не шевелясь, добросовестно стараясь усвоить излагаемое оратором. Никто никаких вопросов не задавал. Внизу наши партийные девицы устраивали для рабочих клуб, расставляли привезенные из города стаканы.

Когда я рассказывала Ильичу о своих впечатлениях от виденного, он задумчиво молчал. Он хотел другого: активности самих рабочих. Не то чтобы ее не было, но она выявлялась не на партсобраниях. Токи, по которым шли партработа и самодеятельность рабочих, как-то не смыкались. Рабочие колоссально за эти годы выросли.

Я это каждый раз особенно чувствовала, когда встречала своих бывших учеников-воскресников. Раз как-то на улице меня окликнул булочник, оказалось, мой бывший ученик «социалист Бакин», который 10 лет тому назад был выслан по этапу на родину за то, что наивно стал толковать с управляющим фабрики Максвель о том, что при переходе с двух мюль на три «интенсивность труда» возрастает. Теперь это был вполне сознательный социал-демократ, и мы долго толковали с ним о совершающейся революции, об организации рабочих масс, он мне рассказывал о забастовке булочников...

Совет рабочих депутатов *

Совет рабочих депутатов возник тогда, когда Владимир Ильич был еще за границей — 13 октября, возник как боевой орган борющегося пролетариата. Я не помню выступления Владимира Ильича в Совете рабочих депутатов. Помню одно собрание в Вольно-экономическом обществе, куда набралось много партийной публики в ожидании выступления Владимира Ильича. Ильич делал доклад по аграрному вопросу. Там впервые познакомился он с Алексинским. Почти все, относящееся к этому собранию, стерлось у меня в памяти. Мелькает какая-то серая дверь, в которую куда-то к выходу через толпу пробирается Владимир Ильич. Другие товарищи припомнят, вероятно, лучше. Я помню только, что это собрание было в ноябре, что был на нем Владимир Иванович Невский.

То, что Советы рабочих депутатов были боевыми организациями восстающего народа, это Владимир Ильич сразу же отметил в своих ноябрьских статьях. Он выдвинул тогда же мысль, что временное революционное правительство может вырасти только в огне революционной борьбы, с одной стороны, с другой стороны, что социал-демократическая партия должна всячески стремиться обеспечить свое влияние в Советах рабочих депутатов.

С Ильичем мы, по условиям конспирации, жили врозь. Он работал целыми днями в редакции, которая собиралась не только в «Новой жизни», но на конспиративной квартире или в квартире Дмитрия Ильича Лещенко, на Глазовской улице, но по условиям конспирации ходить туда было не очень удобно. Виделись где-нибудь на нейтральной почве, чаще всего в редакции «Новой жизни».

Но в «Новой жизни» Ильич всегда был занят. Только когда Владимир Ильич поселился под очень хорошим паспортом на углу Бассейной и Надеждинской, я смогла ходить к нему на дом. Ходить надо было через кухню, говорить вполголоса, но все же можно было потолковать обо всем.

Поездка в Москву *

Оттуда он ездил в Москву. Тотчас по его приезде я зашла к нему. Меня поразило количество шпиков, выглядывавших из всех углов. «Почему за тобой началась такая слежка?» — спрашивала я Владимира Ильича. Он еще не выходил из дома по приезде и этого не знал. Стали разбирать чемодан и неожиданно обнаружила там большие круглые синие очки. «Что это?» Оказалось, в Москве Владимира Ильича урядили в эти очки, снабдили желтой финляндской коробкой и посадили в последнюю минуту в поезд-молнию. Все полицейские ищейки бросились по его следам, приняв его, по-видимому, за экспроприатора. Надо было скорее уходить. Вышли под ручку, как ни в чем не бывало, пошли в обратную сторону против той, куда нам было нужно, переменили трех извозчиков, прошли через проходные ворота и приехали к Румянцеву, освободившись от слежки. Пошли на ночевку, кажется, к Витмерам, моим старым знакомым. Проехали на извозчике мимо дома, где жил Владимир Ильич, шпики около дома продолжали стоять. На эту квартиру Ильич больше не возвращался. Недели через две послали какую-то девицу забрать его вещи и расплатиться с хозяйкой.

Секретариат ЦК *

В то время я была секретарем ЦК и сразу впряглась в эту работу целиком. Другим секретарем был Михаил Сергеевич — М. Я. Вайнштейн. Помощницей моей была Вера Рудольфовна Менжинская. Таков был секретариат. Михаил Сергеевич ведал больше военной организацией, всегда был занят выполнением поручений Никитича (Л. Б. Красина). Я ведала явками, сношениями с комитетом, людьми. Теперь трудно представить себе, какая тогда у секретариата ЦК была упрощенная техника. На заседаниях ЦК мы, помнится, не бывали, никто нами «не ведал», протоколов никаких не велось, были в спичечных коробках, в переплетах и т. п. хранилищах шиф-

рованные адреса. Брали памятью. Народу валило к нам уйма, мы его всячески охаживали, снабжали чем надо: литературой, паспортами, инструкциями, советами. Теперь даже не представляешь себе, как это мы справлялись и как это мы распоряжались, никем не контролируемые, и жили, что называется, «на всей божьей воле». Обычно, встречаясь с Ильичем, я рассказывала ему подробно обо всем. Наиболее интересных товарищей направляли непосредственно к цекистам.

Схватка с правительством приближалась. Ильич открыто писал в «Новой жизни» о том, что армия не может и не должна быть нейтральной, писал о всеобщем народном вооружении...

2 декабря Совет рабочих депутатов выпустил манифест с призывом отказываться от уплаты казенных платежей. 3 декабря за напечатание этого манифеста было закрыто восемь газет, в том числе «Новая жизнь». Когда я 3-го, по обыкновению, отправилась на явку в редакцию, нагруженная всякой нелегальщиной, у подъезда меня остановил газетчик. «Газета «Новое время»! — громко выкрикивал он и между двумя выкриками вполголоса предупредил: «В редакции идет обыск!» «Народ за нас», — заметил по этому поводу Владимир Ильич.

Таммерфорсская конференция. Вооруженное восстание в Москве *

В середине декабря состоялась Таммерфорсская конференция. Как жаль, что не сохранились протоколы этой конференции! С каким подъемом она прошла! Это был самый разгар революции, каждый товарищ был охвачен величайшим энтузиазмом, все готовы к бою. В перерывах учились стрелять. Раз вечером мы были на финском массовом собрании, происходившем при свете факелов, и торжественность этого собрания соответствовала целиком настроению делегатов. Вряд ли кто из бывших на этой конференции делегатов забыл о ней. Там были Лозовский, Баранский, Ярославский, многие другие. Мне запомнились эти товарищи потому, что уж больно интересны были их «доклады с мест».

На Таммерфорсской конференции, где собрались только большевики, была принята резолюция о необходимости немедленной подготовки и организации вооруженного восстания.

В Москве это восстание уже шло вовсю, и потому конференция была очень краткосрочной. Если память мне не изменяет, мы вернулись как раз накануне отправки Семеновского полка в Москву. По крайней мере, у меня в памяти осталась такая сцена. Неподалеку от Троицкой церкви с сумрачным лицом идет солдат-семеновец. А рядом с ним идет, сняв шапку и горячо в чем-то убеждая семеновца, о чем-то его прося, молодой рабочий. Так выразительны были лица, что ясно было, о чем просил рабочий семеновца — не выступать против рабочих, и ясно было, что не соглашался на это семеновец.

ЦК призывал пролетариат Питера поддержать восставший московский пролетариат, но дружного выступления не получилось. Выступил, например, такой сравнительно серый район, как Московский, и не выступил такой передовой район, как Невский. Помню, как рвал и метал тогда Станислав Вольский, выступавший с агитацией как раз в этом районе. Он сразу впал в крайне мрачное настроение, чуть ли не усомнился в революционности пролетариата. Он не учитывал, как устали питерские рабочие от предыдущих забастовок, а главное, что они чувствовали, как плохо они организованы для окончательной схватки с царизмом, как плохо вооружены. А что дело пойдет о борьбе не на живот, а на смерть, это они видели уже по Москве.

ПИТЕР И ФИНЛЯНДИЯ

1905—1907 гг.

Декабрьское восстание было подавлено, правительство жестоко расправлялось с восставшими...

Ильич тяжело переживал московское поражение. Явно было, что рабочие были плохо вооружены, что организация была слаба, даже Питер с Москвой был плохо связан. Я помню, как слушал Ильич рассказ Анны Ильичны, встретившей на Московском вокзале московскую работницу, горько укорявшую питерцев: «Спасибо вам, питерцы, поддержали нас: семеновцев прислали».

И как бы в ответ на этот укор Ильич писал: «Правительству крайне выгодно было бы подавлять по-прежнему разрозненные выступления пролетариев. Правительству хотелось бы немедленно вызвать рабочих на бой и в Питере, при самых невыгодных для них условиях.

Но рабочие не поддадутся на эту провокацию и сумеют удержаться на своем пути самостоятельной подготовки следующего всероссийского выступления...»

Надо уходить в подполье *

В подполье мы залезали. Плели сети конспиративной организации. Со всех концов России приезжали товарищи, с которыми сговаривались о работе, о линии, которую надо проводить. Сначала публика приходила на явку, где принимали публику или я с Верой Рудольфовной или Михаил Сергеевич. Наиболее близкой и ценной публике я устраивала свидание с Ильичем, или же по боевой части — устраивал свидание с Никитичем (Красным) Михаил Сергеевич. Явки устраивались в разных местах: то у зубного врача Доры Двойрес (где-то на Невском), то у зубного врача Лаврентьевой (на Николаевской), то в книжном складе «Вперед», у разных сочувствующих.

Помню два эпизода. Однажды мы с Верой Рудольфовной Менжинской расположились принимать приезжих в складе «Вперед», где нам для этой цели отвели особую комнату. К нам пришел какой-то районщик с пачкой прокламаций, другой сидел в ожидании своей очереди, как вдруг дверь открылась, в нее просунулась голова пристава, который сказал: «Ага», и запер нас на ключ. Что было делать? Лезть в окно было нецелесообразно, сидели и недоуменно смотрели друг на друга. Потом решили пока что сжечь прокламации и другую всяческую нелегальщину, что и сделали, сговорились сказать, что мы отбираем популярную литературу для деревни. Так и сказали. Пристав поглядел на нас с усмешечкой, но не арестовал. Записал фамилии наши и адреса. Мы сказали, конечно, адреса и фамилии фиктивные.

Другой раз я чуть не влетела, отправившись первый раз на явку к Лаврентьевой. Вместо номера дома 32 дали № 33. Подхожу к двери и удивляюсь — карточка почему-то сорвана. Странная, думаю, конспирация... Двери мне открывает какой-то денщик, я, ничего не спрашивая, нагруженная всякими шифрованными адресами и литературой, прую прямо по коридору. За мной следом, страшно побледнев, весь дрожа, бросается денщик. Я останавливаюсь: «Разве сегодня не приемный день? У меня зубы болят». Заикаясь, денщик говорит: «Г-на полковника

дома нет». — «Какого полковника?» — «Полковника-с Римана». Оказывается, я залезла в квартиру Римана, полковника Семеновского полка, усмирявшего московское восстание, чинившего расправу на Московско-Казанской ж. д.

Он, очевидно, боялся покушения, потому была сорвана карточка на двери, а я ворвалась к нему в квартиру и устремилась по коридору без доклада.

«Я не туда зашла, значит, мне к доктору надо», — сказала я и повернула обратно.

Ильич маялся по ночевкам, что его очень тяготило. Он вообще очень стеснялся, его смущала вежливая заботливость любезных хозяев, он любил работать в библиотеке или дома, а тут надо было каждый раз приспособляться к новой обстановке.

Встречались мы с ним в ресторане «Вена», но так как там разговаривать на людях было не очень-то удобно, то мы, посидев там или встретившись в условленном месте на улице, брали извозчика и ехали в гостиницу (она называлась «Северная»), что напротив Николаевского вокзала, брали там особый кабинет и заказывали ужин. Помню, раз увидели на улице Юзефа (Дзержинского), остановили извозчика и пригласили его с собой. Он сел на облучок. Ильич все беспокоился, что ему неудобно сидеть, а он смеялся, рассказывал, что вырос в деревне и на облучке саней-то уж ездить умеет.

Наконец Ильичу надоела вся эта маета, и мы поселились с ним вместе на Пантелеймоновской (большой дом напротив Пантелеймоновской церкви) у какой-то черносотенной хозяйки.

Из выступлений Ильича, относящихся к тому времени, помню собрание на квартире у Книповичей пропагандистов от разных районов. Ильич говорил о деревне...

За Ильичем началась слезка. Однажды он был на каком-то собрании (кажется, у адвоката Чекеруль-Куша), где делал доклад. За ним началась такая слезка, что он решил домой не возвращаться. Так и просидела я у окна всю ночь до утра, решив, что его где-то арестовали. Ильич еле-еле ушел от слезки и при помощи Баска (тогда видного члена Спилки) перебрался в Финляндию и там прожил до Стокгольмского съезда.

Там в апреле написал Ильич брошюру «Победа кадетов и задачи рабочей партии». Подготавливал резолюции к Объединительному съезду, обсуждались они в Пи-

тере, куда приехал Ильич, в квартире Витмер, там была гимназия, и дело происходило в одном из классов.

Стокгольмский съезд *

После II съезда большевики и меньшевики собирались впервые вместе на съезде. Хотя меньшевики за последние месяцы уже достаточно выявили свое лицо, но Ильич еще надеялся, что новый подъем революции, в котором он не сомневался, захватит их и примирит с большевистской линией.

Я на несколько часов запоздала. Ехала туда вместе с Тучапским, которого раньше знала по подготовке I съезда, с Клавдией Тимофеевной Свердловой. Свердлов тоже собирался на съезд. На Урале он пользовался громадным влиянием. Рабочие не хотели ни за что отпустить его. У меня был мандат от Казани, но не хватало небольшого числа голосов. Мандатная комиссия дала поэтому мне лишь совещательный голос. Недолгое присутствие в мандатной комиссии сразу же заставило окунуться в атмосферу съезда — она была достаточно фракционна.

Большевики держались очень сплоченно. Их объединяла уверенность, что революция, несмотря на временное поражение, идет на подъем.

Поню хлопоты Дяденьки, которая хорошо знала шведский язык и на которую поэтому пала вся возня с устройством делегатов...

На съезде были также Ворошилов (Володя Антимков) и К. Самойлова (Наташа Большевикова). Уж одни эти две последние клички, проникнутые молодым задором, характерны для настроений большевистских делегатов на Объединительном съезде. Со съезда большевистские делегаты ехали еще более сплоченными, чем раньше.

27 апреля открылась I Государственная дума, была демонстрация безработных, среди которых работал Войтинский, с большим подъемом прошло 1 Мая. В конце апреля открылась вместо «Новой жизни» газета «Волна», стал выходить большевистский журнальчик «Вестник жизни». Движение шло опять на подъем.

По возвращении со Стокгольмского съезда мы поселились на Забалканском, я по паспорту Прасковьи Онегиной, Ильич по паспорту Чхеидзе. Двор был проходной, жить там было удобно, если бы не сосед, какой-то воен-

ный, который смертным боем бил жену и таскал ее за косу по коридору, да не любезность хозяйки, которая усердно расспрашивала Ильича о его родных и уверяла, что знала его, когда он был четырехлетним мальчуганом, только тогда он был черненьким...

Ильич писал отчет питерским рабочим об Объединительном съезде, ярко освещая все разногласия по самым существенным вопросам...

Под фамилией Карпова *

9 мая Владимир Ильич первый раз в России выступил открыто на громадном массовом собрании в Народном доме Паниной под фамилией Карпова. Рабочие со всех районов наполняли зал. Поражало отсутствие полиции. Два пристава, повертевшись в начале собрания в зале, куда-то исчезли. «Как порошком их посыпало», — шутил кто-то. После кадета Огородникова председатель предоставил слово Карпову. Я стояла в толпе. Ильич ужасно волновался. С минуту стоял молча, страшно бледный. Вся кровь прилила у него к сердцу. И сразу почувствовалось, как волнение оратора передается аудитории. И вдруг зал огласился громом рукоплесканий — то партийцы узнали Ильича. Запомнилось недоумевающее, взволнованное лицо стоявшего рядом со мной рабочего. Он спрашивал: кто, кто это? Ему никто не отвечал. Аудитория замерла. Необыкновенно подъемное настроение охватило всех присутствовавших после речи Ильича, в эту минуту все думали о предстоящей борьбе до конца.

Красные рубахи разорвали на знамена и с пением революционных песен разошлись по районам.

Была белая майская возбуждающая питерская ночь. Полиции, которую ждали, не было. С собрания Ильич пошел ночевать к Дмитрию Ильичу Лещенко.

Не удалось Ильичу больше выступать открыто на больших собраниях в ту революцию...

В конце июня приезжала в Питер только что освободившаяся из варшавской тюрьмы Роза Люксембург. С ней виделись тогда Владимир Ильич и наша большевистская руководящая публика. Квартиру под свидание дал домовладелец Папа Роде, старик, с дочерью которого я вместе учительствовала за Невской заставой, а потом одновременно с ней сидела в тюрьме. Старик старался помогать чем мог и на этот раз отвел под собра-

ние большую пустую квартиру, в которой для ради конспирации велел замазать белой краской все окна, чем, конечно, привлек внимание всех дворников. На этом совещании говорили о создавшемся положении, о той тактике, которой надо было держаться.

Из Питера Роза поехала в Финляндию, а оттуда за границу.

В мае, когда движение нарастало, когда Дума стала отражать крестьянские настроения, Ильич уделял ей очень большое внимание...

Ильич не раз выступал в это время с докладами по этому вопросу.

Выступал Ильич с докладом перед представителями Выборгского района в Союзе инженеров на Загородном. Пришлось долго ждать. Один зал был занят безработными, в другом собрались катали, организатором их был Сергей Малышев, в последний раз пытавшиеся договориться с предпринимателями, но и на этот раз не договорились. Только когда они ушли, можно было приступить к докладу.

Помню также выступление Ильича перед группой учителей. Среди учителей господствовали тогда эсеровские настроения, большевиков на учительский съезд не пустили, но было организовано собеседование с несколькими десятками учителей. Дело происходило в какой-то школе. Из присутствовавших запомнилось лицо одной учительницы, небольшого роста, горбатенькой,— это была эсерка Кондратьева. На этом собеседовании выступал т. Рязанов с докладом о профсоюзах. Владимир Ильич делал доклад по аграрному вопросу. Ему возражал эсер Бунаков, уличая его в противоречиях, стараясь с цитатами из Ильина (тогдашний литературный псевдоним Ильича) побивать Ленина. Владимир Ильич внимательно слушал, делал записи, а потом довольно сердито отвечал на эту эсеровскую демагогию.

Когда встали во весь рост вопросы о земле, когда открыто выявилось, говоря словами Ильича «объединение чиновников и либералов против мужиков», колеблющаяся трудовая группа пошла за рабочими. Правительство почувствовало, что Дума не будет надежной опорой правительства, и перешло в наступление, началось избивание мирных демонстраций, поджоги домов с народными собраниями, начались еврейские погромы. 20 июня выпущено было правительственное сообщение по аграр-

ному вопросу с резкими выпадами по адресу Государственной думы.

Наконец 8 июля Дума была распущена, социал-демократические газеты закрыты, начались всякие репрессии, аресты. В Кронштадте и в Свеаборге разразилось восстание¹. Наши принимали там самое активное участие, Иннокентий (Дубровинский) еле-еле выбрался из Кронштадта и выскользнул из рук полиции, притворившись вдрызг пьяным. Вскоре арестовали нашу военную организацию, в среде которой оказался провокатор. Это было как раз во время Свеаборгского восстания. В этот день мы безнадежно ждали телеграмм о ходе восстания.

Сидели в квартире Менжинских. Вера Рудольфовна и Людмила Рудольфовна Менжинские жили в то время в очень удобной, отдельной квартире. К ним часто приходили товарищи. Постоянно у них бывали тт. Рожков, Юзеф, Гольденберг. На этот раз там также собралось несколько товарищей, в том числе Ильич. Ильич направил Веру Рудольфовну к Шлихтеру, чтобы сказать, что нужно немедленно выехать в Свеаборг. Кто-то вспомнил, что в кадетской «Речи» служит корректором товарищ Харрик. Пошла я к нему узнавать, нет ли телеграмм. Его не застала, телеграммы получила от другого корректора. Он посоветовал мне сговориться с Харриком, который живет неподалеку — в Гусевом переулке, и даже адрес Харрика надписал на гранках с телеграммами. Я пошла в Гусев переулок. Около дома под ручку ходили две женщины. Они остановили меня: «Если вы идете в такой-то номер, не ходите, там засада, всех хватают». Я поторопилась предупредить нашу публику. Как потом оказалось, там арестована была наша военная организация, в том числе и Вячеслав Рудольфович Менжинский. Восстание было подавлено. Реакция нагнала.

¹ Восстание матросов и солдат в Кронштадте началось 19 июля (1 августа) 1906 г., после того как там были получены известия о восстании в Свеаборге, которое вспыхнуло стихийно в ночь с 17(30) на 18(31) июля. Правительство через провокаторов получило сведения о сроке восстания в Кронштадте и поэтому заранее подготовилось к сражению. Успешному ходу восстания мешала также дезорганизаторская деятельность эсеров. К утру 20 июля (2 августа) восстание было подавлено.

Восстание в Свеаборге продолжалось три дня. Однако сказались общая неподготовленность выступления, и 20 июля (2 августа), после обстрела крепости военными кораблями, Свеаборгское восстание также было подавлено.

Большевики возобновили издание нелегального «Пролетария», ушли в подполье — меньшевики забили отбой, стали писать в буржуазной прессе, выкинули демагогический лозунг рабочего беспартийного съезда, который при данных условиях означал ликвидацию партии. Большевики требовали экстренного съезда.

«Ближняя эмиграция»*

Ильичу пришлось перебраться в «ближнюю эмиграцию», в Финляндию. Он поселился там у Лейтейzenов на станции Куоккала, неподалеку от вокзала. Неуютная большая дача «Ваза» давно уже служила пристанищем для революционеров. Перед тем там жили эсеры, приготовлявшие бомбы, потом поселился там большевик Лейтейзен (Линдов) с семьей. Ильичу отвели комнату в сторонке, где он строчил свои статьи и брошюры и куда к нему приезжали и цекисты, и пекисты, и приезжие из провинции. Ильич из Куоккалы руководил фактически всей работой большевиков. Через некоторое время я тоже туда переселилась, уезжала ранним утром в Питер и возвращалась поздно вечером. Потом Лейтейзены уехали, мы заняли весь низ — приехала к нам моя мать, потом Мария Ильинична жила у нас одно время. Наверху поселились Богдановы, а в 1907 г. — и Дубровинский (Иннокентий). В то время русская полиция не решалась соваться в Финляндию, и мы жили очень свободно. Дверь дачи никогда не запиралась, в столовой на ночь ставились кринка молока и хлеб, на диване стелилась на ночь постель, на случай, если кто придет с ночным поездом, чтобы мог, никого не будя, подкрепиться и залечь спать. Утром очень часто в столовой мы заставляли приехавших ночью товарищей.

К Ильичу каждый день приезжал специальный человек с материалами, газетами, письмами. Ильич, просмотрев присланное, садился сейчас же писать статью и отправлял ее с тем же посланным. Почти ежедневно приезжал на «Вазу» Дмитрий Ильич Лещенко. Вечером я привозила каждодневно всяческие питерские новости и поручения.

Конечно, Ильич рвался в Питер, и как ни старались держать с ним постоянную самую тесную связь, а другой раз нападало такое настроение, что хотелось чем-нибудь перебить мысли...

Я редко видала в это время Ильича, проводя целые дни в Питере. Возвращаясь поздно, заставала Ильича всегда озабоченным и ни о чем его уже не спрашивала, больше рассказывала ему о том, что приходилось видеть и слышать.

Эту зиму мы с Верой Рудольфовной имели постоянную явку в столовой Технологического института. Это было очень удобно, так как через столовку за день проходила масса народу. В день перебивает другой раз больше десятка человек. Никто не обращал на нас внимания. Раз только пришел на явку Камо. В народном кавказском костюме, он нес в салфетке какой-то шарообразный предмет. Все в столовке бросили есть и принялись рассматривать необычайного посетителя. «Бомбу принес»,— мелькнула, вероятно, у большинства мысль. Но это оказалась не бомба, а арбуз. Камо принес нам с Ильичем гостинцев — арбуз, какие-то засахаренные орехи. «Тетка прислала»,— пояснял как-то застенчиво Камо. Этот отчаянной смелости, непоколебимой силы воли, бесстрашный боевик был в то же время каким-то чрезвычайно цельным человеком, немного наивным и нежным товарищем. Он страстно был привязан к Ильичу, Красину и Богданову. Бывал у нас в Куоккале. Подружился с моей матерью, рассказывал ей о тетке, о сестрах. Камо часто ездил из Финляндии в Питер, всегда брал с собой оружие, и мама каждый раз особо заботливо увязывала ему револьверы на спине...

Нам с Верой Рудольфовной понадобилась помощница. Один из райончиков, Комиссаров, предложил в качестве помощницы свою жену — Катю. Пришла скромного вида стриженная женщина. Странное чувство в первую минуту овладело мной — чувство какого-то острого недоверия, откуда взялось это чувство — не осознала, скоро оно стерлось. Катя оказалась очень дельной помощницей, все делала очень аккуратно, конспиративно, быстро, не проявляла никакого любопытства, ни о чем не расспрашивала. Помню только раз, когда я спросила ее о том, куда она едет на лето, ее как-то передернуло, и она посмотрела на меня злыми глазами. Потом оказалось, что Катя и ее муж — провокаторы. Катя, достав оружие в Питере, повезла его на Урал, и следом за ее появлением приходила полиция, отбирала привезенное Катей оружие, всех арестовывала. Об этом мы узнали много позже. А ее муж, Комиссаров, стал управляющим

у Симонова, домовладельца дома № 9 по Загородному проспекту. Симонов помогал социал-демократам. У него жил одно время Владимир Ильич, потом в этом доме был устроен большевистский клуб, потом там поселился Алексинский. В более позднее время — в годы реакции — Комиссаров устраивал в доме всяких нелегалов, снабжал их паспортами — и потом эти нелегалы очень быстро, «случайно» как-то проваливались на границе. В эту ловушку попал, например, однажды Иннокентий, вернувшись из-за границы на работу в Россию. Конечно, трудно установить момент, когда Комиссаров и его жена стали провокаторами. Во всяком случае, полиция не знала все же очень и очень многого, например местожительства Владимира Ильича. Полицейский аппарат был в 1905-м и весь 1906 г. еще порядочно дезорганизован.

Созыв II Государственной думы назначен был на 20 февраля 1907 г.

Еще на ноябрьской конференции 14 делегатов, в том числе и делегаты от Польши и Литвы, с Владимиром Ильичем во главе, высказались за выборы в Государственную думу, но против всяких блоков с кадетами (за что были меньшевики). Под таким лозунгом и шла работа большевиков по выборам в Думу. Кадеты потерпели поражение на выборах. Во II Думу у них прошла лишь половина того количества депутатов, которые проходили от них в I Думу... Выборы прошли с большим опозданием. Казалось, поднимается новая революционная волна...

Депутаты II Думы довольно часто приезжали в Куоккалу потолковать с Ильичем. Работой депутатов-большевиков непосредственно руководил Александр Александрович Богданов, но он жил в Куоккале на той же даче «Ваза», — там же, где и мы, и обо всем столковывался с Ильичем...

Лондонский съезд*

Большевики настаивали на ускорении партийного съезда. Он назначен был наконец на апрель. Съезд получился очень многочисленный. Гуртом ехали на него делегаты, вереницей являясь на явку... Полиция учинила слежку. На Финляндском вокзале арестовали Марата (Шанцер) и еще нескольких делегатов. Пришлось принимать сугубые меры предосторожности. Ильич и Бог-

данов уже уехали на съезд. В Куоккалу я не торопилась. Приезжаю в воскресенье только к вечеру и что же вижу? Сидят у нас 17 делегатов, холодные, голодные, не пивши, не евши! Домашняя работница, которая жила у нас, была финкой, социал-демократкой, по воскресеньям уходила на целый день — ставили они спектакли в Нардоме и пр., — пока я их напоила, накормила, прошло немало времени. Сама я на съезде не была. Не на кого было оставить секретарскую работу, а время было трудное. Полиция нагледла, публика стала побаиваться пускать большевиков на ночевки и явки. Я встречалась иногда с публикой в «Вестнике жизни». Петр Петрович Румянцев, редактор журнала, постеснялся мне сказать сам, чтобы явок в «Вестнике жизни» не устраивала, и напустил на меня сторожа — рабочего, с которым мы частенько говорили о делах. Досадно стало, зачем не сказал сам.

Со съезда Ильич приехал позже других. Вид у него был необыкновенный: постриженные усы, сбритая борода, большая соломенная шляпа.

Тотчас после съезда Ильич выступил с докладом в Териоках в гостинице финна Какко (эта гостиница потом сгорела) перед приехавшими в большом количестве из Питера рабочими. 3 июня была разогнана II Дума. Вся большевистская фракция приехала поздно вечером в Куоккалу, просидели всю ночь, обсуждая создавшееся положение. От съезда Ильич устал до крайности, нервничал, не ел. Я снарядила его и отправила в Стирсудден, в глубь Финляндии, где жила семья Дяденьки, а сама спешно стала ликвидировать дела. Когда приехала в Стирсудден, Ильич уже отошел немного. Про него рассказывали: первые дни ежеминутно засыпал — сядет под ель и через минуту уже спит. Дети его «дрыхалкой» прозвали. В Стирсуддене мы чудесно провели время — лес, море, дичье дикое, рядом только была большая дача инженера Зябицкого, где жили Лещенко с женой и Алексинский. Ильич избегал разговоров с Алексинским — хотелось отдохнуть, — тот обижался. Иногда у Лещенко собирались послушать музыку. Ксения Ивановна — родственница Книповичей — обладала чудесным голосом, она была певица, и Ильич слушал с наслаждением ее пение. Добрую часть дня мы проводили с Ильичем у моря или ездили на велосипеде. Велосипеды были старые, их постоянно надо было чинить, то с помощью Лещенки, то без его помощи, — чинили старыми калошами и, ка-

жется, больше чинили, чем ездили. Но ездить было чудесно. Дяденька усиленно подкармливала Ильича яичницей да оленьим окороком. Ильич понемногу отошел, отдохнул, пришел в себя...

ИЗ РОССИИ ЗА ГРАНИЦУ

Конец 1907 г.

Ильичу пришлось перебраться в глубь Финляндии. На даче «Ваза» (в Куоккале) оставались еще Богдановы, Иннокентий (Дубровинский) и я. Уже в Териоках были обыски, ждали их в Куоккале. Мы с Натальей Богдановой «чистились», разбирали всякие архивы, отбирали ценное, отдавали это ценное прятать финским товарищам, а остальное жгли. Жгли так усердно, что однажды я с удивлением увидела, что снег вокруг нашей «Вазы» усеян пеплом. Впрочем, если бы нагрянули жандармы, они все же нашли бы, вероятно, чем поживиться: очень уж большие залежи накопились в «Вазе». Пришлось предпринимать специальные меры предосторожности. Раз утром прибежала хозяйка дачи, рассказала, что в Куоккалу приехали жандармы, взяла, сколько смогла захватить, всякой нелегальщины, чтобы спрятать у себя. Александра Александровича Богданова и Иннокентия мы отправили гулять в лес, а сами стали ждать обыска. На этот раз в «Вазу» с обыском не пошли, искали боевиков.

Ильича тоже отправили в глубь Финляндии, он жил в то время в Огльбю (небольшая станция около Гельсингфорса) у каких-то двух сестер-финок. Чужим чувствовал он себя в изумительно чистенькой и холодной, по-фински уютной, с кружевными занавесочками комнате, где все стояло на своем месте, где за стеной все время шел смех, игра на рояле и болтовня на финском языке. Ильич писал днями свою работу по аграрному вопросу, тщательно обдумывая опыт пережитой революции. Часами ходил из угла в угол на цыпочках, чтобы не беспокоить хозяек. Я как-то была у него в Огльбю.

Ильича полиция уже искала по всей Финляндии, надо было уезжать за границу. Ясно было, что реакция затянется на годы. Надо было опять податься в Швейцарию. Больно неохота было, но другого выхода не было. Да и необходимо было наладить за границей издание

«Пролетария», поскольку издание его в Финляндии стало невозможно. Ильич должен был при первой возможности уехать в Стокгольм и там дожидаться меня. Мне надо было устроить в Питере большую старушку мать, устроить ряд дел в Питере, условиться о сношениях и потом уже выехать следом за Ильичем.

Пока я возилась в Питере, Ильич чуть было не погиб при переезде в Стокгольм. Дело в том, что его выследили так основательно, что ехать обычным путем, садясь в Або на пароход, значило наверняка быть арестованным¹. Бывали уже случаи арестов при посадке на пароход. Кто-то из финских товарищей посоветовал сесть на пароход на ближайшем острове. Это было безопасно в том отношении, что русская полиция не могла там заарестовать, но до острова надо было идти версты три по льду, а лед, несмотря на то что был декабрь, был не везде надежен. Не было охотников рисковать жизнью, не было проводников. Наконец Ильича взялись проводить двое подвыпивших финских крестьян, которым море было по колено. И вот, пробираясь ночью по льду, они вместе с Ильичем чуть не погибли — лед стал уходить в одном месте у них из-под ног. Еле выбрались.

Потом финский товарищ Борго, расстрелянный впоследствии белыми, через которого я переправилась в Стокгольм, говорил мне, как опасен был избранный путь и как лишь случайность спасла Ильича от гибели. А Ильич рассказывал, что, когда лед стал уходить из-под ног, он подумал: «Эх, как глупо приходится погибать»...

Опять эмиграция *

Пробыв несколько дней в Стокгольме, мы с Ильичем двинулись на Женеву через Берлин. В Берлине накануне нашего приезда у русских были обыски и аресты, потому встретивший нас член берлинской группы т. Аврамов не посоветовал нам идти к кому-нибудь на квартиру, а водил нас целый день из кафе в кафе. Вечер мы провели у Розы Люксембург. Штутгартский конгресс, где Владимир Ильич и Роза Люксембург выступали солидарно по вопросу о войне, очень сблизил их. Было это еще в 1907 г., а они на конгрессе уже гово-

¹ Пароходы из Финляндии в Швецию ходили и зимой, разрезая лед ледоколами.— *Прим. авт.*

рили о том, что борьба против войны должна ставить себе целью не только борьбу за мир, она должна иметь целью замену капитализма социализмом. Порожденный войной кризис необходимо будет использовать для ускорения свержения буржуазии. «Штутгартский съезд,— писал Владимир Ильич, давая его характеристику,— рельефно сопоставил по целому ряду крупнейших вопросов оппортунистическое и революционное крыло международной социал-демократии и дал решение этих вопросов в духе революционного марксизма». На Штутгартском конгрессе Роза Люксембург и Ильич шли заодно. И потому разговор в тот вечер между ними носил особо дружеский характер.

В гостиницу, где мы остановились, мы пришли вечером больные, у обоих шла белая пена изо рта и напала на нас слабость какая-то. Как потом оказалось, мы, перекочевывая из ресторана в ресторан, где-то отравились рыбой. Пришлось ночью вызывать доктора. Владимир Ильич был прописан финским поваром, а я американской гражданкой, и потому прислуживающий позвал к нам американского доктора. Тот осмотрел Владимира Ильича, сказал, что дело очень серьезно, посмотрел на меня, сказал: «Ну, вы будете живы!», давал кучу лекарств и, почуяв, что тут что-то неладно, слупил с нас бешеную цену за визит. Провалились мы пару дней и полубольные потащились в Женеву, куда приехали 7 января 1908 г. (25 декабря 1907 г.). Ильич потом писал Горькому, что мы дорогой «простудились».

Неприятно выглядела Женева. Не было ни снежинок, но дул холодный резкий ветер — биза. Продавались открытки с изображением замерзшей на лету воды, около решеток набережной Женевского озера. Город выглядел мертвым, пустынным. Из товарищей в это время в Женеве жили Миха Цхакая, В. А. Карпинский и Ольга Равич. Миха Цхакая ютился в небольшой комнатешке, перебивался в большой нужде, хворал и с трудом поднялся с постели, когда мы пришли. Как-то не говорилось. Карпинские жили в это время в русской библиотеке, бывшей Куклина¹, которой заведовал Карпинский. Когда мы пришли, у него был сильнейший припадок головной боли, от которого он шурился все

¹ Г. А. Куклин — социал-демократ, издатель социал-демократической литературы.

время, все ставни были закрыты, так как свет раздражал его. Когда мы шли от Карпинского по пустынным, ставшим такими чужими улицам Женевы, Ильич обронил: «У меня такое чувство, точно в гроб ложиться сюда приехал».

Началась наша вторая эмиграция, она была куда тяжелее первой.

ГОДЫ РЕАКЦИИ

Женева

1908 г.

...К февралю уже съехались в Женеву все товарищи, посланные из России ставить «Пролетарий», т. е. Владимир Ильич, Богданов и Иннокентий (Дубровинский).

В письме от 2 февраля Владимир Ильич писал А. М. Горькому: «Все налажено, на днях выпускаем анонс. В сотрудники ставим Вас. Черкните пару слов, могли ли бы Вы дать что-либо для первых номеров (в духе ли заметок о мещанстве из «Новой жизни» или отрывки из повести, которую пишете, и т. п.)». Ильич еще в 1894 г. в своей книжке «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» писал о буржуазной культуре, о мещанстве, которое он глубоко ненавидел и презирал. И потому заметки Горького о мещанстве ему особенно нравились.

Луначарскому, устройшемуся на Капри у Горького, Ильич писал: «Черкните, устроились ли вполне и стали ли работоспособны?»

Редакционная тройка (Ленин, Богданов, Иннокентий) послали письмо в Вену Троцкому, приглашая сотрудничать в «Пролетарии». Троцкий отказался, не захотел работать с большевиками, но не сказал прямо, а мотивировал свой отказ занятостью.

Начались заботы о налаживании транспорта для «Пролетария». Разыскивали старые связи. Когда-то транспорт наш шел морем, через Марсель и пр. Ильич думал, что теперь наладить транспорт можно бы, пожалуй, через Капри, где жил Горький. Он писал Марии Федоровне Андреевой, жене Горького, о том, как наладить через паромных служащих и рабочих переправку литературы в Одессу...

Трудно было нам после революции вновь привыкнуть к эмигрантской атмосфере. Целые дни Владимир Ильич просиживал в библиотеке, но по вечерам мы не знали, куда себя приткнуть. Сидеть в неудобной холодной комнате, которую мы себе наняли, было неохота, тянуло на людей, и мы каждый день ходили то в кино, то в театр, хотя редко досиживали до конца, а уходили обычно с половины спектакля бродить куда-нибудь, чаще всего к озеру.

Наконец в феврале вышел первый, изданный уже в Женеве (21-й) номер «Пролетария». Характерна в нем первая статья Владимира Ильича.

«Мы умели,— писал он,— долгие годы работать перед революцией. Нас недаром прозвали твердокаменными. Социал-демократы сложили пролетарскую партию, которая не падет духом от неудачи первого военного натиска, не потеряет головы, не увлечется авантюрами. Эта партия идет к социализму, не связывая себя и своей судьбы с исходом того или иного периода буржуазных революций. Именно поэтому она свободна и от слабых сторон буржуазных революций. И эта пролетарская партия идет к победе».

Эти слова принадлежали Владимиру Ильичу. И они выражали то, чем он тогда жил. В момент поражения он думал о величайших победах пролетариата. По вечерам, когда мы ходили по набережным Женевского озера, он говорил об этом...

Владимир Ильич считал, что надо самым внимательным, тщательным образом изучать опыт революции, что этот опыт сослужит службу в дальнейшем. Он вцеплялся в каждого участника недавней борьбы, подолгу толковал с ним. Он считал, что на русский рабочий класс легла задача: «Сохранить традиции революционной борьбы, от которой спешат отречься интеллигенция и мещанство, развить и укрепить эти традиции, внедрить их в сознание широких масс народа, донести их до следующего подъема неизбежного демократического движения».

«Сами рабочие,— писал он,— стихийно ведут именно такую линию. Они слишком страстно переживали великую октябрьскую и декабрьскую борьбу. Они слишком явно видели изменение своего положения *только* в зависимости от этой непосредственно революционной борьбы. Они говорят теперь или, по крайней

мере, чувствуют все, как тот ткач, который заявил в письме в свой профессиональный орган: фабриканты отобрали наши завоевания, подмастерья опять по-прежнему издеваются над нами, *погодите, придет опять 1905 год.*

Погодите, придет опять 1905 год. Вот как смотрят рабочие. Для них этот год борьбы дал образец того, *что делать.* Для интеллигенции и ренегатствующего мещанства это — «сумасшедший год», это образец того, *чего не делать.* Для пролетариата переработка и критическое усвоение опыта революции должны состоять в том, чтобы научиться применять *тогдашние* методы борьбы *более успешно,* чтобы ту же октябрьскую стачечную и декабрьскую вооруженную борьбу сделать более широкой, более сосредоточенной, более сознательной».

Готовиться к новому наступлению *

Предстоящие годы представлялись Ильичу как годы подготовки к новому наступлению.

Нужно было использовать «передышку» в революционной борьбе для дальнейшего углубления ее содержания.

Прежде всего надо было выработать линию борьбы в условиях реакции. Надо было обдумать, как, переведя партию на подпольное положение, в то же время удерживать за ней возможность через посредство думской трибуны говорить с широкими массами рабочих и крестьян. Ильич видел, что у многих из большевиков, у так называемых отзовистов, есть стремление до чрезвычайности упростить дело: желая во что бы то ни стало сохранить формы борьбы, оказавшиеся целесообразными в момент наивысшего развития революции, они по существу дела отходили от борьбы в тяжелой обстановке реакции, от всех трудностей приспособления работы к новым условиям... Ильич расценивал отзовизм как ликвидаторство слева. Наиболее откровенным отзовистом был Алексинский. Когда он вернулся в Женеву, у них с Ильичем очень быстро испортились отношения. По целому ряду вопросов приходилось Ильичу иметь дело с ним, и теперь более, чем когда-либо, Ильичу претила самоуверенная ограниченность этого человека. До того, чтобы думская трибуна и при реакции могла быть способом общения с широкими слоя-

ми рабочих и крестьянских масс, Алексинскому было очень мало дела. Он, Алексинский, не мог ведь уже больше, после разгона II Думы, выступать с трибуны...

Ильич особенно сблизился с Иннокентием (Дубровинским).

До 1905 г. мы знали Иннокентия только понаслышке. Его хвалила Дяденька (Лидия Михайловна Книпович), знавшая его по астраханской ссылке, нахваливали его самарцы (Кржижановские), но встречаться с ним не пришлось. Переписки также не было. Однажды только, когда после II съезда партии разгорелась склока с меньшевиками, получилось от него письмо, где он писал о важности сохранить партийное единство. Потом он входил в примиренческий ЦК и провалился вместе с другими цекистами на квартире у Леонида Андреева.

В 1905 г. Ильич увидел Иннокентия на работе. Он видел, как беззаветно был предан Иннокентий делу революции, как брал на себя всегда самую опасную, самую тяжелую работу — оттого и не удалось Иннокентию побывать ни на одном партийном съезде: перед каждым съездом он систематически проваливался. Видел Ильич, как решителен Иннокентий в борьбе — он участвовал в Московском восстании, был во время восстания в Кронштадте. Иннокентий не был литератором, он выступал на рабочих собраниях, на фабриках, его речи воодушевляли рабочих в борьбе, но, само собой разумеется, никто их не записывал, не стенографировал. Ильич очень ценил беззаветную преданность Иннокентия делу и очень был рад его приезду в Женеву. Их многое сблизало. И тот, и другой придавали огромное значение партии и считали, что необходима самая решительная борьба с ликвидаторами, толковавшими, что нелегальную партию надо ликвидировать, что она только мешает работать. И тот, и другой чрезвычайно ценили Плеханова, были рады, что Плеханов не солидаризируется с ликвидаторами. И тот, и другой считали, что Плеханов прав в области философии, и полагали, что в области философских вопросов надо решительно отгородиться от Богданова, что теперь такой момент, когда борьба на философском фронте приобрела особое значение. Ильич видел, что никто так хорошо с полуслова не понимает его, как Иннокентий. Иннокентий приходил к нам обедать, и они долго после

обеда обдумывали планы работы, обсуждали создавшееся положение. По вечерам сходились в кафе Ландольт и продолжали начатые разговоры. Ильич заражал Иннокентия своим «философским запоем», как он выражался. Все это сближало. Ильич в то время сильно привязался к Иноку (Иннокентию).

Время было трудное. В России шел развал организаций. При помощи провокации вылавливала полиция наиболее видных работников. Большие собрания и конференции стали невозможны. Уйти в подполье людям, которые еще недавно были у всех на виду, было не так-то просто... Массы ушли в себя. Им хотелось осмыслить все происшедшее, продумать его, агитация общего характера приелась, никого уже не удовлетворяла. Охотно шли в кружки, но руководить кружками было некому. На почве этого настроения имел известный успех отзовизм. Боевые группы, оставаясь без руководства организации, действуя не на фоне массовой борьбы, а вне ее, независимо от нее, вырождались, и Иннокентию пришлось разбирать не одно тяжелое дело, возникшее на этой почве.

Горький звал Владимира Ильича на Капри, где жили тогда Богданов, Базаров и др., чтобы договориться всем вместе, но Ильич не ехал, ибо предчувствовал, что договориться нельзя. В письме от 16 апреля Ильич писал Горькому:

«Ехать мне бесполезно и вредно: разговаривать с людьми, пустившимися проповедовать соединение научного социализма с религией, *я не могу* и не буду. Время тетрадок прошло. Спорить нельзя, трепать зря нервы глупо».

В мае Ильич поехал все же на Капри, уступая настояниям Горького. Пробыл там буквально пару дней. Поездка не принесла, конечно, примирения с философскими взглядами Богданова. Ильич потом вспоминал, как он говорил Богданову, Базарову: придется годика на два, на три разойтись, а жена Горького, Мария Федоровна, смеясь, призвала его к порядку.

Было много народу, было шумно, суетно, играли в шахматы, катались на лодке. Ильич малю как-то рассказывал о своей поездке. Больше говорил о красоте моря и о тамошнем вине, о разговорах же на больные темы, бывших на Капри, говорил скупой: тяжеловато это ему было.

Опять засел Ильич за философию...

В это время большевики получили прочную материальную базу.

Двадцатитрехлетний Николай Павлович Шмидт, племянник Морозова, владелец мебельной фабрики в Москве на Пресне, в 1905 г. целиком перешел на сторону рабочих и стал большевиком. Он давал деньги на «Новую жизнь», на вооружение, сблизился с рабочими, стал их близким другом. Полиция называла фабрику Шмидта «чертовым гнездом». Во время Московского восстания эта фабрика сыграла крупную роль. Николай Павлович был арестован, его всячески мучили в тюрьме, возили смотреть, что сделали с его фабрикой, возили смотреть убитых рабочих, потом зарезали его в тюрьме.

Перед смертью он сумел передать на волю, что завещает свое имущество большевикам.

Младшая сестра Николая Павловича — Елизавета Павловна Шмидт — доставшуюся ей после брата долю наследства решила передать большевикам. Она, однако, не достигла еще совершеннолетия, и нужно было устроить ей фиктивный брак, чтобы она могла располагать деньгами по своему благоусмотрению. Елизавета Павловна вышла замуж за т. Игнатьева, работавшего в боевой организации, но сохранившего легальность, числилась его женой — могла теперь с разрешения мужа распоряжаться наследством, но брак был фиктивным. Елизавета Павловна была женой другого большевика, Виктора Таратуты. Фиктивный брак дал возможность сразу же получить наследство, деньги переданы были большевикам. Вот почему и говорил Ильич так уверенно о том, что «Пролетарий» будет платить за статьи и делегатам будут высланы деньги на дорогу.

Виктор Таратута летом приехал в Женеву, стал помогать в хозяйственных делах и вел переписку с другими заграничными центрами в качестве секретаря Заграничного бюро Центрального Комитета.

Понемногу налаживались связи с Россией, завязывалась переписка, но времени у меня было все же очень много свободного. Чувствовалось, что долго придется еще жить за границей, и я решила взяться за изучение вплотную французского языка, чтобы примкнуть к работе местной социал-демократической партии. Поступи-

ла на курсы французского языка, которые устраивались летом для иностранцев-педагогов, преподавателей французского языка, при Женевском университете. По-наблюдала иностранных педагогов, поучилась на курсах не только французскому языку, но и швейцарскому умению деловито, напряженно, добросовестно работать.

Ильич, устав от работы над своей философской книжкой, брал мои французские грамматики и книжки по истории языка, по изучению особенностей французской речи и часами читал их, лежа в постели, пока не придут в покой нервы, взвинченные философскими спорами.

Стала я также изучать постановку школьного дела в Женеве. Впервые я поняла, что такое буржуазная «народная» школа. Смотрела, как в прекрасных зданиях, с большими светлыми окнами, воспитывались из детей рабочих послушные рабы. Наблюдала, как в одном и том же классе учителя бьют, дают затрещины ребятам рабочих и оставляют в покое детей богатых, как душат всякую самостоятельную мысль ребенка, как все заполняет мертвая зубрежка и как на каждом шагу внушается ребятам преклонение перед силой, богатством. Никогда не могла представить себе ничего подобного в демократической стране. Подробно рассказывала я Ильичу о своих впечатлениях. Он внимательно слушал.

В первую эмиграцию — до 1905 г. — внимание Ильича, когда он наблюдал окружающую заграничную жизнь, приковывалось главным образом к рабочему движению, его особенно интересовали рабочие собрания, демонстрации и пр. У нас в России этого не было до отъезда Ильича за границу в 1900 г. Теперь, после революции 1905 г., после пережитого колоссального подъема рабочего движения в России, борьбы партий, после опыта Думы и особенно после возникновения Советов рабочих депутатов, наряду с интересом к формам рабочего движения, Ильич особенно стал интересоваться и тем, что же такое представляет из себя по сути дела буржуазная демократическая республика, какова в ней роль рабочих масс, как велико в ней влияние рабочих, как велико влияние других партий.

Мне запомнилось, каким полувидивленным, полупрезрительным тоном передавал Ильич слова швейцарского депутата, говорившего (в связи с арестом Семаш-

ко), что республика их существует сотни лет и она не может допустить нарушения прав собственности.

«Борьба за демократическую республику» была пунктом тогдашней программы, буржуазная демократическая республика стала для Ильича особо ярко теперь вырисовываться как более утонченное, чем царизм, но все же как несомненное орудие порабощения трудящихся масс. Организация власти в демократической республике всячески способствовала тому, что вся жизнь насквозь пропиталась буржуазным духом.

Мне думается, не пережив революции 1905 г., не пережив второй эмиграции, Ильич не смог бы написать свою книгу «Государство и революция».

Развернувшаяся дискуссия по философским вопросам требовала скорейшего выпуска той философской книжки, которую начал писать Ильич. Ильичу надо было достать некоторые материалы, которых не было в Женеве, да и склочная эмигрантская атмосфера здорово мешала Ильичу работать, поэтому он поехал в Лондон, чтобы поработать там в Британском музее и докончить начатую работу...

Своей поездкой в Лондон Ильич был доволен — удалось собрать нужный материал, его подработать.

Борьба с ликвидаторами *

Вскоре по возвращении Ленина, 24 августа, состоялся пленум Центрального Комитета. На пленуме ЦК было решено ускорить созыв партийной конференции. Организовывать конференцию поехал в Россию Иннокентий. К этому времени ярко уже стала выявляться и крепнуть линия ликвидаторства, охватившая широкие слои меньшевиков. Ликвидаторы хотели ликвидировать партию, ее нелегальную организацию, которая вела, по их мнению, только к провалам; они хотели держать курс на легальную и только легальную деятельность в профессиональных союзах, разных обществах и пр. В условиях реакции это был полный отказ от всякой революционной деятельности, отказ от руководства, сдача всех позиций. С другой стороны, в рядах большевистской фракции ультиматисты и отзовисты ударялись в противоположную крайность: они были против участия не только в Думе, но и в культурно-просветительных обществах, в клубной работе, в школах и легальных профес-

сиональных союзах, в страховых кассах. Они совершенно отходили от широкой работы в массах, от руководства ими.

Иннокентий и Ильич немало толковали между собой по поводу необходимости сочетать партийное руководство (для чего необходимо было сохранить во что бы то ни стало нелегальный аппарат) с широкой работой в массах. На очереди стояла подготовка партийной конференции, на почве выборов на нее надо было вести широкую агитацию против ликвидаторства и справа и слева.

Инок и поехал в Россию, чтобы провести все это в жизнь...

Ильич закончил свою философскую книжку в сентябре, уже после отъезда Иннокентия в Россию. Вышла она много позже, лишь в мае 1909 г.

Мы было обосновались окончательно в Женеве.

Приехала моя мать, и мы устроились по-домашнему — наняли небольшую квартиру, завели хозяйство. Внешне жизнь как бы стала входить в колею. Приехала из России Мария Ильинична, стали приезжать и другие товарищи. Помню, приезжал т. Скрыпник, изучавший в то время вопросы кооперации. Я ходила вместе с ним в качестве переводчицы к швейцарскому депутату Сиггу (ужасному оппортунисту). Говорил с ним т. Скрыпник о кооперации, но разговор дал очень мало, ибо у Сигга и у Скрыпника был разный подход к вопросу о кооперации. Скрыпник подходил с точки зрения революционера, Сигг же ничего не видел в кооперации, кроме хорошо налаженной «купцовской лавочки»...

После Питера все тосковали в этой маленькой тихой мещанской заводи — Женеве. Хотелось перебраться в крупный центр куда-нибудь... Ильич колебался: в Женеве-де жить дешевле, лучше заниматься. Наконец приехали из Парижа Лядов и Житомирский и стали уговаривать ехать в Париж. Приводились разные доводы: 1) можно будет принять участие во французском движении; 2) Париж большой город — там будет меньше слежки. Последний аргумент убедил Ильича. Поздней осенью стали мы перебираться в Париж.

В Париже пришлось провести самые тяжелые годы эмиграции. О них Ильич всегда вспоминал с тяжелым чувством. Не раз повторял он потом: «И какой черт понес нас в Париж!» Не черт, а потребность развернуть

борьбу за марксизм, за ленинизм, за партию в центре эмигрантской жизни. Таким центром в годы реакции был Париж.

Париж 1909—1910 гг.

В половине декабря двинулись мы в Париж. 21-го должна была состояться там совместная с меньшевиками партийная конференция. Все мысли Владимира Ильича были поглощены этой конференцией. Надо было дать правильную оценку моменту, выровнять партийную линию — добиться, чтобы партия осталась партией класса, осталась авангардом, умеющим даже в самые трудные времена не оторваться от низов, от масс, помочь им преодолеть все трудности, организовать для новых боев...

Владимир Ильич смотрел отсутствующими глазами на всю нашу возню с домашним устройством в новом логовище: не до того ему было. Квартира была нанята на краю города, около самого городского вала, на одной из прилегающих к Авеню д'Орлеан улиц, на улице Бонье, недалеко от парка Монсури. Квартира была большая, светлая и даже с зеркалами над каминами (это было особенностью новых домов). Была там комната для моей матери, для Марии Ильиничны, которая приехала в это время в Париж в Сорбонну, учиться языку, наша комната с Владимиром Ильичем и приемная. Но эта довольно шикарная квартира весьма мало соответствовала нашему жизненному укладу и нашей привезенной из Женевы «мебели». Надо было видеть, с каким презрением глядела консьержка на наши белые столы, простые стулья и табуретки. В нашей «приемной» стояла лишь пара стульев да маленький столик, было неуютно до крайности.

На мою долю сразу выпало много всякой хозяйственной возни — моя старуха мать как-то растерялась в сутолоке большого города. В Женеве все хозяйственные дела улаживались гораздо проще, а тут пошла какая-то канитель: газ надо было открыть, так пришлось раза три ездить куда-то в центр, чтобы добиться соответствующей бумажки. Бюрократизм во Франции чудовищный. Чтобы получить книжки из коммунальной библиотеки, надо было поручительство домохозяина, а он — ввиду нашей убогой обстановки — не решался за нас поручиться. С хозяйством на первых порах была большая возня.

Хозяйка я была плохая — только Владимир Ильич да Инок были другого мнения, а люди, привыкшие к заправскому хозяйству, весьма критически относились к моим упрощенным подходам.

В Париже жилось очень толкотливо. В то время в Париж стягивалась отовсюду эмигрантская публика...

На декабрьской партийной конференции после больших споров наметилась все же общая линия. «Социал-демократ» должен был стать общим органом...

Заниматься в Париже было очень неудобно. Национальная библиотека была далеко. Ездил туда Владимир Ильич обычно на велосипеде, но езда по такому городу, как Париж, не то что езда по окрестностям Женевы, — требует большого напряжения. Ильич очень уставал от этой езды. На обеденный перерыв библиотека закрывалась. С выпиской нужных книг была также большая бюрократическая канитель, выдавали нужные книги лишь через день, через два. Ильич на чем свет ругал Национальную библиотеку, а попутно и Париж. Написала я письмо французскому профессору, который преподавал летом на женевских курсах французского языка, прося указать другие хорошие библиотеки. Моментально получила ответ, где были все нужные справки; Ильич обошел все указанные библиотеки, но нигде не приспособился. В конце концов у него украли велосипед. Он оставлял его на лестнице соседнего с Национальной библиотекой дома, платя за это консьержке 10 сантимов, но, придя однажды за велосипедом, его не нашел. Консьержка заявила, что она не бралась стеречь велосипед, а разрешала только его ставить на лестницу.

С ездой на велосипедах в Париже и под Парижем нужна была большая осторожность. Раз Ильич по дороге в Жювизи попал под автомобиль, еле успел соскочить, а велосипед был совершенно изломан.

Приехал бежавший из Сольвычегодска Инок. Житомирский предложил ему любезно поселиться в его квартире. Инок приехал совсем больной; ему кандалы, когда он шел в ссылку, так натерли ноги, что на ногах образовались раны. Посмотрели наши врачи ногу Иннокентия и наговорили всякой всячины. Ильич поехал посоветоваться к французскому профессору Дюбуше, прекрасному хирургу, работавшему в качестве врача во время революции 1905 г. в России, в Одессе. Ильич ездил к Дюбуше с Наташей Гопнер, которая знала его по Одессе.

Услышав, каких страстей наговорили наши товарищи-врачи Иноку, Дюбуше расхохотался. «Ваши товарищи-врачи хорошие революционеры, но как врачи они — ослы!» Ильич хохотал до слез и потом часто повторял эту характеристику. Все же Иноку пришлось долго лечить ногу.

Ильич очень обрадовался приезду Инока...

В мае вышла книжка Ильича «Материализм и эмпириокритицизм». Все точки были поставлены над i...

В июне стали понемногу съезжаться уже делегаты на расширенную редакцию «Пролетария». Расширенной редакцией «Пролетария» назывался по сути дела Большевицкий центр...

Заседания расширенной редакции происходили с 21 по 30 июня.

Были приняты резолюции об отзовистах-ультиматистах, за единство партии, против специально большевистского съезда. Особо стоял вопрос о Каприйской школе... Рабочие после пережитой революции остро ощущали необходимость теоретической подготовки, да и время было такое, когда непосредственная борьба замерла. Они ехали учиться, но для всякого искушенного в партийной работе было ясно, что школа на Капри заложит основы новой фракции. И совещание расширенной редакции «Пролетария» осудило эту организацию новой фракции...

Весной, еще до заседания расширенной редакции «Пролетария», очень серьезно захворала Мария Ильична. Ильич ужасно волновался. Но удалось вовремя захватить болезнь, сделать операцию. Операцию делал Дюбуше. Поправка, однако, шла медленно. Надо было отдохнуть где-нибудь вне Парижа, на лоне природы.

Совещание взяло немало сил у Ильича, и после совещания необходимо было поехать и ему куда-нибудь пожить на травке, туда, где не было эмигрантской склоки и сутолоки.

Ильич стал просматривать французские газеты, отыскивая объявления о дешевых пансионах. Нашел такой пансион в деревушке Бомбон, в департаменте Сены и Марны, где за четверых надо было платить лишь 10 франков в день. Съездил посмотреть. Оказалось все очень удобно.

Мы прожили там около месяца.

В Бомбоне Ильич не занимался, и о делах мы стара-

лись не говорить. Ходили гулять, гоняли чуть не каждый день на велосипедах в Клармарский лес за 15 километров. Наблюдали также французские нравы. В пансионе, в котором мы поселились, жили разные мелкие служащие, продавщица из большого модного магазина с мужем и дочкой, камердинер какого-то графа и т. п. Небезынтересно было наблюдать эту обывательскую публику, насквозь проникнутую мелкобуржуазной психологией. С одной стороны, это была публика архипрактическая, смотревшая, чтобы кормили сытно и чтобы все было устроено удобно. С другой стороны, у всех них было стремление походить на настоящих господ. Особо типична была мадам Лагуретт (так звали продавщицу), явно прошедшая огонь, воду и медные трубы, сыпавшая двусмысленными анекдотами и в то же время мечтавшая, как она поведет к первому причастию свою дочку Марту, как это будет трогательно и т. д. и т. п. Конечно, в большом количестве это мещанство надоедало. Хорошо было, что можно было жить обособленно, по-своему. В общем отдохнул в Бомбоне Ильич неплохо.

Осенью мы переменили квартиру, поселились в тех же краях, на глухой улочке Мари-Роз, две комнаты и кухня, окна выходили в какой-то сад. «Приемной» нашей теперь была кухня, где и велись задушевные разговоры. С осени у Владимира Ильича было рабочее настроение. Он завел «прижим», как он выражался, вставал в 8 часов утра, ехал в Национальную библиотеку, возвращался в 2 часа. Много работал дома. Я усиленно его охраняла от публики. У нас всегда бывало много народу, была толчея непротолченная, особенно теперь, когда благодаря реакции, тяжелейшим условиям работы в России русская эмиграция быстро росла. Приезжали из России, с воодушевлением рассказывали, что там делается, потом публика быстро как-то увядала. Засасывала эмигрантщина, забота о заработке, о житейских мелочах...

Живя мыслью о России, Ильич в то же время внимательно изучал и французское рабочее движение. Французская социалистическая партия была в то время насквозь оппортунистической. Например, весной 1909 г. происходила громадная стачка почтарей. Весь город был взволнован, а партия стояла в стороне: это-де дело профессиональных союзов, а не наше. Нам, россиянам, это разделение труда, это самоустранение партии от участия в экономической борьбе казалось прямо чудовищным.

Особенно внимательно наблюдал Ильич предвыборную кампанию. В ней все тонуло в личной склоке, взаимных разоблачениях, политические вопросы отодвигались на задний план. Актуальные вопросы политической жизни не обсуждались почти совершенно. Только некоторые собрания были интересны. На одном из них я видела Жореса, его громадное влияние на толпу, но его выступление мне не очень понравилось — слишком уж рассчитано было каждое слово. Больше понравилось выступление Вайяна. Старый коммунар, он пользовался особой любовью рабочих. Запомнилась фигура высокого рабочего, пришедшего с работы с еще засученными рукавами. С глубочайшим вниманием слушал этот рабочий Вайяна. «Вот он, наш старик, как говорит!» — воскликнул он. И с таким же восхищением смотрели на Вайяна двое подростков, сыновей рабочего. Но ведь не везде выступали Жоресы и Вайяны. А рядовые ораторы крутили, приспособлялись к аудитории, в рабочей аудитории говорили одно, в интеллигентской — другое. Посещение французских предвыборных собраний дало яркую картину, что такое выборы в «демократической республике». Со стороны это прямо поражало. Поэтому так нравились Ильичу песни революционных шансонетчиков, высмеивавших выборную кампанию. Помню одну песенку, в которой описывалось, как депутат ездит собирать голоса в деревню, выпивает вместе с крестьянами, разводит им всякие турусы на колесах, и подвыпившие крестьяне выбирают его и подпевают: «Т'аs bien dit, топ га! (правильно, парень, говоришь!)». А затем, получив голоса крестьян, депутат начинал получать 15 тысяч франков депутатского жалованья и предавал в палате депутатов их крестьянские интересы.

К нам приходил как-то депутат французской палаты, социалист Дюма, рассказывал, как он объезжал перед выборами деревни, и невольно вспоминались шансонетчики. Самым видным из шансонетчиков был Монтегюс, сын коммунара, любимец фобуров (рабочих окраин). В его песнях была какая-то смесь мелкобуржуазной сентиментальности с подлинной революционностью.

Ильич любил ходить в театр на окраины города, наблюдать рабочую толпу. Помню, мы ходили раз смотреть пьесу, описывающую истязания штрафных солдат в Марокко. Интересен был зрительный зал: больно уж

непосредственно реагировали на все наполнявшие театр рабочие. Спектакль еще не начался. Вдруг весь театр в такт завопил: «Шляпа! Шляпа!» Оказалось, в театр вошла какая-то дама в высокой модной шляпе с перьями. Это публика требовала, чтобы дама сняла шляпу, ей пришлось подчиниться. Начался спектакль. В пьесе солдата берут и отправляют в Марокко, а его мать и сестра остаются в нищете. Хозяин квартиры согласен освободить их от платы за квартиру, если сестра солдата станет его наложницей. «Скотина! Собака!» — несетя со всех сторон. Я не помню уже подробно содержание пьесы. Изображено там было, как мучают в Марокко неподчиняющихся начальству солдат. Кончалась пьеса восстанием и пением «Интернационала». Эту пьесу запрещали играть в центре, но на окраинах Парижа ее играли, и она вызывала бурю аплодисментов. В 1910 г. в связи с авантюрой в Марокко была стотысячная демонстрация протеста. Мы ходили ее смотреть. Демонстрация происходила с разрешения полиции. Ее возглавляли депутаты — представители социалистической партии, перевязанные красными шарфами. Рабочие были очень воинственно настроены, грозили кулаками, проходя мимо богатых кварталов, кое-где спешно закрывали в этих домах ставни, но прошла демонстрация как нельзя более мирно. Не походила эта демонстрация на демонстрацию протеста.

Владимир Ильич через Шарля Раппопорта связался с Лафаргом, зятем Маркса, испытанным борцом, мнение которого он особенно ценил. Поль Лафарг вместе со своей женой Лаурой, дочерью Маркса, жили в Дравейль, в 20—25 верстах от Парижа. Они уже отошли от непосредственной работы. Помню, раз ездили мы с Ильичем на велосипедах к Лафаргам. Лафарги встретили нас очень любезно. Владимир стал разговаривать с Лафаргом о своей философской книжке, а Лаура Лафарг повела меня гулять по парку. Я очень волновалась — дочь ведь это Маркса была передо мной; жадно вглядывалась я в ее лицо, в ее чертах искала невольно черты Маркса. В смущении я лопотала что-то нечленораздельное об участии женщин в революционном движении, о России; она отвечала, но разговора настоящего как-то не вышло. Когда мы вернулись, Лафарг и Ильич говорили о философии. «Скоро он докажет,— сказала Лаура про мужа,— насколько искренни его философские

убеждения», и они как-то странно переглянулись. Смысл этих слов и этого взгляда я поняла, когда узнала в 1911 г. о смерти Лафаргов. Они умерли, как атеисты, покончив с собой, потому что пришла старость и ушли силы, необходимые для борьбы.

1910 год начался расширенным пленумом Центрального Комитета. Еще на расширенном заседании редакции «Пролетария» были приняты резолюции за единство партии, против специального большевистского съезда. Эту линию вел Ильич и сплотившаяся вокруг него группа товарищей и на пленуме Центрального Комитета. В период реакции существование партии, смело говорившей всю правду хотя бы из подполья, было особо важно. Это было время, когда реакция громила партию, когда партию захлестывала оппортунистическая стихия, когда важно было удержать во что бы то ни стало знамя партии. У ликвидаторов в России был свой сильный легальный оппортунистический центр. Партия была нужна, чтобы противостоять ему...

Важно было, чтобы был единый партийный центр, около которого спланивались бы все социал-демократические рабочие массы. В 1910 г. шла борьба за самое существование партии, за влияние через партию на рабочие массы. Владимир Ильич не сомневался, что внутри партии большевики будут в большинстве, что партия в конце концов пойдет по большевистскому пути, но это должна быть партия, а не фракция. Эту линию проводил Ильич и в 1911 г., когда устраивалась под Парижем партийная школа... Эта линия проводилась и на Пражской партийной конференции 1912 г. Не фракция, а партия, проводящая большевистскую линию. Конечно, в этой партии не было места ликвидаторам, для борьбы с которыми собирались силы. Конечно, в партии не место было тем, кто заранее решал, что не будет подчиняться постановлениям партии. Борьба за партию, однако, у ряда товарищей перерастала в примиренчество, упускавшее из виду цель объединения и соскользавшее на обывательское стремление объединить всех и вся, невзирая на то, кто за что боролся. Даже Иннокентий, стоявший целиком на точке зрения Ильича, считавший, что основное — это объединение с меньшевиками-партийцами, с плехановцами, увлеченный страстным желанием добиться сохранения партии, соскальзывал на примиренческую точку зрения. Ильич поправлял его.

В общем, единогласно были приняты резолюции. Смешно думать, что Ильича просто заголосовали примиренцы и он сдал позиции. Пленум продолжался три недели. Ильич считал, что надо было, не сдавая ни на йоту принципиальной позиции, идти на максимальные уступки в области организационной...

Склока вызывала стремление отойти от нее... Тянуло и нас поближе стать к французскому движению. Думалось, что этому поможет, если пожить во французской партийной колонии. Она была на берегу моря, неподалеку от небольшого местечка Порник, в знаменитой Вандее. Сначала поехала туда я с матерью. Но в колонии у нас житье не вышло. Французы жили очень замкнуто, каждая семья держалась обособленно, к русским относились недружелюбно как-то, особенно заведующая колонией. Поближе я сошлась с одной французской учительницей. Рабочих там почти не было. Вскоре приехали туда Костицыны и Саввушка — впередовцы, — и сразу вышел у них скандал с заведующей. Тогда мы все решили перебраться в Порник и кормиться там сообща. Наняли мы с матерью две комнатухи у таможенного сторожа. Вскоре приехал Ильич. Много купался в море, много гонял на велосипеде — море и морской воздух он очень любил, — весело болтал о всякой всячине с Костицыными, с увлечением ел крабов, которых ловил для нас хозяин. Вообще к хозяевам он воспылал большой симпатией. Толстая громкоголосая хозяйка — прачка — рассказывала о своей войне с ксендзами. У хозяев был сынишка — ходил он в светскую школу, но так как мальчонка прекрасно учился, был бойким, талантливым парнишкой, то ксендзы всячески старались убедить мать отдать его учиться к ним в монастырь. Обещали стипендию. И возмущенная прачка рассказывала, как она выгнала вон приходившего ксендза: не для того она сына рожала, чтобы подлого иезуита из него сделать. Оттого так и подхваливал крабов Ильич. В Порник Ильич приехал 1 августа, а 26-го уже был в Копенгагене, куда он поехал на заседание Международного социалистического бюро и на международный конгресс...

После Копенгагенского конгресса Ильич ездил в Стокгольм повидаться с матерью и Марией Ильиничной, где и пробыл десять дней. Последний раз видел он в этот раз свою мать, предвидел он это и грустными глазами провожал уходящий пароход. Когда в 1917 г. —

семь лет спустя — он вернулся в Россию, ее не было уже в живых...

В 1911 г. к нам в Париж приехал арестованный в Берлине в начале 1908 г. с чемоданом с динамитом т. Камо. Он просидел в немецкой тюрьме более 1½ лет, симулировал сумасшедшего, потом в октябре 1909 г. был выдан России, отправлен в Тифлис, где просидел в Метехском замке еще 1 год и 4 мес. Был признан безнадежно больным психически и переведен в Михайловскую психиатрическую больницу, откуда бежал, а потом нелегально, прячась в трюме, поехал в Париж познакомиться с Ильичем. Он страшно мучился тем, что произошел раскол между Ильичем, с одной стороны, и Богдановым и Красиным — с другой. Он был горячо привязан ко всем троицкам. Кроме того, он плохо ориентировался в сложившейся за годы его сидения обстановке. Ильич ему рассказывал о положении дел.

Камо попросил меня купить ему миндаля. Сидел в нашей парижской гостиной-кухне, ел миндаль, как он это делал у себя на родине, и рассказывал об аресте в Берлине, придумывал казни тому провокатору, который его выдал, рассказывал о годах симуляции, когда он притворялся сумасшедшим, о ручном воробье, с которым он возился в тюрьме. Ильич слушал, и остро жалко ему было этого беззаветно смелого человека, детски-наивного, с горячим сердцем, готового на великие подвиги и не знающего после побега, за какую работу взяться. Его проекты работы были фантастичны. Ильич не возражал, осторожно старался поставить Камо на землю, говорил о необходимости организовать транспорт и т. д. В конце концов было решено, что Камо поедет в Бельгию, делает себе глазную операцию (он косил, и шпика сразу его узнавали по этому признаку), а потом морем проберется на юг, потом на Кавказ. Осматривая пальто Камо, Ильич спросил: «А есть у вас теплое пальто, ведь в этом вам будет холодно ходить по палубе?» Сам Ильич, когда ездил на пароходах, неустанно ходил по палубе взад и вперед. И когда выяснилось, что никакого другого пальто у Камо нет, Ильич притащил ему свой мягкий серый плащ, который ему в Стокгольме подарила мать и который Ильичу особенно нравился. Разговор с Ильичем, ласка Ильича немного успокоили Камо. Потом, в период гражданской войны, Камо нашел свою «полочку», опять стал проявлять чудеса героизма. Прав-

да, с переходом на новую экономическую политику он вновь выбился из колеи, все толковал о необходимости учиться и в то же время мечтал о разных подвигах. Он погиб во время последней болезни Ильича. Ехал в Тифлис по Верейскому спуску на велосипеде, натолкнулся на автомобиль и был убит.

В 1910 г. в Париж приехала из Брюсселя Инесса Арманд и сразу же стала одним из активных членов нашей Парижской группы. Вместе с Семашко и Бритманом (Казаковым) она вошла в президиум группы и повела обширную переписку с другими заграничными группами. Она жила с семьей, двумя девочками-дочерьми и сынишкой. Она была очень горячей большевичкой, и очень быстро около нее стала группироваться наша парижская публика.

Вообще наша Парижская группа стала крепнуть понемногу. Идейное сплочение шло. Только бедствовали многие ужасно. Рабочие кое-как устраивались, положение же интеллигенции было крайне тяжелое. Переходить на рабочее положение не всегда было посылно. Жить на средства эмигрантской кассы, питаться в долг в эмигрантской столовке было архинепереносно. Помню несколько тяжелых случаев. Один товарищ заделался лакировщиком, но умение давалось не сразу, приходилось менять места работы. Жил он в рабочем квартале, вдали от эмигрантской гущи. И вот дело дошло до того, что он так обессилел от голода, что не мог уже встать с постели, написал письмишко, чтобы принесли ему денег, но не заходили к нему, а оставили у консьержки.

Трудно было Николаю Васильевичу Сапожкову (Кузнецову); он с женой нашли работу — красить глиняную посуду какую-то, но зарабатывали гроши, и видно было, как у этого здорового человека, высокого силача, от голодовки постепенно ложились на лицо морщины, хотя никогда и не жаловался он на свое положение...

В связи со смертью Л. Толстого начались демонстрации, вышел № 1 газеты «Звезда», в Москве стала выходить большевистская «Мысль». Ильич сразу ожил. Его статья «Начало демонстраций» от 31 декабря 1910 г. дышит неистощимой энергией. Она кончается призывом: «За работу же, товарищи! Беритесь везде и повсюду за постройку организаций, за создание и ук-

репление рабочих с.-д. партийных ячеек, за развитие экономической и политической агитации. В первой русской революции пролетариат научил народные массы бороться за свободу, во второй революции он должен привести их к победе!»

ГОДЫ НОВОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ПОДЪЕМА 1911—1914 гг.

**Париж
1911—1912 гг.**

Уже конец 1910 г. прошел под знаком революционного подъема. Годы 1911—1914 были годами, когда вплоть до начала войны, до августа 1914 г., каждый месяц приносил факты нарастания рабочего движения. Только рост этого движения совершался в иных условиях, чем рост рабочего движения перед 1905 годом. Он совершался на базе опыта революции 1905 года. Пролетариат был уже не тот. Он многое пережил — полосу забастовок, ряд вооруженных восстаний, громадное массовое движение, пережил годы поражения. В этом был гвоздь вопроса. Это ярко сказывалось во всем, и Ильич, впивавшийся в живую жизнь со всей страстностью, умевший расшифровывать значение каждой фразы, сказанной рабочим, удельный ее вес, чувствовал всем своим существом этот рост пролетариата. Но, с другой стороны, он знал, что не только пролетариат, но и вся обстановка уж не та, что была раньше. Интеллигенция стала уже другой. В 1905 г. широкие слои интеллигенции всячески поддерживали рабочих. Теперь было не то. Характер борьбы, которую поведет пролетариат, был уже ясен. Борьба будет жестокая, непримиримая, пролетариат будет сбрасывать все, что будет стоять на его пути. И нельзя будет бороться его руками за куцую конституцию, как того хотела либеральная буржуазия, не даст рабочий класс сделать ее куцей. Он поведет, а не его поведут. Да и условия борьбы стали другими. Правительство царское тоже имело за плечами опыт революции 1905 г. Теперь оно опутывало всю рабочую организацию целую сеть провокатуры. Это были уже не старые шпики, торчавшие на углах улиц, от которых можно было спрятаться, это были Малиновские, Романовы, Брендинские, Чер-

номазовы, занимавшие ответственные партийные посты. Слежка, аресты — все делалось правительством не наобум, а строго продуманно.

Такая обстановка была настоящим садком для выводки оппортунистов самой высокой марки. Курс ликвидаторов на ликвидацию партии, передового, ведущего отряда рабочего класса, поддерживался широкими слоями интеллигенции. Ликвидаторы как грибы росли и справа, и слева. Каждый кадетиска ладил плюнуть по адресу нелегальной партии. Нельзя было не вести с ними бешеной борьбы. Условия борьбы были неравные. У ликвидаторов сильный легальный центр в России, возможность вести широкую ликвидаторскую работу в массах, у большевиков — борьба за каждую пядь в тяжелейших условиях тогдашнего подполья.

1911 год начался с прорыва цензурных рогаток, с одной стороны, с энергичной борьбы за укрепление партийной нелегальной организации — с другой. Борьба началась внутри заграничного объединения, созданного январским пленумом 1910 г., но скоро перехлестнулась через рамки, пошла своим путем.

Страшно радовал Ильича выход «Звезды» в Питере и «Мысли» в Москве. Заграничные нелегальные газеты доходили до России из рук вон плохо, хуже, чем в период до 1905 г.; за граница и Россия были насыщены провокаторами, благодаря которым все проваливалось. И потому выход в России легальных газет и журналов, где можно было писать большевикам, страшно радовал Ильича...

Партийная школа

Весной 1911 г. наконец удалось устроить под Парижем свою партийную школу. В школу принимались рабочие и меньшевики-партийцы и рабочие-передовцы (отзовисты), но и тех и других было очень небольшое меньшинство.

Первыми приехали питерцы — два рабочих-металлиста — Белостоцкий (Владимир), другой — Георгий (фамилии не помню), передовец и работница Вера Васильева. Публика все приехала развитая, передовая. В первый вечер, когда они появились на горизонте, Ильич повел их ужинать куда-то в кафе, и я помню, как горячо проговорил он с ними весь вечер, расспрашивая о Пите-

ре, о их работе, нащупывал в их рассказах признаки подъема рабочего движения. Пока что Николай Александрович Семашко устроил их неподалеку от себя в пригороде Парижа Фонтеней-о-Роз, где они подчитывали разную литературу в ожидании, когда подъедут остальные ученики. Затем приехали двое москвичей: один — кожевник, Присягин, другой — текстильщик, не помню фамилии. Питерцы скоро сошлись с Присягиным. Был он незаурядным рабочим, в России уже перед тем редактировал нелегальную газету кожевников «Посадчик», хорошо писал, но был ужасно застенчив: начнет говорить, и руки у него дрожат от волнения. Белостокский его поддразнивал, но очень мягко, добродушно.

Во время гражданской войны Присягин был расстрелян Колчаком как председатель губпрофсовета в Барнауле...

Школу решили организовать в деревне Лонжюмо, в 15 километрах от Парижа, в местности, где не жило никаких русских, никаких дачников. Лонжюмо представляло собою длинную французскую деревню, растянувшуюся вдоль шоссе, по которому каждую ночь непременно ехали возы с продуктами, предназначенными для насыщения «брюха Парижа». В Лонжюмо был небольшой кожевенный заводик, а кругом тянулись поля и сады. План поселения был таков: ученики снимают комнаты, целый дом снимает Инесса. В этом доме устраивается для учеников столовая. В Лонжюмо поселяемся мы и Зиновьевы. Так и сделали. Хозяйство все взяла на себя Катя Мазанова, жена рабочего, бывшего в ссылке вместе с Мартовым в Туруханске, а потом нелегально работавшего на Урале. Катя была хорошей хозяйкой и хорошим товарищем. Все шло как нельзя лучше. В доме, который сняла Инесса, поселились тогда наши вольнослушатели: Серго (Орджоникидзе), Семен (Шварц), Захар (Бреслав). Серго незадолго перед тем приехал в Париж. До этого жил он одно время в Персии, и я помню обстоятельную переписку, которая с ним велась по выяснению линии, которую занял Ильич по отношению к плехановцам, ликвидаторам и впередовцам. С группой кавказских большевиков у нас всегда была особенно дружная переписка. На письмо о происходящей за границей борьбе долго что-то не было ответа, а потом раз приходит консьержка и говорит: «Пришел какой-то человек, ни слова не говорит по-французски, должно быть,

к вам». Я спустилась вниз — стоит кавказского вида человек и улыбается. Оказался Серго. С тех пор он стал одним из самых близких товарищей. Семена Шварца мы знали давно. Его особенно любила моя мать, в присутствии которой он рассказывал как-то, как впервые, молодым девятнадцатилетним парнем, распространял листки на заводе, представившись пьяным. Был он николаевским рабочим. Бреслава знали также с 1905 г. по Питеру, где он работал в Московском районе.

Таким образом, в доме Инессы жила все своя публика. Мы жили на другом конце села и ходили обедать в общую столовую, где хорошо было поболтать с учениками, порасспросить их о разном, можно было регулярно обсуждать текущие дела.

Мы нанимали пару комнат в двухэтажном каменном домишке (в Лонжюмо все дома были каменные) у рабочего-кожевника и могли наблюдать быт рабочего мелкого предприятия. Рано утром уходил он на работу, приходил к вечеру совершенно измученный. При доме не было никакого садика. Иногда выносили на улицу ему стол и стул, и он подолгу сидел, опустив усталую голову на истомленные руки. Никогда никто из товарищей по работе не заходил к нему. По воскресеньям он ходил в костел, возвышавшийся наискось от нас. Музыка захватывала нас. В костел приходили петь монахини с чудесными оперными голосами, пели Бетховена и пр., и понятно, как захватывало это рабочего-кожевника, жизнь которого протекала так тяжело и беспросветно. Невольно напрашивалось сравнение с Присягиным, тоже кожевником по профессии, жизнь которого была не легче, но который был сознательным борцом, общим любимцем товарищей. Жена французского кожевника с утра надевала деревянные башмаки, брала в руки метлу и шла работать в соседний замок, где она была поденщицей. Дома за хозяйку оставалась девочка-подросток, которая целый день возилась в полутемном, сыром помещении с хозяйством и с младшими братишками и сестренками. И к ней никогда не приходили никакие подруги, и у ней тоже была в будни только возня по хозяйству, в праздники — костел. Никогда никому в семье кожевника не приходила в голову мысль о том, что неплохо бы кое-что изменить в существующем строе. Бог ведь создал богачей и бедняков, значит, так и надо — рассуждал кожевник...

Скоро съехались все ученики...

Занятия происходили очень регулярно. Владимир Ильич читал лекции по политической экономии (30 лекций), по аграрному вопросу (10 лекций), теорию и практику социализма (5 лекций). Семинарскую работу по политической экономии вела Инесса. Зиновьев и Каменев читали историю партии, пару лекций читал Семашко. Из других лекторов — Рязанов читал лекцию по истории западноевропейского рабочего движения, Шарль Раппопорт — по французскому движению, Стеклов и Финн-Енотаевский — по государственному праву и бюджету, Луначарский — по литературе и Станислав Вольский — по газетной технике.

Занимались много и усердно. По вечерам иногда ходили в поле, где много пели, лежали под скирдами, говорили о всякой всячине. Ильич тоже иногда ходил с нами...

Мне приходилось довольно часто ездить в Париж, в экспедицию, где видалась по делам с публикой. Это было необходимо, чтобы избежать приездов в Лонжюмо. Ученики все собирались ехать немедленно в Россию на работу, и надо было принимать меры, чтобы хоть несколько законспирировать их пребывание в Париже. Ильич был очень доволен работой школы. В свободное время ездили мы с ним, по обыкновению, на велосипеде, поднимались на гору и ехали километров за пятнадцать, там был аэродром. Заброшенный вглубь, он был гораздо менее посещаем, чем аэродром Жювизи. Мы были часто единственными зрителями, и Ильич мог вволю любоваться маневрами аэропланов.

В половине августа мы переехали обратно в Париж...

Парижская большевистская группа представляла собою в 1911 г. довольно сильную организацию. Туда входили тт. Семашко, Владимирский, Антонов (Бритман), Кузнецов (Сапожков), Беленькие (Абрам, потом и его брат Гриша), Инесса, Сталь, Наташа Гопнер, Котляренко, Чернов (настоящей фамилии не помню), Ленин, Зиновьев, Каменев, Лилина, Таратута, Марк (Любимов), Лева (Владимиров) и др. Всего было свыше 40 человек. В общем и целом у группы были порядочные связи с Россией и большой революционный опыт. Борьба с ликвидаторами, с троцкистами и др. закаляла группу. Группа оказывала немало содействия русской работе, вела кое-какую работу среди французов и среди широкой ра-

бочей эмигрантской публики. Такой публики было довольно много в Париже. Одно время мы пробовали с т. Сталь повести работу среди женской эмигрантской массы работниц: шляпочниц, швеек и пр. Был целый ряд собраний, но мешала недооценка этой работы. На каждом собрании кто-либо непременно заводил бузу: «А почему нужно созывать непременно женское собрание», — так и завяло это дело, хотя известную долю пользы оно, может быть, и принесло...

В октябре покончили с собой Лафарги. Эта смерть произвела на Ильича сильное впечатление. Вспоминали мы нашу поездку к ним. Ильич говорил: «Если не можешь больше для партии работать, надо уметь посмотреть правде в глаза и умереть так, как Лафарги». И хотелось ему сказать над телом Лафаргов, что недаром прошла их работа, что дело, начатое ими, дело Маркса, с которым и Поль Лафарг, и Лаура Лафарг так тесно были связаны, ширится, растет и перекидывается в далекую Азию. В Китае как раз поднималась в это время волна массового революционного движения. Владимир Ильич написал речь, Инесса ее перевела. Я помню, как, волнуясь, он говорил ее от имени РСДРП на похоронах.

Перед Новым годом большевики собрали совещание большевистских заграничных групп. Настроение было бодрое, хотя нервы у всех порядком-таки расшатала эмиграция.

Начало 1912 года

Шла усиленная подготовка к конференции. Владимир Ильич списался с чешским представителем социал-демократии в Международном социалистическом бюро Немцем об устройстве конференции в Праге. Прага представляла то преимущество, что там не было русской колонии, что важно было с конспиративной точки зрения, да и Владимир Ильич знал Прагу по первой эмиграции, когда он жил там некоторое время у Модрачека...

Пражская конференция была первой партийной конференцией с русскими работниками, которую удалось созвать после 1908 г. и на ней деловым образом обсудить вопросы, касающиеся русской работы, выработать четкую линию этой работы... Четкая партийная линия по вопросам русской работы, настоящее руководство *практической* работой — вот что дала Пражская конференция.

В этом было ее громадное значение...

Несомненно, конференция была крупным шагом вперед: клала конец развалу русской работы...

...Ленские события, разразившиеся в половине апреля, повсеместные стачки протеста ярко выявили, как вырос за эти годы пролетариат, как ничего не забыто им, выявили, что сейчас уже движение подымается на высшую ступень, что создается уже совсем иная обстановка для работы.

Ильич стал другим, сразу стал гораздо менее нервным, более сосредоточенным, думал больше о задачах, вставших перед русским рабочим движением. Настроение Ильича вылилось, пожалуй, полнее всего в его статье о Герцене, написанной им в начале мая. В этой статье очень много от Ильича, от того ильичевского горячего пафоса, который так увлекал, так захватывал. «Чествуя Герцена, мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской революции,— писал он.— Сначала — дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию.

Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями «Народной воли». Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом. «Молодые штурманы будущей бури» — звал их Герцен. Но это не была еще сама буря.

Буря, это — движение самих масс. Пролетариат, единственный до конца революционный класс, поднялся во главе их и впервые поднял к открытой революционной борьбе миллионы крестьян. Первый натиск бури был в 1905 году. Следующий начинает расти на наших глазах». Еще несколько месяцев тому назад Владимир Ильич как-то с грустью говорил Анне Ильиничне, приехавшей в Париж: «Не знаю уж, придется ли дожить до следующего подъема», — теперь он ощущал уже всем существом своим поднимающуюся бурю — движение самих масс.

Когда вышел первый номер «Правды»¹, мы стали собираться в Краков; Краков был во многих отношениях удобнее Парижа. Удобнее было в полицейском отноше-

¹ Первый номер газеты «Правда» вышел 22 апреля (5 мая) 1912 г.

нии. Французская полиция всячески содействовала русской полиции. Польская полиция относилась к полиции русской, как и ко всему русскому правительству, враждебно. В Кракове можно было быть спокойным в том отношении, что письма не будут вскрываться, за приездами не будет слежки. Да и русская граница была близка. Можно было часто приезжать из России. Письма и пакеты шли в Россию без всякой волокиты. Мы спешно собирались. Владимир Ильич повеселел, особенно внимателен был к остающимся товарищам. Наша квартира превратилась в проходной двор.

Помню, пришел и Курнатовский. Мы Курнатовского знали по ссылке в Шуше. Это была уже третья ссылка, которую он отбывал; он кончил Цюрихский университет, был инженером-химиком и работал на сахарном заводе около Минусинска. Вернувшись в Россию, он скоро опять влетел в Тифлисе, два года просидел в тюрьме в Метехском замке, потом был отправлен в Якутку, по дороге попал в «романовскую историю»¹ и был приговорен в 1904 г. к 12 годам каторги. В 1905 г. был амнистирован, организовал Читинскую республику², был захвачен Меллером-Закомельским³, потом передан Ренненкампфу. Его приговорили к смертной казни и возили в поезде, чтобы он видел расстрелы. Потом смертную казнь заменили вечным поселением. В 1906 г. Курнатовскому удалось бежать из Нерчинска в Японию. Оттуда он переехал в Австралию, где очень нуждался, одно время

¹ «Романовской историей» называлось вооруженное нападение на ссыльных Якутской области в 1904 г., совершенное по распоряжению властей за то, что ссыльные заявили протест против неслыханного гнета и произвола администрации по отношению к политическим ссыльным. Протестовавшие заперлись 18 февраля в доме якута Романова (отчего протест назван «романовским»). Во время перестрелки, происходившей с обеих сторон, был убит ссыльный т. Матлаков и трое ранены, со стороны солдат было убито двое. 7 марта «романовцы» сдались. Участников протеста судил якутский суд. Каждый из 55 подсудимых был приговорен к каторжным работам на 12 лет.— *Прим. авт.*

² Читинская, или Забайкальская, республика — период фактического захвата власти в Чите в конце 1905 г. рабочими железнодорожных мастерских, к которым примкнули возвращавшиеся из Маньчжурии после окончания русско-японской войны солдаты. 21 января в Читу прибыл карательный отряд с ген. Ренненкампфом во главе и затопил в крови движение.— *Прим. авт.*

³ Генерал Меллер-Закомельский прославился своими карательными экспедициями в Прибалтийском крае и в Сибири в 1905—1906 гг.— *Прим. авт.*

был лесорубом, простудился, началось у него какое-то воспаление уха, надорвал он все силы. Еле добрался до Парижа.

Исключительно тяжелая доля скрутила его вконец. Осенью 1910 г., по его приезду, мы с Ильичем ходили к нему в больницу — у него были страшные головные боли, мучился он ужасно. Его навещала Екатерина Ивановна Окулова с дочуркой Ириной, которая детскими каракулями писала что-то Курнатовскому, наполовину оглохшему. Потом он поправился немного. Попал он к примиренцам и как-то в разговоре стал говорить тоже примиренческое. После этого у нас на время расстроилось знакомство: нервы плохие у всех были. Но осенью 1911 г. я зашла раз к нему, — он нанимал комнатку на бульваре Монпарнас, — занесла наши газеты, рассказала про школу в Лонжюмо, и мы долго проговорили с ним по душам. Он безоговорочно соглашался с линией Центрального Комитета. Ильич обрадовался и последнее время частенько заходил к Курнатовскому. Курнатовский смотрел, как мы укладывались, как весело паковала что-то моя мать, и сказал: «Есть вот ведь энергия у людей». Осенью 1912 г., уже когда мы были в Кракове, Курнатовский умер.

Мы передали нашу квартиру какому-то поляку, краковскому регенту, который брал квартиру с мебелью и усиленно допрашивал Ильича о хозяйственных делах: «А гуси почему? А телятина почему?» Ильич не знал, что сказать: «Гуси??.. Телятина??..» Мало имел Ильич отношения к хозяйству, но и я ничего не могла сказать о гусях и телятине, ибо в Париже ни того, ни другого мы не ели, а ценой конины и салата регент не интересовался.

У нашей парижской публики была в то время сильная тяга в Россию: собирались туда Инесса, Сафаров и др. Мы пока перебирались только поближе к России.

Краков 1912—1914 гг.

Краковская эмиграция не походила на парижскую или швейцарскую. По существу дела это была полуэмиграция. В Кракове мы почти целиком жили интересами русской работы. Связи с Россией установились очень быстро самые тесные. Газеты из Питера приходили на третий день. В России стала в это время выходить

«Правда». «А в России революционный подъем, не иной какой-либо, а именно революционный,— писал Владимир Ильич Горькому.— И нам удалось-таки поставить ежедневную «Правду» — между прочим, благодаря именно той (январской) конференции, которую лают дураки». С «Правдой» налажены были самые тесные отношения. Чуть не ежедневно писал Ильич в «Правду» статьи, посылал туда письма, следил за работой «Правды», вербовал для нее сотрудников. Настаивал он всячески, чтобы принимал в ней участие Горький. Писал также регулярно в «Правду» и Зиновьев, и Лилина, которая подбирала для нее интересный заграничный материал. Ни из Парижа, ни из Швейцарии было бы немислимо наладить такое планомерное сотрудничество. Переписка с Россией была также быстро налажена. Краковские товарищи научили нас, как наиболее конспиративно наладить это дело. Важно, чтобы на письмах не было заграничного штемпеля, тогда на них русская полиция обращала меньше внимания. Крестьянки, приезжавшие на базар из России, за небольшую плату брали наши письма и бросали их в ящик уже в России.

В Кракове жило около 4 тысяч польских эмигрантов.

Когда мы приехали в Краков, нас встретил товарищ Багоцкий — польский эмигрант, политкаторжанин, который сразу же взял шефство над нами и помогал нам во всех житейских и конспиративных делах. Он научил нас, как пользоваться полупасками (так назывались проходные свидетельства, по которым ездили жители приграничной полосы и с русской, и с галицкой стороны). Полупаски стоили гроши, а самое главное — они до чрезвычайности облегчали переезд через границу нашей нелегальной публике. Мы переправляли по полупаскам многих товарищей. Переправили таким путем Варвару Николаевну Яковлеву. Она перед тем бежала за границу из ссылки, где захворала туберкулезом, чтобы подлечиться и повидаться с братом, который жил в Германии. Обрато она ехала через Краков, надо было условиться о переписке, о работе. Проехала она благополучно. Только недавно я узнала, что при переезде через границу жандармы обратили внимание на то, что у нее большой чемодан, и хотели выяснить, туда ли она едет, куда взят был билет. Но кондуктор предупредил ее об этом и за определенную плату предложил купить ей билет до Варшавы, с которым она благополучно и про-

следовала дальше. По полупаску переправляли мы раз и Сталина. Надо было, когда на границе вызывают владельца полупасков, вовремя откликнуться по-польски и сказать «естем» («тут»). Помню, как я старалась обучить сей премудрости товарищей. Очень быстро налажен был и нелегальный переход через границу. С русской стороны были налажены явки через т. Крыленко, который жил в это время недалеко от границы — в Люблине. Таким путем можно было переправлять и нелегальную литературу. Надо сказать, что в Кракове полиция не чинила никакой слежки, не просматривала писем и вообще не находилась ни в какой связи с русской полицией. Однажды мы убедились в этом. К нам приехал как-то московский рабочий т. Шумкин за литературой, которую он хотел провезти в панцире (особо сшитом и набитом литературой жилете). Был он большой конспиратор. Ходил по улице, нахлобучив фуражку на глаза. Мы пошли на митинг, повели и его с собой. Но он не пошел с нами, найдя, что это неконспиративно, а пошел следом на известном расстоянии. Своим конспиративным видом он обратил на себя внимание краковской полиции. Пришел на другой день к нам полицейский чиновник и спросил, знаем ли мы приехавшего к нам человека и ручаемся ли за него. Мы сказали, что ручаемся. Шумкин настаивал на том, что он все же возьмет литературу; мы его пробовали отговаривать, но он настоял на своем и проехал благополучно.

Мы приехали летом, и т. Багоцкий присоветовал нам поселиться в краковском предместье, так называемом Звежинце... Грязь там была невероятная, но близко была река Висла, где можно было великолепно купаться, и километрах в пяти Вольский ляс — громадный чудесный лес, куда мы частенько ездили с Ильичем на велосипедах. Осенью мы переехали в другой конец города, во вновь отстроенный квартал...

Краков Ильичу очень нравился, он напоминал Россию. Новая обстановка, отсутствие эмигрантской суеты успокоили немного нервы. Внимательно вглядывался Ильич в мелочи быта краковского населения, его бедности, его рабочего люда. Мне тоже Краков нравился. Когда-то в раннем детстве, в возрасте от двух до пяти лет, я жила в Польше, кое-что осталось в памяти, и мне милы казались деревянные открытые галерейки во дворах, напоминали они мне те галерейки, на сту-

пеньках которых я играла когда-то с польскими и еврейскими ребятами; мне милы казались «огрудки» (сидики), в которых продавалось «квасьне млеко с земляками» (кислое молоко с картофелем). Матери моей тоже это напоминало ее молодые годы, а Ильич радовался тому, что вырвался из парижского пленения; он весело шутил, подхваливал и «квасьне млеко», и польскую «моцну старку» (крепкую водку).

Из нас лучше всех польский язык знала Лилина; я знала язык плоховато, кое-что помнила с детства да в Сибири и Уфе немного занималась польским языком, но говорить сразу же пришлось по хозяйственной линии. С хозяйством дело было много труднее, чем в Париже. Не было газа, надо было топить плиту. Я попробовала было по парижскому обычаю спросить в мясной мясе без костей. Мясник воззрился на меня и заявил: «Господь бог корову сотворил с костями, так разве могу я продавать мясо без костей?» На понедельник булки надо было запастись заранее, потому что в понедельник булочки опохмелялись, и булочные были закрыты и т. д. и т. п. Надо было уметь торговаться. Были лавки польские, и были лавки еврейские. В еврейских лавках все можно было купить вдвое дешевле, но надо было уметь торговаться, уходить из лавки, возвращаться и пр., терять на это массу времени.

Евреи жили в особом квартале, ходили в особой одежде. В больнице, в ожидании приема у доктора, ожидающие больные всерьез вели дискуссию о том, еврейское дитя такое же, как польское, или нет, проклято оно или нет. И тут же сидел молча еврейский мальчик и слушал эту дискуссию. Власть католического духовенства — ксендзов — в Кракове была безгранична. Ксендзы оказывали материальную помощь погорельцам, старухам, сиротам, монастыри женские подыскивали места прислуге и защищали ее права перед хозяевами, церковные службы были единственным развлечением забитого, темного населения. В Галиции прочно еще держались крепостнические обычаи, которые католическая церковь поддерживала. Например, барыня в шляпке на базаре нанимает прислугу. Стоит человек десять крестьянок, желающих наняться в прислуги, и все целуют у барыни руку. За все полагалось давать на чай. Получив на чай, столяр или извозчик валяются на колени и кланяются в землю. Но зато и ненависть к барам

здоровая жила в массах... Нищета, затоптанность крестьян и бедного люда проглядывала во всех мелочах и была еще больше, чем в то время даже у нас в России...

Выборы в Государственную думу *

В Питер для подготовки избирательной кампании из наших заграничных поехали из Парижа близкие товарищи — Сафаров и Инесса. Ехали с чужими паспортами. Инесса заезжала к нам в Краков, когда мы жили еще в Звежинце. Два дня прожила у нас, сговорились с ней обо всем, снабдили ее всякими адресами, связями, обсудили они с Ильичем весь план работы. По дороге Инесса должна была заехать к Николаю Васильевичу Крыленко, который жил в Польше неподалеку от галицкой границы, в Люблине, чтобы организовать через него переход через границу для едущих в Краков. Через Инессу и Сафарова знали мы довольно подробно о том, что делается в Питере. Они там, разыскав связи, повели большую массовую работу по ознакомлению рабочих с резолюциями Пражской конференции и теми задачами, которые стоят теперь перед партией. Нарвский район стал их базой. Восстановлен был Петербургский комитет (ПК), а потом образовано Северное областное бюро, куда, кроме Инессы и Сафарова, вошли Шотман и его товарищи Рахья и Правдин. С ликвидаторами шла в Питере острая борьба. Работа Северного областного бюро подготовила почву для выборов в депутаты от Питера Бадаева — большевика, рабочего-железнодорожника. В рабочих массах Питера ликвидаторы теряли влияние; рабочие видели, что вместо революционной борьбы ликвидаторы становились на путь реформы, по существу дела стали вести линию либеральной рабочей политики. С ликвидаторами необходима была непримиримая борьба. Вот почему Владимира Ильича так волновало, что «Правда» вначале упорно вычеркивала из его статей полемику с ликвидаторами. Он писал в «Правду» сердитые письма. Лишь постепенно вязалась «Правда» в эту борьбу.

В Петербурге выборы уполномоченных по рабочей курии были назначены на воскресенье 16 сентября. Полиция готовилась к выборам. 14-го были арестованы Инесса и Сафаров. Но не знала еще полиция, что 12-го приехал бежавший из ссылки Сталин. Выборы по рабо-

чей курии прошли с большим успехом, они не дали ни одного правого кандидата, повсюду приняты были резолюции политического характера.

Весь октябрь все внимание было приковано к выборам. Рабочая масса по традиции и в силу отсталости в целом ряде мест относилась еще равнодушно к выборам, не придавала им значения, нужна была широкая агитация. Все же везде прошли в депутаты от рабочих социал-демократы. Выборы во всех рабочих куриях крупнейших промышленных центров дали победу большевикам. Прошли рабочие партийцы, пользовавшиеся большим авторитетом. Большевистских депутатов в Думу попало шесть человек, меньшевиков — семь, но рабочие депутаты-большевики были представителями от миллиона рабочих, меньшевики — менее чем от 1/4 миллиона. Кроме того, с первых же шагов почувствовалась большая организованность, большая сплоченность большевистских депутатов. Дума открылась 18 октября и сопровождалась рабочими демонстрациями и забастовками. Большевистским депутатам приходилось работать в Думе вместе с меньшевиками. Между тем за последнее время внутрипартийные отношения обострились. В январе состоялась Пражская конференция, которая сыграла крупную роль в организации большевистских сил...

А в России рабочее движение шло на подъем. Это показали выборы.

Тотчас после выборов к нам приехал т. Муранов, приехал нелегально, перешел через границу. Ильич так и ахнул. «Вот был бы скандал, — говорил он Муранову, — если бы вы провалились! Вы депутат, обладаете неприкосновенностью, ничего не могло бы вам повредить, если бы приехали легально. А так мог бы произойти скандал». Муранов рассказал много интересного о выборах в Харькове, о своей партийной работе, о том, как он распространял листки через жену, как она ходила с ними на базар и пр. Муранов был заядлым конспиратором, как-то не укладывалось у него в голове понятие «депутатская неприкосновенность». Поговорив с ним о предстоящей думской работе, Ильич стал торопить Муранова ехать обратно. В дальнейшем депутаты приезжали уже открыто.

Первое совещание с депутатами состоялось в конце декабря — начале января.

Первым приехал Малиновский, приехал какой-то очень возбужденный. В первую минуту он мне очень не понравился, глаза показались какими-то неприятными, не понравилась его деланная развязность, но это впечатление стерлось при первом же деловом разговоре. Затем подъехали еще Петровский и Бадаев. Депутаты рассказали о первом месяце своей работы, о своей работе с массами. Я помню, как Бадаич, стоя в дверях и размахивая фуражкой, говорил: «Массы, они ведь подросли за эти годы». Малиновский производил впечатление очень развитого, влиятельного рабочего. Бадаев и Петровский, видимо, смущались, но сразу было видно — настоящие, надежные пролетарии, на которых можно положиться. Намечен был на этом совещании план работы, обсужден характер выступлений, характер работы с массами, необходимость самой тесной увязки с работой партии, с ее нелегальной деятельностью. На Бадаева была возложена обязанность заботиться о «Правде». Приезжал тогда с депутатами т. Медведев, рассказывал про свою работу по печатанию листовок и пр. Ильич был страшно доволен. «Малиновский, Петровский и Бадаев,— писал он Горькому 1 января 1913 г.,— шлют Вам горячий привет и лучшие пожелания». И добавил: «Краковская база оказалась полезной: вполне «окупил-ся» (с точки зрения дела) наш переезд в Краков».

Осенью, в связи с вмешательством в балканские дела великих держав, очень сильно запахло войной. Международное бюро организовало повсюду митинги протеста. Были они и в Кракове. Но в Кракове митинг протеста был довольно своеобразный. Он гораздо больше был митингом, организующим ненависть масс к России, чем митингом протеста против войны...

В краковский период — в годы перед началом империалистической войны — Владимир Ильич уделял очень много внимания национальному вопросу. С ранней молодости привык он ненавидеть всякий национальный гнет.

Слова Маркса, что нет большего несчастья для нации, чем покорить себе другую нацию, были для него близки и понятны.

Надвигалась война, росли националистические настроения буржуазии, национальную вражду разжигала буржуазия всячески. Надвигавшаяся война несла с собой угнетение слабых национальностей, подавление их

самостоятельности. Но война должна будет неминуемо — для Ильича это было несомненно — перерасти в восстание, угнетенные национальности будут отстаивать свою независимость. Это их право...

Споры по национальному вопросу, возникшие еще во время II съезда нашей партии, развернулись с особой остротой перед войной, в 1913—1914 гг., потом продолжались в 1916 г., в разгар империалистической войны. Ильич в этих спорах играл ведущую роль, четко и твердо ставил вопросы, и эти споры не прошли бесследно. Они дали возможность нашей партии правильно разрешить национальный вопрос в рамках Советского государства, создав Союз Советских Социалистических Республик, который не знает неравноправных национальностей, какого-либо сужения их прав. Мы видим в нашей стране быстрый культурный рост национальностей, находившихся раньше под нестерпимым гнетом, мы видим, как все теснее и теснее растет смычка всех национальностей в СССР, объединяющихся на общей социалистической стройке.

Было бы ошибкой, однако, думать, что национальный вопрос заслонял в краковский период у Ильича такие вопросы, как крестьянский вопрос, которому он всегда придавал громадное значение. За краковский период Владимир Ильич написал 40 статей по крестьянскому вопросу...

В многочисленных своих статьях, писанных за краковский период, Ильич охватывает целый ряд важнейших вопросов, дающих яркую картину положения крестьянского и помещичьего хозяйств, рисующих аграрную программу различных партий, вскрывающих характер правительственных мероприятий, будящих внимание к целому ряду вопросов чрезвычайной важности: тут и переселенческое дело, и наемный труд в сельском хозяйстве, и детский труд, и торговля землей, и мобилизация крестьянских земель, и пр. Знал деревню и крестьянские нужды Ильич очень хорошо, и всегда чувствовали, видели это и рабочие, и крестьяне.

Революционное движение на подъеме *

Подъем революционного движения в конце 1912 г. и та роль, которую играла в этом подъеме «Правда», был очевиден для всех, в том числе и для впереводцев...

Особенностью Ильича было то, что он умел отделять принципиальные споры от склоки, от личных обид и интересы дела умел ставить выше всего. Пусть Плеханов ругал его ругательски, но если с точки зрения дела важно было с ним объединиться, Ильич на это шел. Пусть Алексинский с дракой врывался на заседание группы, всячески безобразил, но если он понял, что надо работать в «Правде», пойти против ликвидаторов, стоять за партию, Ильич искренне этому радовался. Таких примеров можно привести десятки. Когда Ильича противник ругал, Ильич кипел, огрызался вовсю, отстаивая свою точку зрения, но когда вставали новые задачи и выяснялось, что с противником можно работать вместе, тогда Ильич умел подойти ко вчерашнему противнику как к товарищу. И для этого ему не нужно было делать никаких усилий над собой. В этом была громадная сила Ильича. При всей своей принципиальной настороженности он был большой оптимист по отношению к людям. Ошибался он другой раз, но в общем и целом этот оптимизм был для дела очень полезен. Но, если принципиальной спетости не получалось, не было и примирения...

В краковский период мысли Владимира Ильича шли уже по линии социалистического строительства. Конечно, сказать это можно только условно, ибо неясен был в то время даже еще путь социалистической революции в России, и все же без краковского периода полуэмиграции, когда руководство политической борьбой думской фракции наталкивало на все вопросы хозяйственной и культурной жизни во всей их конкретности, трудно было бы в первое время после Октября сразу схватывать все необходимые звенья советского строительства. Краковский период был своеобразной «нулевой группой» (приготовительным классом) социалистического строительства. Конечно, пока это была лишь самая черновая постановка этих вопросов, но она была так жизненна, что имеет значение и по сию пору.

Очень много в это время Владимир Ильич уделял внимания вопросам культуры. В конце декабря в Питере были аресты и обыски среди учащихся гимназии Витмер. Гимназия Витмер не походила, конечно, на другие гимназии. Заведующая гимназией и ее муж в 90-х годах принимали активное участие в первых марксистских кружках, в 1905—1907 гг. они оказывали разные

услуги большевикам. В гимназии Витмер никто не запрещал учащимся заниматься политикой, устраивать кружки и пр. Вот на эту-то гимназию и устроила набег полиция. Относительно арестов учащихся был сделан запрос в Думе. Министр Кассо давал объяснения; большинством голосов его объяснения были признаны неудовлетворительными.

В статье, написанной для 3-го и 4-го номеров «Просвещения» за 1913 г., «Возрастающее несоответствие», в главе 10, Владимир Ильич, отмечая, что Государственная дума в связи с арестом учащихся гимназии Витмер выразила недоверие министру народного просвещения Кассо, пишет, что не только это надо знать народу. «Народу и демократии надо знать *мотивы* недоверия, чтобы *понимать* причины явления, признаваемого ненормальным в политике, и чтобы уметь найти *выход* к нормальному». И Ильич разбирает формулы перехода к очередным делам различных партий. Разобрав формулу социал-демократов, Владимир Ильич пишет:

«Едва ли можно признать безупречной и эту формулу. Нельзя не пожелать ей более популярного и более обстоятельного изложения, нельзя не пожелать, что не указана законность занятия политикой и т. д. и т. п.

Но наша критика *всех формул* вовсе не направлена на частности редактирования, а исключительно на *основные политические идеи* авторов. Демократ должен был сказать главное: кружки и беседы *естественны и оправданы*. В этом суть. Всякое осуждение вовлечения в политику, хотя бы и «раннего», есть лицемерие и обскурантизм. Демократ должен был поднять вопрос *от «объединенного министерства» к государственному строю*. Демократ должен был отметить «неразрывную связь», во-1-х, с «господством охранной полиции», во-2-х, с господством в экономической жизни класса крупных помещиков феодального типа». Так учил Владимир Ильич конкретные вопросы культуры связывать с большими политическими вопросами.

Говоря о культуре, Ильич всегда подчеркивал связь культуры с общим политическим и экономическим укладом. Резко выступая против лозунга культурно-национальной автономии, Ильич писал:

«Пока разные нации живут в одном государстве, их связывают миллионы и миллиарды нитей экономического, правового и бытового характера. Как же можно

вырвать школьное дело из этих связей? Можно ли его «изъять из ведения» государства, как гласит классическая, по рельефному подчеркиванию бессмыслицы, бундовская формулировка? Если экономика сплачивает живущие в одном государстве нации, то попытка разделить их раз навсегда для области «культурных» и в особенности школьных вопросов нелепа и реакционна. Напротив, надо добиваться *соединения* наций в школьном деле, чтобы в школе подготавливалось то, что в жизни осуществляется. В данное время мы наблюдаем неравноправие наций и неодинаковость их уровня развития; при таких условиях разделение школьного дела по национальностям *фактически* неминуемо будет *ухудшением* для более отсталых наций. В Америке в южных, бывших рабовладельческих, штатах до сих пор выделяют детей негров в особые школы, тогда как на севере белые и негры учатся вместе»...

Для т. Бадаева летом 1913 г. Ильич написал проект речи в Думе «К вопросу о политике министерства народного просвещения», которую Бадаев и произнес, но председатель не дал ему ее договорить и лишил его слова.

В этом проекте Ильич приводил ряд цифровых данных, рисующих чудовищную культурную отсталость страны, ничтожность средств, отпускаемых на народное образование, показывал, как политика царского правительства заграждает девяти десятым населения путь к образованию. В этом проекте писал Ильич о бесшабашном, бесстыдном, отвратительном произволе правительства в обращении с учителями. И опять приводил сравнение с Америкой. В Америке 11% неграмотных, а среди негров 44% неграмотных. «Но американские негры все же *более чем вдвое* лучше поставлены в отношении «народного просвещения», чем русские крестьяне». Негры потому в 1910 г. были грамотнее русских крестьян, что американский народ полвека тому назад разбил наголову американских рабовладельцев. И русскому народу надо было прогнать свое правительство для того, чтобы стать страной грамотной, культурной.

В речи, написанной для т. Шагова, Ильич писал о том, что только передача помещичьей земли крестьянам может помочь России стать грамотной. В статье, написанной в тот же период, «Что можно сделать для народного образования», Ильич подробно описывал по-

становку библиотечного дела в Америке, писал о необходимости наладить так дело и у нас. В июне же месяце он написал свою статью «Рабочий класс и неомальтузианство», где писал: «Мы боремся лучше, чем наши отцы. Наши дети будут бороться еще лучше, и они победят».

Рабочий класс не гибнет, а растет, крепнет, мужает, сплачивается, просвещается и закаляется в борьбе. Мы — пессимисты насчет крепостничества, капитализма и мелкого производства, но мы — горячие оптимисты насчет рабочего движения и его целей. Мы уже закладываем фундамент нового здания, и наши дети достроят его».

Не только на вопросы культурного строительства обращал внимание Ильич, но и на целый ряд других вопросов, имеющих практическое значение в деле строительства социализма.

Характерны именно для краковского периода такие статьи, как «Одна из великих побед техники», где Владимир Ильич сравнивает роль великих изобретений при капитализме и при социализме. При капитализме изобретения ведут к обогащению кучки миллионеров, для рабочих — к ухудшению общего их положения, к росту безработицы. «При социализме применение способа Рамсея, «освобождая» труд миллионов горнорабочих и т. д., позволит сразу сократить для всех рабочий день с 8 часов, к примеру, до 7, а то и меньше. «Электрификация» всех фабрик и железных дорог сделает условия труда более гигиеничными, избавит миллионы рабочих от дыма, пыли и грязи, ускорит превращение грязных отвратительных мастерских в чистые, светлые, достойные человека лаборатории. Электрическое освещение и электрическое отопление каждого дома избавят миллионы «домашних рабынь» от необходимости убивать три четверти жизни в смрадной кухне.

Техника капитализма с каждым днем все более и более *перерастает* те общественные условия, которые осуждают трудящихся на наемное рабство»...

В Краков заезжало теперь много народу. Ехавшие в Россию товарищи заезжали условиться о работе. Одно время у нас недели две жил Николай Николаевич Яковлев, брат Варвары Николаевны. Он ехал в Москву налаживать большевистский «Наш путь». Был он твердокаменным, надежным большевиком. Ильич очень много

с ним разговаривал. Газету Николай Николаевич наладил, но она скоро была закрыта, а Николай Николаевич арестован. Дело немудреное, ибо «помогал» налаживать «Наш путь» Малиновский, депутат от Москвы. Малиновский много рассказывал о своих объездах Московской губернии, о рабочих собраниях, которые он проводил. Помню его рассказ о том, как на одном из собраний присутствовал городской, очень внимательно слушал и старался услужить. И, рассказывая это, Малиновский смеялся. Малиновский много рассказывал о себе. Между прочим, рассказывал и о том, почему он пошел добровольцем в русско-японскую войну, как во время призыва проходила мимо демонстрация, как он не выдержал и сказал из окна речь, как был за это арестован и как потом полковник говорил с ним и сказал, что он его сгноит в тюрьме, в арестантских ротах, если он не пойдет добровольцем на войну. У него, говорил Малиновский, не было иного выхода. Рассказывал также, что жена его была верующей, и, когда она узнала, что он — атеист, она чуть не кончила самоубийством, что и сейчас у ней бывают нервные припадки. Странны были рассказы Малиновского. Несомненно, доля правды в них была, он рассказывал о пережитом, очевидно только не все договаривал до конца, опускал существенное, неверно излагал многое.

Я потом думала — может быть, вся эта история во время призыва и была правдой, и, может, она и была причиной, что по возвращении с фронта ему поставили ультиматум или стать провокатором, или идти в тюрьму. Жена его действительно что-то болезненно переживала, покушалась на самоубийство, но, может быть, причина покушения была другая, может быть, причиной было подозрение мужа в провокатуре. Во всяком случае, в рассказах Малиновского ложь переплеталась с правдой, что придавало всем его рассказам характер правдоподобности. Вначале и в голову никому не приходило, что Малиновский может быть провокатором...

Ильич придавал «Правде» громадное значение, каждый день почти посылал туда статьи. Усердно подсчитывал, где какие сборы были произведены на «Правду», сколько статей на какую тему было написано и т. д. Ужасно радовался, когда «Правда» помещала удачные статьи, брала правильную линию. Однажды, в конце 1913 г., затребовал Ильич из «Правды» списки подпис-

чиков «Правды», и недели две я сидела насквозь все вечера, разрезала вместе с моей матерью листы и подбирала подписчиков по городам, местечкам. Подписчики были на девять десятых рабочие. Попадается какое-нибудь местечко, где много подписчиков,—справишься, оказывается, там завод какой-нибудь большой, о котором и не знала. Карта распространения «Правды» получалась интересная. Только она не была напечатана, должно быть, Черномазов выбросил ее в корзину, а Ильичу она очень понравилась. Но бывали и хуже случаи — иногда, хотя и редко это было, пропадали без вести и статьи Ильича. Иногда статьи его задерживались, не помещались сразу. Ильич тогда нервничал, писал в «Правду» сердитые письма, но помогало мало...

В половине февраля 1913 г. было в Кракове совещание членов ЦК; приехали наши депутаты...

Только перед этим пришла из дому посылка со всякой рыбиной — семгой, икрой, балыком; я извлекла по этому случаю у мамы кухарскую книгу и соорудила блины. И Владимир Ильич, который любил повкуснее и посытнее угостить товарищей, был архидоволен всей этой мурой...

Когда не было приездов, жизнь наша шла в Кракове довольно однообразно. «Живем, как в Шуше,— писала я матери Владимира Ильича,— почтой больше. До 11 часов стараемся время провести как-нибудь — в 11 ч. первый почтальон, потом 6-ти часов никак дожидаться не можем». К библиотекам краковским Владимир Ильич плохо приспособился. Начал было кататься на коньках, да пришла весна. Под пасху мы пошли с ним в Вольский лес. В Кракове хорошая весна, чудесно было ранней весной в лесу, распушились кустарники желтым цветом, налились ветки деревьев по-весеннему. Пьянит весна. Но назад долго плелись мы, пока дошли до города; домой надо было идти через весь город; трамваи не ходили по случаю страстной субботы, а у меня все силы ушли куда-то. Зимой 1913 г. я прохворала, стало скандальить сердце, дрожать руки, а главное, напала слабость. Ильич настоял, чтобы я пошла к доктору, доктор сказал: тяжелая болезнь, нервы надорвались, сердце переродилось — базедова болезнь, надо ехать в горы, в Закопане. Пришла домой, рассказываю, что сказал доктор. Жена сапожника, приходившая к нам топить печи и ходить за покупками, вознегодовала: «Разве вы нерв-

ная?—это барыни нервные бывают, те тарелками швыряются!» Тарелками я не швырялась, но для работы в таком состоянии была мало пригодна.

На лето мы, Зиновьевы и Багоцкие со своей знаменитой собакой Жуликом, перебрались в Поронин, в 7 километрах от Закопане. Закопане слишкомлюдно было и дорого. Поронин — попроще, подешевле. Наняли дачу большую. Место было высокое — 700 метров, предгорье Татр. Воздух был удивительный, хотя был постоянный туман и накрапывал обычно мелкий дождишко, но в промежутки вид на горы был чудесный. Мы взбирались на плоскогорье, которое начиналось от нашей дачи, и смотрели на белоснежные вершины Татр. Красивые они. Ильич ездил иногда с Багоцким в Закопане, и они вместе с закопанской публикой (Вигелевым) делали большие прогулки по горам. Ходить по горам страшно любил Ильич. Горы мне помогали плохо, я все больше и больше приходила в инвалидное состояние и, посоветовавшись с Багоцким—Багоцкий был врач-невропатолог,—Ильич настоял на поездке в Берн, чтобы оперироваться у Кохера. Поехали в половине июня, по дороге заезжали в Вену... Повидали мы некоторых товарищей — венцев, побродили по Вене. Она — своеобразная, большой отличный город, после Кракова нам очень понравилась. В Берне попали под шефство Шкловских, которые с нами всячески возились. Они нанимали особый домик с садом. Ильич шутил с младшими девочками, дразнил Женюрку. Я пробыла около трех недель в больнице, Ильич полдня сидел у меня, а остальное время ходил в библиотеки, много читал, даже перечитал целый ряд медицинских книг по базедке, делал выписки по интересовавшим его вопросам. Пока я лежала в больнице, он ездил с рефератами по национальному вопросу в Цюрих, Женеву и Лозанну, читал реферат на эту тему и в Берне. В Берне — уже после моего выхода из больницы — состоялась конференция заграничных групп, где обсуждалось положение дел в партии. Надо было бы после операции еще недели две провести в полулежачем состоянии в горах на Беатенберге, куда посылал Кохер, но из Поронина шли вести, что много спешных, экстренных дел, пришла телеграмма от Зиновьева, и мы двинулись в обратный путь.

Заезжали в Мюнхен. Там жил Борис Книпович — племянник Дяденьки, Лидии Михайловны Книпович,

которого я знала с раннего детства, которому рассказывала когда-то сказки. Влезет, бывало, четырехлетний голубоглазый Бориска на колени, обнимет шею и заказывает: «Крупа — сказку об оловянном солдате». В 1905—1907 гг. Борис был активным организатором гимназических социал-демократических кружков. Летом 1907 г. после Лондонского съезда Ильич жил у Книповичей на даче в Финляндии в Стирсуддене. Борис был тогда лишь гимназистом, но уже интересовался марксизмом, прислушивался к тому, что говорил Ильич, знал, с каким уважением и любовью относится к Ильичу Дяденька.

В 1911 г. Борис был арестован и потом выслан за границу, где учился в Мюнхенском университете. В 1912 г. вышла его первая работа «К вопросу о дифференциации русского крестьянства». Он послал ее Ильичу. Сохранилось письмо Ильича к Борису — как-то особенно внимательно к молодому автору и заботливо написанное. «С большим удовольствием прочитал я Вашу книгу и очень рад был видеть, что Вы взялись за большую серьезную работу. На такой работе проверить, углубить и закрепить марксистские убеждения, наверное, вполне удастся». И дальше Ильич делает очень осторожно несколько замечаний, дает несколько методических указаний.

Перечитывая это письмо, я вспоминаю отношение Ильича к малоопытным авторам. Смотрел на суть, на основное, обдумывал, как помочь исправить. Но делал он это как-то очень бережно, так, что и не заметит другой автор, что его поправляют. А помогать в работе Ильич здорово умел. Хочет, например, поручить кому-нибудь написать статью, но не уверен, так ли тот напишет, так сначала заведет с ним подробный разговор на эту тему, разовьет свои мысли, заинтересует человека, прозондирует его как следует, а потом предложит: «Не напишете ли на эту тему статью?» И автор и не заметит даже, как помогла ему предварительная беседа с Ильичем, не заметит, что вставляет в статью Ильичевы словечки и обороты даже.

Мы хотели заехать в Мюнхен денька на два, посмотреть, каким он стал с того времени, как мы там жили в 1902 г., но так как мы очень торопились, то в Мюнхене пробыли лишь несколько часов — от поезда до поезда. Борис с женой приходили нас встречать, время провели

в ресторане, славившемся каким-то особым сортом пива,— Hof-Brau (Хофбрей) назывался ресторан. На стенах, на пивных кружках везде стоят буквы «Н.В.»— «Народная воля»— смеялась я. В этой-то «Народной воле» и просидели мы весь вечер с Борей. Ильич похваливал мюнхенское пиво с видом знатока и любителя, поговорили они с Борисом о дифференциации крестьянства, вспоминали мы все вместе Дяденьку, Лидию Михайловну Книпович, которая хворала также тяжело базедкой. Ильич тут же настроил ей письмо, убеждая поехать за границу и оперироваться у Кохера. Приехали мы в Поронин в начале августа, кажись, 6-го. В Поронине нас встретил привычный поронинский дождь, Лев Борисович Каменев и целый ряд новостей, касающихся России.

На 9-е было назначено совещание членов Центрального Комитета. «Правда» была закрыта. Стала выходить «Рабочая правда», но почти каждый номер арестовывался. Поднималась стачечная волна, бастовали в Питере, Риге, Николаеве, в Баку...

Шла подготовка партийной конференции, так называемого летнего совещания. Оно состоялось в Поронине 22 сентября—1 октября...

В середине конференции приехала Инесса Арманд. Арестованная в сентябре 1912 г., Инесса сидела по чужому паспорту в очень трудных условиях, порядком подорвавших ее здоровье,— у ней были признаки туберкулеза,— но энергии у ней не убавилось, с еще большей страстностью относилась она ко всем вопросам партийной жизни. Ужасно рады были мы, все краковцы, ее приезду.

Всего на совещании было 22 человека. Решено было поставить вопрос о созыве партийного съезда. Со времен V, Лондонского, съезда прошло уже 6 лет, очень много с тех пор изменилось. Рост рабочего движения делал съезд необходимым. На совещании стояли вопросы о стачечном движении, о подготовке всеобщей политической забастовки, о задачах агитации, издании ряда популярных брошюр, о недопустимости урезывания при агитации лозунгов демократической республики, конфискации помещичьих земель, 8-часового рабочего дня. Обсуждался вопрос, как вести работу в легальных обществах, как вести социал-демократическую работу в Думе. Особое значение имели решения о необходимости добиваться

равноправия большевистской и меньшевистской групп в социал-демократической фракции, о недопустимости заголосовывания одним голосом большевиков со стороны «семерки», представлявшей взгляды лишь незначительного меньшинства рабочих. Другая важная резолюция была принята по национальному вопросу, отражающая целиком взгляды Владимира Ильича по этому вопросу. Помню споры по этому вопросу в нашей кухне, помню страстность, с какой обсуждался этот вопрос...

После совещания мы прожили в Поронине еще около двух недель, много гуляли, ходили как-то на Черный Став, горное озеро замечательной красоты, еще куда-то в горы.

Осенью мы все, вся наша краковская группа, очень сблизилась с Инессой. В ней много было какой-то жизнерадостности и горячности. Мы знали Инессу по Парижу, но там была большая колония, в Кракове жили небольшим товарищеским замкнутым кружком. Инесса наняла комнату у той же хозяйки, где жил Каменев. К Инессе очень привязалась моя мать, к которой Инесса заходила часто поговорить, посидеть с ней, покурить. Уютнее, веселее становилось, когда приходила Инесса.

Вся наша жизнь была заполнена партийными заботами и делами, больше походила на студенческую, чем на семейную жизнь, и мы рады были Инессе. Она много рассказывала мне в этот приезд о своей жизни, о своих детях, показывала их письма, и каким-то теплом веяло от ее рассказов. Мы с Ильичем и Инессой много ходили гулять. Зиновьев и Каменев прозвали нас «партией прогулистов». Ходили на край города, на луг (луг по-польски — «блонь»). Инесса даже псевдоним себе с этих пор взяла — Блонина. Инесса была хорошая музыкантша, сагитировала сходить всех на концерты Бетховена, сама очень хорошо играла многие вещи Бетховена. Ильич особенно любил «Sonate pathétique», просил ее постоянно играть, — он любил музыку. Потом, уже в советские времена, ходил он к Цюрупе слушать, как играл эту сонату какой-то знаменитый музыкант. Много говорил о беллетристике. «Без чего мы прямо тут голодаем — это без беллетристики, — писала я матери Владимира Ильича. — Володя чуть не наизусть выучил Надсона и Некрасова, разрозненный томик «Анны Карениной» перечитывается в сотый раз. Мы беллетристику нашу (ничтожную часть того, что было в Питере) оставили в Париже,

а тут негде достать русской книжки. Иногда с завистью читаем объявления букинистов о 28 томах Успенского, 10 томах Пушкина и пр. и пр.

Володя что-то стал, как нарочно, большим «беллетристом»...

Сначала предполагалось, что Инесса останется жить в Кракове, выпишет себе детей из России; я ходила с ней искать квартиру даже, но краковская жизнь была очень замкнутая, напоминала немного ссылку. Не на чем было в Кракове развернуть Инессе свою энергию, которой у ней в этот период было особенно много. Решила она объехать сначала наши заграничные группы, прочесть там ряд рефератов, а потом поселиться в Париже, там налаживать работу нашего комитета заграничных организаций. Перед отъездом ее мы много говорили о женской работе. Инесса горячо настаивала на широкой постановке пропаганды среди работниц, на издании в Питере специального женского журнала для работниц, и Ильич писал Анне Ильиничне о необходимости издавать такой журнал, который вскоре и начал выходить. Инесса очень много сделала в дальнейшем для развития работы среди работниц, отдала этому делу немало сил...

Зимой, вскоре по возвращении Владимира Ильича из Парижа, решено было отправить в Россию Каменева для руководства «Правдой» и работы с думской фракцией. И газете, и думской фракции была нужна подмога...

...Начались сборы в Россию. Был зимний холодный вечер. Говорили мало, только сынишка Каменева что-то толковал. Настроение у всех было сосредоточенное. Думалось, долго ли удастся Каменеву продержаться? Когда теперь придется встретиться? Когда-то и мы поедem в Россию? Каждый втайне мечтал о России, тянуло туда неудержимо. Мне по ночам все снилась Невская застава. Говорить на эту тему мы избегали, а про себя каждый об этом думал.

8 марта 1914 г. вышел в Питере первый номер «Работницы» — популярного журнала. Стоил номер 4 копейки. Петербургский комитет выпустил листовки о женском дне. В журнал «Работница» писали из Парижа Инесса и Сталь, из Кракова — Лилина и я. Вышло 7 номеров. В восьмом предполагалось дать статьи в связи с предстоящим женским социалистическим конгрессом в Вене, но выйти он не успел — пришла война.

Подготовка к съезду партии *

Партийный съезд ладили устроить во время Международного конгресса, который намечался в августе в Вене. Предполагалось, что часть публики сможет проехать легально. Затем через краковских рабочих-типографщиков намечена была организация массового перехода через границу под видом экскурсантов.

В мае мы переехали опять в Поронин.

Для проведения подготовительной кампании к съезду в Питере были мобилизованы Киселев, Глебов-Авилов, Аня Никифорова. Они приехали в Поронин условиться обо всем с Ильичем. В первый день долго сидели мы на горке около нашей «дачи», и публика рассказывала про русскую работу. Публика молодая, полная энергии, очень понравилась Ильичу. Глебов-Авилов был в свое время учеником Болонской школы, теперь был твердым ленинцем. Ильич посоветовал приехавшим сходить в горы, но самому ему что-то нездоровилось, так что публика отправилась одна. Смеясь, они рассказывали, как и куда они лазили — лазили на очень крутую вершину, как мешали им мешки, как они несли их по очереди, и, когда дошла очередь до Ани, все встречные смеялись и советовали взвалить себе на плечи еще и своих спутников.

Условились о характере агитации на съезд. Получив все необходимые установки, Киселев поехал в Прибалтийский край, а Глебов-Авилов и Аня Никифорова — на Украину...

Инесса на лето выписала детей из России и жила в Триесте у моря. Она готовила доклад к Международному женскому конгрессу, который должен был состояться в Вене одновременно с конгрессом Интернационала...

В России влияние большевиков росло. Как указывает т. Бадаев в своей книжке «Большевики в Государственной думе», к лету 1914 г. в правлениях 14 профессиональных союзов из 18 существующих в Петербурге большинство состояло из большевиков... На стороне большевиков были все наиболее крупные союзы, в том числе и союз металлистов, самый многочисленный и самый мощный из всех профессиональных организаций. Такое же отношение наблюдалось и среди рабочей группы страховых учреждений. В состав столичных страховых органов уполномоченными от рабочих было избрано 37 больше-

виков и всего 7 меньшевиков, а во всероссийские страховые учреждения — 47 большевиков и 10 меньшевиков.

Широко организовались выборы на Международный конгресс в Вене. Большинство рабочих организаций мандаты на Международный социалистический конгресс передавало большевикам.

Успешно развивалась и подготовка к съезду партии. Начиная с весны все подготовительные работы, связанные с созывом съезда, непрерывно усиливались. «Стоявшая перед нами задача,— пишет Бадаев,— в предсъездовский период укрепить и расширить местные партийные ячейки— была в значительной мере разрешена огромным подъемом в эти месяцы революционного движения в стране. Среди рабочих масс усилилась тяга к партии, в партийные организации вступали новые кадры революционно настроенных рабочих. Работа руководящих коллективов партии все время шла на повышение. В связи с этим будущему съезду и стоявшим в порядке дня съезда вопросам было обеспечено большое внимание со стороны партийных рабочих масс». К Бадаеву поступали довольно значительные денежные суммы, собранные в фонд по организации съезда. Он получил уже целый ряд мандатов, резолюций по вопросам, стоящим на съезде, наказов и т. п.

Тов. Бадаев дает яркую картину того, как во всей деятельности легальная деятельность переплеталась с нелегальной. «Летнее время,— пишет он,— способствовало организации нелегальных собраний за городом, в лесах, где мы были в сравнительной безопасности от налетов полиции.

В случае необходимости созывать более или менее расширенные собрания устраивали их под видом загородных экскурсий от имени какого-либо просветительного общества. Отъехав за несколько десятков верст от Петербурга, мы отправлялись «на прогулку» в глубь леса и там, выставив дозоры, указывавшие дорогу только по условному паролю, устраивали собрания... Шпики в огромном количестве вились вокруг всех рабочих организаций, уделяя особенное внимание заведомым центрам партийной работы, каковыми были редакция «Правды» и помещение нашей фракции. Но наряду с усилением деятельности охранки усиливалась и наша конспиративная техника, и хотя аресты отдельных товарищей имели место, но больших провалов не было».

Таким образом, линия, взятая ЦК на развертывание легальной печати, придание ей определенных установок, на развитие думской и внедумской работы фракции, на четкую постановку всех вопросов, на соединение легальной работы с нелегальной, целиком себя оправдывала.

Попытка через Международное социалистическое бюро сорвать эту линию, затормозить работу приводила Ильича в бешенство. Сам он решил на брюссельскую объединительную конференцию не ехать. Поехать должна была Инесса. Она владела французским языком (французский язык был ее родным), не терялась, у ней был твердый характер. Можно было на нее положиться, что она не сдаст. Инесса жила в Триесте, и Ильич послал туда доклад ЦК, составленный им, послал целый ряд указаний, как держаться в том или другом случае, обдумывал все детали. В делегацию ЦК, кроме Инессы, входили еще М. Ф. Владимирский и И. Ф. Попов. Доклад ЦК огласила Инесса на французском языке. Как и следовало ожидать, дело не ограничилось обменом мнений. Каутский от имени Исполнительного бюро внес резолюцию, осуждающую раскол, утверждающую, что коренных разногласий нет. За резолюцию голосовали все, кроме делегации ЦК и латышей, которые отказались принять участие в голосовании, несмотря на угрозы секретаря Международного бюро Гюисманса доложить съезду в Вене, что неголосующие берут на себя ответственность за срыв попыток к единству...

В России тем временем борьба обострялась — росло забастовочное движение, особенно сильно вспыхнувшее в Баку, рабочий класс поддерживал бакинских забастовщиков, в митинг путиловцев в 12 тысяч человек стреляла полиция, схватки с полицией становились все ожесточеннее, депутаты превращались в вождей восстающего пролетариата.

Шла массовая забастовка.

7 июля в Питере бастовало 130 тысяч. Пролетариат готовился к бою. Забастовка не ослабевала, а росла, на улицах красного Питера строились баррикады.

Но пришла война.

1 августа Германия объявила войну России, 3 августа — Франции, 4 августа — Бельгии, в тот же день Англия объявила войну Германии, 6 августа Австро-Венгрия объявила войну России, 11 августа Франция и Англия объявили войну Австро-Венгрии.

Началась мировая война, которая остановила на время нарастающее революционное движение в России, перевернула весь мир, породила ряд глубочайших кризисов, по-новому, гораздо более остро поставила важнейшие вопросы революционной борьбы, подчеркнула роль пролетариата как вождя всех трудящихся, подняла на борьбу новые пласты, сделала победу пролетариата вопросом жизни или смерти для России.

ГОДЫ ВОЙНЫ

Краков

1914 г.

Хотя давно уже все пахло войной, но, когда война была объявлена, это как-то ошарашило всех. Надо было выбираться из Поронина, но куда можно было ехать — было еще совершенно неясно. В это время была тяжело больна Лилина, и Зиновьев все равно никуда не мог двинуться. Жили они в это время в Закопане, где были доктора. Мы решили поэтому пока что сидеть в Поронине. Ильич написал в Копенгаген Кобецкому, просил информировать, завязать связь со Стокгольмом и пр. Местное гуральское (горное) население совершенно было подавлено, когда началась мобилизация. С кем война, из-за чего война — никто ничего не понимал, никакого воодушевления не было, шли как на убой. Наша хозяйка, владелица дачи, крестьянка, была совершенно убита горем — у нее взяли на войну мужа. Ксендз с амвона старался разжечь патриотические чувства. Поползли всякие слухи, и шестилетний соседский мальчонка из бедняцкой семьи, постоянно околачивавшийся у нас, таинственно сообщил мне, что русские — ксендз это говорил — сыплют яд в колодцы.

Арест *

7 августа к нам на дачу пришел поронинский жандармский вахмистр с понятым — местным крестьянином с ружьем — делать обыск. Чего искать, вахмистр хорошенько не знал, порылся в шкафу, нашел незаряженный браунинг, взял несколько тетрадок по аграрному вопросу с цифирью, предложил несколько незначащих вопро-

сов. Понятой смущенно сидел на краешке стула и недоуменно осматривался, а вахмистр над ним издевался. Показывал на банку с клеем и уверял, что это бомба. Затем сказал, что на Владимира Ильича имеется донос и он должен был бы его арестовать, но так как завтра утром все равно придется везти его в Новый Тарг (ближайшее местечко, где были военные части), то пусть лучше Владимир Ильич придет завтра сам к утреннему шестичасовому поезду. Ясно было — грозит арест, а в военное время, в первые дни войны, легко могли мимоходом укокошить. Владимир Ильич съездил к Ганецкому, жившему также в Поронине, рассказал о случившемся. Ганецкий немедля дал телеграмму социал-демократическому депутату Мареку, Владимир Ильич дал телеграмму в краковскую полицию, которая его знала как эмигранта. Ильича беспокоило, как мы вдвоем с матерью останемся в Поронине, одни в большом доме, и он сговорился с т. Тихомирновым, что тот пока поселится у нас в верхней комнате. Тихомирнов недавно вернулся из олонецкой ссылки, и редакция «Правды» послала его в Поронин отдохнуть, привести в порядок разгулявшиеся в ссылке нервы да кстати помочь Ильичу в деле составления сводок по проводившимся в России кампаниям за рабочую печать и др. — на основании материалов, помещенных в «Правде».

Мы с Ильичем просидели всю ночь, не могли заснуть, больно было тревожно. Утром проводила его, вернулась в опустевшую комнату. В тот же день Ганецкий нанял какую-то арбу и в ней добрался до Нового Тарга, добился свидания с окружным начальником — императорско-королевским старостой, наскандалил там, рассказал, что Ильич — член Международного социалистического бюро, человек, за которого будут заступаться, за жизнь которого придется отвечать, видел судебного следователя, рассказал ему также, кто Ильич, и заполучил для меня разрешение на свидание на другой же день. Вместе с Ганецким, по его приезде из Нового Тарга, сочинили мы в Вену письмо члену Международного бюро, австрийскому депутату социал-демократу Виктору Адлеру. В Новом Тарге я получила свидание с Ильичем. Нас оставили с ним вдвоем, но Ильич мало говорил — была еще полная неясность положения. Краковская полиция дала телеграмму, что заподозривать Ульянова в шпионаже нет основания, дал такую же телеграмму Марек из

Закопане, ездил в Новый Тарг один известный польский писатель заступаться за Ильича. Узнав об аресте Ильича, живший в Закопане Зиновьев тотчас же, несмотря на проливной дождь, поехал на велосипеде к старому народо-вольцу — поляку д-ру Длусскому, жившему в 10 верстах от Закопане; Длусский сейчас же нанял фаэтон и поехал в Закопане, стал телеграфировать, писать письма, куда-то пошел для переговоров. Мне давали свидание каждый день. Рано утром с шестичасовым поездом выезжала я в Новый Тарг — езды там час, — потом часов до одиннадцати болталась по вокзалу, почте, базару, потом было часовое свидание с Владимиром Ильичем. Ильич рассказывал о своих тюремных сожителях. Сидело много местных крестьян — кто за то, что паспорт просрочен, кто за то, что налог не внес, кто за препирательство с местной властью; сидел какой-то француз, какой-то чиновник-поляк, ради дешевизны проехавшийся по чужому полупаску, какой-то цыган, который через стену тюремного двора перекликался с приходившей к стенам тюрьмы женой. Ильич вспомнил свою шушенскую юридическую практику среди крестьян, которых вызволял из всяких затруднительных положений, и устроил в тюрьме своеобразную юридическую консультацию, писал заявления и т. п. Его сожители по тюрьме называли Ильича «бычий хлоп», что значит «крепкий мужик». «Бычий хлоп» постепенно акклиматизировался в тюрьме Нового Тарга и приходил на свидание более спокойным и оживленным. В этой уголовной тюрьме по ночам, когда засыпало ее население, он обдумывал, что сейчас должна делать партия, какие шаги надо предпринять для того, чтобы превратить разразившуюся мировую войну в мировую схватку пролетариата с буржуазией. Я передавала Ильичу те новости о войне, которые удавалось добыть.

Не передала следующего. Как-то, возвращаясь с вокзала, я слышала, как шедшие из костела крестьянки громко — очевидно, мне на поучение — толковали о том, что они сами сумеют расправиться со шпионами. Если начальство даже выпустит ненароком шпиона, они выколуют ему глаза, вырежут язык и т. д. Ясно было: оставаться в Поронине, когда выпустят Владимира Ильича, нельзя будет. Я стала укладываться, отбирать то, что надо обязательно будет взять с собой, что придется оставить в Поронине. Хозяйство у нас совсем расстроилось. Домашнюю работницу, которую пришлось взять на

лето ввиду болезни матери и которая рассказывала соседям всякие небылицы про нас, про наши связи с Россией, я постаралась сплавить поскорее в Краков, куда она стремилась, выдав ей деньги на проезд и жалованье вперед. Помогала нам топить русскую печь, ходить за продуктами девочка соседки. Моя мать — ей было уже 72 года — очень плохо себя чувствовала, видела, что что-то случилось, но неясно сознавала, что именно; хотя я ей сказала, что Владимира Ильича арестовали, но временами она толковала, что его мобилизовали на войну; она волновалась, когда я уезжала из дому, ей казалось, что я куда-то исчезну, как исчез Владимир Ильич. Наш сожитель Тихомирнов задумчиво покуривал, разбирал и укладывал книги. Раз надо мне было получить какое-то удостоверение от того крестьянина-понятого, над которым издевался жандарм во время обыска, я ходила к нему куда-то на край села, и долго мы разговаривали с ним в его избе — типичной избе бедняка, — что это за война, кто за что воюет, кто заинтересован в войне, и он дружески провожал меня потом.

Наконец нажим со стороны венского депутата Виктора Адлера и львовского депутата Диаманда, которые поручились за Владимира Ильича, подействовал и 19 августа Владимира Ильича выпустили из тюрьмы. С утра я, по обыкновению, была в Новом Тарге, на этот раз меня даже пустили в тюрьму помочь взять вещи; мы наняли арбу и поехали в Поронин. Пришлось там прожить около недели, пока удалось получить разрешение переехать в Краков. В Кракове мы пошли к той хозяйке, у которой нанимали раньше комнаты Каменев и Инесса. Квартира наполовину была занята санитарным пунктом, но все же хозяйка дала нам какой-то угол. Ей было, впрочем, не до нас. Только что произошла первая битва под Красником, в которой участвовали два ее сына, пошедшие добровольцами на войну, и она не знала, что с ними.

На другой день из окна гостиницы, куда мы переехали, мы наблюдали жуткую картину. Приехал поезд из Красника, привез убитых и раненых. За носилками бежали родственники тех, кто принимал участие в битве под Красником, и заглядывали в лица мертвых и умирающих с боязнью узнать в них своих близких. Те, кто был ранен более легко, с перевязанными головами, руками, медленно двигались от вокзала. Встречавшие по-

езд помогали им нести вещи, предлагали им пиво в кружках, взятых в соседних ресторанах, предлагали пищу. Невольно думалось: вот она, война! — а это была еще первая битва.

В Кракове удалось довольно быстро получить право выехать за границу — в нейтральную страну — Швейцарию... Ехали мы из Кракова до швейцарской границы целую неделю. Долго стояли на станциях, пропуская военные поезда. Наблюдали шовинистскую агитацию, которую вели монахини и группировавшийся около них женский актив. На вокзалах они раздавали солдатам какие-то образки, молитвы и т. п. Ходила по вокзалам выложенная военщина. Вагоны были испещрены разными надписями — директива, что делать с французами, англичанами, русскими: «Jedem Russ ein Schuss!» (Каждого русского пристрели!) На одном запасном пути стояло несколько вагонов с порошком от блох; вагоны эти отправлялись куда-то на фронт.

В Вене останавливались мы на день, чтобы получить нужные удостоверения, устроить дело с деньгами, телеграфировать в Швейцарию, чтобы получить чье-либо поручительство, без чего не пустили бы в Швейцарию. Поручился Грейлих, старейший член социал-демократической партии Швейцарии. В Вене Рязанов возил Владимира Ильича к В. Адлеру, который помог выволить Ильича из-под ареста. Адлер рассказывал, как он разговаривал с министром. Тот спросил: «Уверены ли вы, что Ульянов враг царского правительства?» «О, да! — ответил Адлер. — Более заклятый враг, чем ваше превосходительство». От Вены до швейцарской границы доехали довольно скоро.

Берн

1914—1915 гг.

5 сентября въехали наконец в Швейцарию, направились в Берн.

Мы еще не решили окончательно, где будем жить — в Женеве или Берне. Ильича тянуло на старое пепелище, в привычное место — в Женеву, где хорошо работалось в прежнее время в «Société de Lecture» (общество чтения), где была хорошая русская библиотека и т. д. Но бернцы утверждали, что Женева здорово изменилась, что туда наехало много эмигрантов из других городов,

из Франции, что там теперь невероятная эмигрантская сутолока. Не решив вопрос окончательно, пока сняли комнату в Берне.

Немедленно же Ильич стал списываться с Женевою о том, есть ли там едущие в Россию, их надо было использовать для завязывания связи с Россией, выяснить, сохранилась ли русская типография, можно ли там будет издавать русские листки и т. д.

На другой день по приезде из Галиции собрались все, кто был тогда из большевиков в Берне,— Шкловский, Сафаровы, депутат Думы Самойлов, Гоberman и др., и устроили в лесу совещание, где Ильич развил свою точку зрения на происходящие события. В результате была принята резолюция, в которой давалась характеристика происходящей войне как империалистской, грабительской, и оценивалось поведение вождей II Интернационала, голосовавших за военные кредиты, как измена делу пролетариата; в резолюции говорилось, что: «С точки зрения рабочего класса и трудящихся масс всех народов России наименьшим злом было бы поражение царской монархии и ее войск, угнетающих Польшу, Украину и целый ряд народов России». Резолюция, выдвигая лозунг пропаганды во всех странах социалистической революции, гражданской войны, беспощадной борьбы с шовинизмом и патриотизмом всех без исключения стран, намечала в то же время программу действий для России: борьбу с монархией, проповедь революции, борьбу за республику, за освобождение угнетенных великорусами народностей, за конфискацию помещичьих земель и за восьмичасовой рабочий день.

Бернская резолюция была, по существу дела, вызовом всему капиталистическому миру. Бернская резолюция писалась, конечно, не для того, чтобы храниться под спудом. Прежде всего она была разослана по заграничным секциям большевиков. Затем тезисы взял с собой Самойлов для обсуждения и с русской частью ЦК и думской фракцией. Не известно еще было, какую позицию они заняли. Сношения с Россией были прерваны. Лишь позднее стало известно, что русская часть ЦК и большевистская часть думской фракции сразу взяли верный тон. Для передовых рабочих нашей страны, для нашей партийной организации резолюции международных конгрессов о войне не были просто клочком бумаги, они были руководством к действию.

В первые же дни войны, когда только что была объявлена мобилизация, ЦК выпустил листок с призывом: «Долой войну! Война войне!» Ряд предприятий в Питере бастовал в день мобилизации запасных, была даже попытка организовать демонстрацию. Однако война вызвала такой разгул бешеного черносотенного патриотизма, так укрепила военную реакцию, что сделать много не удалось. Наша думская фракция твердо вела линию борьбы с войной, линию продолжения борьбы с царской властью. Эта твердость произвела впечатление даже и на меньшевиков, и всей социал-демократической фракцией в целом была принята общая резолюция, оглашенная с думской трибуны. Резолюция была написана в очень осторожных выражениях, много было в ней недоговоренного, но это была все же резолюция протеста, вызвавшая общее негодование всех членов Думы. Негодование это возросло, когда социал-демократическая фракция (пока еще вся в целом) не приняла участия в голосовании военных кредитов и в знак протеста покинула зал заседания. Большевицкая организация быстро ушла в глубокое подполье, стала выпускать листки, в которых давались указания, как использовать войну в интересах развертывания и углубления революционной борьбы. Началась антивоенная пропаганда и в провинции. Сообщения с мест говорят о том, что эта пропаганда находит поддержку среди революционно настроенных рабочих. Обо всем этом мы за границей узнали много позднее.

В наших заграничных группах, которые не пережили революционного подъема последних месяцев в России и истомились в эмигрантщине, из которой так хотелось многим во что бы то ни стало вырваться, не было той твердости, которая была у наших депутатов и у русских большевицких организаций. Вопрос для многих был неясен, толковали о том больше, какая сторона нападающая.

В Париже в конце концов большинство группы высказалось против войны и волонтерства, но часть товарищей — Сапожников (Кузнецов), Казаков (Бритман, Свягин), Миша Эдишеров (Давыдов), Моисеев (Илья, Зефир) и др. — пошли в волонтеры во французскую армию. Волонтеры, меньшевики, часть большевиков, социалисты-революционеры (всего около 80 человек) приняли декларацию от имени «русских республиканцев»,

которую опубликовали во французской печати. Перед уходом волонтеров из Парижа Плеханов сказал им напутственную речь.

Большинство Парижской группы осудило добровольчество. Но и в других группах вопрос был выяснен не до конца. Владимир Ильич понимал, что в такой серьезнейший момент имеет особое значение, чтобы каждый большевик отдал себе полный отчет в значении имевших место событий, нужен был товарищеский обмен мнений, нецелесообразно было фиксировать сразу же на первых порах каждый оттенок, надо было до конца сговориться...

В начале октября выяснилось, что вернувшийся из Парижа Плеханов выступал уже в Женеве и собирается читать реферат в Лозанне.

Позиция Плеханова очень волновала Владимира Ильича. Он верил и не верил, что Плеханов стал оборонцем. «Не верится просто»,— говорил он.— «Верно, сказалося военное прошлое Плеханова»,— задумчиво прибавлял он. Когда пришла 10 октября телеграмма из Лозанны о том, что реферат назначен на завтра, на 11-е, Ильич засел за подготовку к реферату, а я старалась уж уберечь его от всяких дел, сговориться с публикой нашей — кто поедет из Берна и т. д. ...

Ильичу стало страшно, что не удастся попасть на плехановский реферат и сказать все накипевшее, что не пустят меньшевики столько большевиков. Я представляю себе, как не хотелось ему в этот момент разговаривать с публикой о всякой всячине, и понятны его наивные хитрости, имевшие целью остаться одному. Ясно представляется, как среди суетни с кормежкой, которая происходила у Мовшовичей, ушел Ильич в себя, волновался так, что не мог куска проглотить. Понятна немного натянутая шутка, сказанная вполголоса близидущим товарищам по поводу вступительного слова Плеханова, заявившего, что он не подготовился к выступлению на таком большом собрании. «Жулябия»,— бросил Ильич, а потом ушел весь целиком в слушание того, что говорил Плеханов. С первой частью реферата, где Плеханов крыл немцев, Ильич был согласен и аплодировал Плеханову. Во второй части Плеханов развивал оборонческую точку зрения. Уже не могло быть места никаким сомнениям. Записался говорить один Ильич, никто больше не записался. С кружкой пива в руках подошел он к столу. Говорил он спокойно, и только бледность лица

выдавала его волнение. Ильич говорил о том, что разразившаяся война не случайность, что она подготовлена всем характером развития буржуазного общества. Международные конгрессы — Штутгартский, Копенгагенский, Базельский — определили, каково должно быть отношение социалистов к предстоящей войне. Только тогда социал-демократы исполняют свой долг, когда борются с шовинистическим угаром своей страны. Надо превратить начавшуюся войну в решительное столкновение пролетариата с правящими классами.

У Ильича было только десять минут. Он сказал лишь основное. Плеханов с обычными остротами возражал ему. Меньшевики — их было подавляющее большинство — бешено аплодировали ему. Создавалось впечатление, что Плеханов победил.

14 октября, через три дня, — в том же помещении, где читал доклад Плеханов — в Maison du Peuple (в Народном доме), был назначен доклад Ильича. Зал был битком набит. Доклад вышел очень удачным, Ильич был в приподнятом, боевом настроении. Он развил полностью свой взгляд на войну как на войну империалистскую.

В докладе Владимир Ильич отметил, что в России уже вышел листок ЦК против войны, что такой же листок выпустила кавказская организация и некоторые другие...

Как только Ильич приехал в Берн из Кракова, он сейчас же написал Карпинскому, справляясь, можно ли издать в Женеве листок. Тезисы, принятые в первые дни приезда в Берн, месяц спустя решено было выпустить, переработав их в манифест. И Ильич вновь списывается с Карпинским об издании, посылая письма с оказией, наводя сугубую конспирацию. В то время неясно было еще, как отнесется швейцарская власть к антимилитаристской пропаганде.

На другой день после получения первого письма Шляпникова Владимир Ильич писал Карпинскому: «Дорогой К.! Как раз во время моего пребывания в Женеве получились *отрадные* вести из России. Пришел и текст ответа русских социал-демократов Вандервельду. Мы решили поэтому вместо отдельного манифеста выпустить газету «Социал-демократ», ЦО... К понедельнику пришлем Вам небольшие поправки к манифесту и *измененную* подпись (ибо после сношения с Россией мы уже *официальнее* выступаем)».

В конце октября Ильич опять поехал с рефератами сначала в Монтре, потом в Цюрих. В Цюрихе на его реферате выступал Троцкий, который возмущался, что Ильич называл Каутского предателем. А Ильич нарочно ставил очень остро все вопросы, чтобы создать ясность в отношении того, кто какую линию занимает. Борьба с оборонцами шла вовсю.

Борьба, которая шла, не носила внутривнутрипартийного характера, касалась не только русских дел, она носила международный характер.

«II Интернационал умер, побежденный оппортунизмом», — утверждал Владимир Ильич. Надо было собирать силы для нового, для III Интернационала, очищенного от оппортунизма.

На какие силы можно было опираться?

Не голосовали военных кредитов, кроме русских социал-демократов, только сербские социал-демократы. Их было в Скупщине (в сербском парламенте) всего двое. В Германии в начале войны за военные кредиты голосовали все, но уже 10 сентября Карл Либкнехт, Ф. Меринг, Роза Люксембург и Клара Цеткин составили заявление, в котором они протестовали против позиции, занятой большинством немецкой социал-демократии. Это заявление лишь в конце октября им удалось опубликовать в швейцарских газетах, в немецких этого не удалось сделать. Из немецких газет наиболее левую позицию с самого начала войны заняла «Бременская гражданская газета», 23 августа заявившая о том, что «пролетарский интернационал» разрушен. Во Франции социалистическая партия, с Гедом и Вайяном во главе, скатилась к шовинизму. Но в партийных низах было довольно широкое настроение против войны. Для бельгийской партии характерно было поведение Вандервельде. В Англии отпор шовинизму Гайндмана и всей Британской социалистической партии давали Макдональд и Кейр-Гарди из оппортунистической Независимой рабочей партии. В нейтральных странах существовали настроения против войны, но они носили по преимуществу пацифистский характер. Революционнее других была Итальянская социалистическая партия с газетой «Avanti» («Вперед») во главе; она боролась с шовинизмом, разоблачала корыстную подоплеку призывов к войне. Она находила поддержку со стороны громадного большинства передовых рабочих. 27 сентября в Лугано состоялась итало-швей-

царская социалистическая конференция. На конференцию были посланы наши тезисы о войне. Конференция характеризовала войну как империалистскую и требовала борьбы международного пролетариата за мир.

В общем, голоса против шовинизма, голоса интернационалистические, звучали еще очень слабо, разрозненно, неуверенно, но Ильич не сомневался, что они будут все крепнуть. Всю осень у него было приподнятое, боевое настроение.

Воспоминание об этой осени у меня переплетается с осенней картиной бернского леса. Осень в тот год стояла чудесная. В Берне мы жили на Дистельвег — маленькой, чистенькой, тихой улочке, примыкавшей к бернскому лесу, тянувшемуся на несколько километров. Наискосок от нас жила Инесса, в пяти минутах ходьбы — Зиновьевы, в десяти минутах — Шкловские. Мы часами бродили по лесным дорогам, усеянным осыпавшимися желтыми листьями. Большею частью ходили втроем — Владимир Ильич и мы с Инессой. Владимир Ильич развивал свои планы борьбы по международной линии. Инесса все это горячо принимала к сердцу. В этой развертывавшейся борьбе она стала принимать самое непосредственное участие: вела переписку, переводила на французский и английский языки разные наши документы, подбирала материалы, говорила с людьми и пр. Иногда мы часами сидели на солнечном откосе горы, покрытой кустарниками. Ильич набрасывал конспекты своих речей и статей, оттачивал формулировки, я изучала по Туссену итальянский язык. Инесса шила какую-то юбку и грелась с наслаждением на осеннем солнышке — она еще не до конца оправилась после тюрьмы...

Новые задачи *

Два с половиной месяца спустя после начала войны у Ильича уже выковалась ясная, четкая линия борьбы. Эта линия окрашивала всю его дальнейшую деятельность. Международный размах придал новые тона и всей работе Ильича над строительством русской работы, придал ей новую силу, новые краски. Без долгих лет предшествовавшей трудной работы над строительством партии, над организацией рабочего класса России не мог бы Ильич так быстро и твердо взять правильную линию в отношении новых задач, выдвинутых империа-

листской войной. Без пребывания в гуще международной борьбы не мог бы Ильич так твердо повести русский пролетариат к октябрьской победе.

№ 33 «Социал-демократа» вышел 1 ноября 1914 года. Сначала было напечатано лишь 500 экземпляров, потом понадобилось еще 1000. 14 ноября Ильич с радостью извещал Карпинского, что ЦО доставлен в один из пунктов недалеко от границы и скоро будет переправлен дальше.

Через Нэна и Грабера удалось поместить 13 ноября сокращенное изложение манифеста в швейцарской газете «La sentinelle» («Часовой»), выходящей на французском языке в невшательском рабочем центре Шо-де-Фон (Шаух-де-Фонд). Ильич торжествовал. Мы послали перевод манифеста во французские, английские и немецкие газеты.

В целях развертывания пропаганды среди французов Владимир Ильич списывался с Карпинским об устройстве в Женеве, на французском языке, реферата Инессы. С Шляпниковым списывался о его выступлении на шведском конгрессе. Шляпников выступал, и выступал очень удачно. Так понемногу развертывалась «международная акция» большевиков.

Со связями с Россией было хуже. Для № 34 ЦО Шляпников прислал интересный материал из Питера. Но наряду с ним пришлось помещать в № 34 сообщение об аресте пяти большевистских депутатов. Связь с Россией опять слабела.

Развертывая страстную борьбу против измены делу пролетариата со стороны II Интернационала, Ильич в то же время тотчас же по приезде в Берн засел за составление для Энциклопедического словаря Граната статьи «Карл Маркс», где, говоря об учении Маркса, начал с очерка его миросозерцания, с разделов «философский материализм» и «диалектика» и далее, изложив экономическое учение Маркса, осветил, как Маркс подходил к вопросу о социализме и тактике классовой борьбы пролетариата.

Так учение Маркса обычно не излагалось. В связи с писанием глав о философском материализме и диалектике Ильич стал опять усердно перечитывать Гегеля и других философов и не бросил эту работу и после того, как окончил работу о Марксе. Цель его работы по философии была овладеть методом, как превратить фило-

софию в конкретное руководство к действию. Его короткие замечания о диалектическом подходе ко всем явлениям, сделанные в 1921 г. во время споров с Троцким и Бухариным о профессиональных союзах, как нельзя лучше характеризуют, как много дали в этом отношении Ильичу его занятия по философии, начатые им по приезду в Берн и явившиеся продолжением того, что он проделал в деле изучения философии в 1908—1909 гг., когда боролся с махистами.

Борьба и учеба, учеба и научная работа всегда связывались у Ильича в один крепкий узел, всегда между ними была самая глубокая, непосредственная связь, хотя на первый взгляд и могло показаться, что это просто параллельная работа.

В начале 1915 г. продолжалась усиленная работа по сплочению заграничных большевистских групп. Определенная сговоренность уже была, но время было такое, что сплоченность нужна была больше, чем когда-либо. До войны центр большевистских групп, так называемый КЗО (Комитет заграничных организаций), находился в Париже. Теперь центр надо было перенести в Швейцарию, в нейтральную страну, в Берн, где находилась и редакция Центрального Органа. Нужно было сговориться до конца обо всем — об оценке войны, о тех новых задачах, которые встали перед партией, о путях их разрешения, нужно было уточнить работу групп...

На очереди дня стояло собрание сил в международном масштабе. Какая это была трудная задача, наглядно показала состоявшаяся 14 февраля 1915 г. Лондонская конференция социалистических партий стран Согласия (Англии, Бельгии, Франции, России). Созвана эта конференция была Вандервельде, но организовала ее английская Независимая рабочая партия с Кейр-Гарди и Макдональдом во главе. Они были до конференции против войны, за международное объединение. Вначале Независимая рабочая партия думала пригласить делегатов из Германии и Австрии, но французы заявили, что не будут тогда принимать участия в конференции. От Англии было 11 делегатов, от Франции — 16, от Бельгии — 3. От России было трое социалистов-революционеров. Был делегат от меньшевистского Организационного комитета. От нас там должен был выступить Литвинов. Наперед было ясно, что это будет за конференция, какие результаты она даст, а потому было услов-

лено, что Литвинов прочтет лишь декларацию Центрального Комитета. Ильич составил для Литвинова наметку этой декларации. В ней выставлялось требование, чтобы Вандервельде, Гед и Самба немедленно вышли из буржуазных министерств Бельгии и Франции, чтобы все социалистические партии поддержали русских рабочих в их борьбе с царизмом. В декларации говорилось, что социал-демократы Германии и Австрии совершили чудовищное преступление по отношению к социализму и Интернационалу, вотируя военные кредиты и заключив «гражданский мир» с юнкерами, попами и буржуазией, но бельгийские и французские социалисты поступили нисколько не лучше. «Рабочие России товарищески протягивают руку социалистам, которые действуют как Карл Либкнехт, как социалисты Сербии и Италии, как британские товарищи из Независимой рабочей партии и некоторые члены Британской социалистической партии, как арестованные товарищи наши из Российской социал-демократической рабочей партии.

На этот путь зовем мы вас, на путь социализма. Долой шовинизм, губящий пролетарское дело! Да здравствует международный социализм!» Этими словами кончалась декларация. Эту декларацию подписал, кроме ЦК, еще представитель латышских социал-демократов Берзин. Председатель не дал Литвинову возможности прочесть до конца декларацию. Литвинов передал декларацию председателю, а сам покинул заседание, заявив, что РСДРП не участвует в конференции. После ухода Литвинова конференция приняла резолюцию за «освободительную войну» вплоть до победы над Германией; за это подали голос и Кейр-Гарди и Макдональд.

Международная женская конференция *

Тем временем шла подготовка международной женской конференции. Важно было, конечно, не только то, чтобы такая конференция состоялась, но и то, чтобы она не носила пацифистского характера, а заняла определенно революционную позицию. Нужна была поэтому очень большая предварительная работа. Она легла главным образом на Инессу. Помогая редакции ЦО в переводе всяких документов, будучи участницей развертывающейся борьбы с оборончеством с первых же шагов ее, Инесса была как нельзя лучше подготовлена

к этой работе. Кроме того, она знала языки. Инесса переписывается с Кларой Цеткин, Балабановой, Коллонтай, англичанками, крепит первые нити международной связи. Нити до невероятности слабы, постоянно рвутся, но вновь и вновь начинает Инесса работу. В Париже жила Сталь, через нее ведет Инесса переписку с французскими товарищами. С Балабановой было сношаться всего проще — она работала в Италии, принимала участие в работе «Avanti». Это был период, когда Итальянская социалистическая партия была настроена наиболее революционно. В Германии антиоборонческое настроение разрасталось. 2 декабря К. Либкнехт голосовал против военных кредитов. Женскую международную конференцию созывала Клара Цеткин. Она была секретарем Интернационального бюро женщин-социалисток. Вместе с К. Либкнехтом, Розой Люксембург, Ф. Мерингом боролась она против шовинистического большинства Германской социал-демократической партии. С ней сносилась Инесса. Что касается Коллонтай, то она к этому времени отошла от меньшевиков. В январе она написала Владимиру Ильичу и мне, прислала листок.

«Уважаемый и дорогой товарищ! — писал ей Владимир Ильич. — Очень благодарен Вам за присылку листка (я могу пока только передать его здешним членам редакции «Работницы», — они послали уже письмо Цеткиной однородного, видимо, с Вашим содержания)». И дальше Владимир Ильич переходит к выяснению позиции большевиков...

Бернская международная конференция состоялась 26—28 марта. Самая большая и организованная делегация была германская с Кларой Цеткин во главе. От русского ЦК делегатками были Арманд, Лилина, Равич, Крупская, Розмирович. От поляков-розламовцев — Каменская (Домская), которая держалась вместе с делегацией Центрального Комитета. Из русских были еще две делегатки от Организационного комитета. Балабанова была от Италии. Луиза Сомано — француженка — сильно подпала под влияние Балабановой. Чисто пацифистское настроение было у голландок. Роланд-Гольст, принадлежавшая тогда к левому крылу, приехать не могла, приехала делегатка из партии Трульстра, насквозь шовинистической. Английские делегатки принадлежали к оппортунистической Независимой рабочей партии, пацифистский уклон был и у швейцарок. Этот

уклон преобладал. Конечно, если вспомнить имевшую место полтора месяца перед тем Лондонскую конференцию — шаг вперед был немалый, имел значение уже самый тот факт, что на конференцию собрались социалистки воюющих между собой стран.

Немки в своем большинстве принадлежали к группе К. Либкнехта — Розы Люксембург. Эта группа уже начала размежевываться со своими шовинистами, бороться со своим правительством — уже арестована была Роза Люксембург. Но это в своей стране. А на международной трибуне — им казалось — они должны проявить максимум уступчивости, — они ведь были делегацией страны, которая в этот момент побеждала на фронтах. Если бы конференция, созванная с таким трудом, распалась, всю ответственность возложили бы на них, распаду конференции были бы рады шовинисты всех стран, в первую очередь социал-патриоты Германии. И поэтому Клара Цеткин шла на уступки пацифистам, что означало выхолащивание революционного содержания резолюций. Наша делегация — делегация ЦК РСДРП — стояла на точке зрения Ильича, изложенной в письме к Коллонтай. Дело не в огульном объединении, дело в объединении для революционной борьбы с шовинизмом, для непримиримой революционной борьбы пролетариата с господствующим классом. Осуждения шовинизма не было в резолюции, выработанной комиссией из немки, англичанок и голландок. Мы выступили со своей особой декларацией. Ее защищала Инесса. С защитой ее выступила и представительница поляков — Каменская. Мы остались одни. Все осуждали нашу «раскольническую» политику. Однако жизнь скоро подтвердила правильность нашей позиции. Добренький пацифизм англичанок и голландок ни на шаг не сдвинул вперед международную акцию. Роль в скорейшем окончании войны сыграла революционная борьба и размежевание с шовинистами.

Со всей страстностью отдался Ильич собиранию сил для борьбы на международном фронте. «Не беда, что нас единицы, — сказал он как-то, — с нами будут миллионы». Он составлял и нашу резолюцию для Бернской женской конференции, следил за всей ее работой. Но чувствовалось, как трудно ему оставаться в роли какого-то закулисного руководителя в деле громадной важности, которое делалось тут же, под боком, и принять в

котором непосредственное участие хотелось ему всем своим существом...

17 апреля в Берне состоялась вторая международная конференция — конференция социалистической молодежи. В Швейцарии в это время сосредоточилось довольно много молодежи, рефрактеров разных воюющих стран, не хотевших идти на фронт и принимать участие в империалистской войне; они эмигрировали в нейтральную страну — Швейцарию. У этой молодежи, само собой, настроение было революционное. Не случайность, что вслед за женской конференцией следующей международной конференцией была конференция социалистической молодежи. От имени ЦК нашей партии на ней выступали Инесса и Сафаров.

В марте у меня умерла мать. Была она близким товарищем, помогавшим во всей работе. В России во время обыска прятала нелегальщину, носила товарищам в тюрьму передачи, передавала поручения; она жила с нами и в Сибири, и за границей, вела хозяйство, охаживала приезжавших и проходящих к нам товарищей, шила панцири, зашивая туда нелегальную литературу, писала «скелеты» для химических писем и пр. Товарищи ее любили. Последняя зима была для нее очень тяжела. Все силы ушли. Тянуло ее в Россию, но там не было у нас никого, кто бы о ней заботился. Они часто спорили с Владимиром Ильичем, но мама всегда заботилась о нем, Владимир был к ней тоже внимателен. Раз как-то сидит мать унылая. Была она отчаянной курильщицей, а тут забыла купить папирос, а был праздник, нигде нельзя было достать табаку. Увидал это Ильич. «Эка беда, сейчас я достану», и пошел разыскивать папиросы по кафе, отыскал, принес матери. Как-то незадолго уже до смерти говорит мне мать: «Нет, уж что, одна я в Россию не поеду, вместе с вами уж поеду». Другой раз заговорила о религии. Она считала себя верующей, но в церковь не ходила годами, не постилась, не молилась, и вообще никакой роли религия в ее жизни не играла, но не любила она разговоров на эту тему, а тут говорит: «Верила я в молодости, а как пожила, узнала жизнь, увидела: такие это все пустяки». Не раз заказывала она, чтобы, когда она умрет, ее сожгли. Домишко, где мы жили, был около самого бернского леса. И когда стало греть весеннее солнце, потянуло мать в лес. Пошли мы с ней, посидели на лавочке с полчаса, а потом еле до-

шла она домой, и на другой день началась у ней уже агония. Мы так и сделали, как она хотела, сожгли ее в бернском крематории.

Сидели с Владимиром Ильичем на кладбище, часа через два принес нам сторож жестяную кружку с теплым еще пеплом и указал, где зарыть пепел в землю.

Еще более студенческой стала наша семейная жизнь. Квартирная хозяйка — религиозно-верующая старуха гладильщица — попросила нас подыскать себе другую комнату, она-де желает, чтобы у ней комнату снимали люди верующие. Переехали в другую комнату.

10 февраля состоялся суд над думской пятеркой: все депутаты-большевики — Петровский, Муранов, Бадаев, Самойлов, Шагов, — а также Л. Б. Каменев были приговорены к ссылке на поселение...

Жизнь очень скоро показала, как прав был Ленин. Ильич не покладая рук работал над делом пропаганды идей интернационализма, над разоблачением социалшовинизма во всех его многообразных формах.

После смерти матери у меня сделался рецидив базедовой болезни, и доктора направили меня в горы. Ильич разыскал по публикации дешевый пансион в немодной местности, у подножия Ротхорна, в Зёренберге, в отеле «Мариенталь», и мы прожили там все лето...

В Зёренберге устроились мы очень хорошо, кругом был лес, высокие горы, наверху Ротхорна даже лежал снег. Почта ходила со швейцарской точностью. Оказалось, в такой глухой горной деревушке, как Зёренберг, можно было бесплатно получать любую книжку из бернских или цюрихских библиотек. Пошлешь открытку в библиотеку с адресом и просьбой прислать такую-то книгу. Никто не спрашивает тебя ни о чем, никаких удостоверений, никаких поручительств о том, что ты книгу не зажилишь, — полная противоположность бюрократической Франции. Книжку, обернутую в папку, получаешь через два дня, бечевкой привязан билет из папки, на одной его стороне надписан адрес запросившего книгу, на другой — адрес библиотеки, пославшей книгу. Это создавало возможность заниматься в самой глуши. Ильич всячески выхвалял швейцарскую культуру. В Зёренберге заниматься было очень хорошо. Через некоторое время к нам туда приехала Инесса. Вставали рано и до обеда, который давался, как во всей Швейцарии, в 12 часов, занимался каждый из нас в своем углу

в саду. Инесса часто играла в эти часы на рояле, и особенно хорошо занималось под звуки доносившейся музыки. После обеда уходили иногда на весь день в горы. Ильич очень любил горы, любил под вечер забираться на отроги Ротхорна, когда наверху чудесный вид, а под ногами розовеющий туман, или бродить по Штраттенфлу — такая гора была километрах в двух от нас, «проклятые шаги» — переводили мы. Нельзя было никак взобраться на ее плоскую широкую вершину — гора вся была покрыта какими-то изъеденными весенними ручьями камнями. На Ротхорн взбирались редко, хотя оттуда открывался чудесный вид на Альпы. Ложились спать с петухами, набирали альпийских роз, ягод, все были отчаянными грибниками — грибов белых была уйма, но наряду с ними много всякой другой грибной поросли, и мы так азартно спорили, определяя сорта, что можно было подумать — дело идет о какой-нибудь принципиальной резолюции.

В Германии начала разгораться борьба. В апреле вышел журнал, основанный Розой Люксембург и Францем Мерингом, «Интернационал» и тотчас же был закрыт. Вышла брошюра Юниуса (Розы Люксембург) «Кризис германской социал-демократии». Вышло воззвание германских левых социал-демократов, написанное Карлом Либкнехтом, — «Главный враг в собственной стране», а в начале июня К. Либкнехтом и Дункером было составлено «Открытое письмо Центральному комитету социал-демократической партии и фракции рейхстага» с протестом против отношения социал-демократического большинства к войне. Это «Открытое письмо» было подписано тысячью должностных лиц партии.

Видя рост влияния левых социал-демократов, Центральный комитет социал-демократической партии Германии решил пойти наперерез и, с одной стороны, выпустил манифест за подписями Каутского, Гаазе и Бернштейна против аннексий и с призывом к единству партии, а с другой — выступил от своего имени и имени фракции рейхстага против левой оппозиции.

Циммервальдская конференция *

В Швейцарии Роберт Гримм созвал на 11 июля в Берне предварительное совещание по вопросу о подго-

товке международной конференции левых. На совещании было 7 человек (Гримм, Зиновьев, П. Б. Аксельрод, Варский, Валецкий, Балабанова, Моргари). По существу дела, кроме Зиновьева, настоящих левых на этом предварительном совещании не было, и впечатление от всех разговоров получилось такое, что всерьез никто из участников не хотел созывать конференции левых.

Владимир Ильич очень волновался и усиленно писал во все концы — Зиновьеву, Радеку, Берзину, Коллонтай, лозаннским товарищам, заботясь о том, чтобы на предстоящей конференции были обеспечены места подлинно левым, заботясь о том, чтобы между левыми было как можно больше сплоченности. К половине августа у большевиков были составлены уже: 1) манифест, 2) резолюция, 3) проект декларации, которые посылались наиболее левым товарищам на обсуждение. К октябрю была переведена уже на немецкий язык брошюра Ленина и Зиновьева «Социализм и война».

Конференция состоялась 5—8 сентября в Циммервальде; на ней были делегаты от 11 стран (всего 38 человек). К так называемой Циммервальдской левой примыкали только 9 человек (Ленин, Зиновьев, Берзин, Хеглунд, Нерман, Радек, Борхард, Платтен, после конференции примкнула Роланд-Гольст). На конференции от русских были еще Троцкий, Аксельрод, Ю. Мартов, Натансон, Чернов, один бундовец. Троцкий к левым циммервальдистам не примыкал.

Владимир Ильич поехал на конференцию раньше и 4-го сделал на частном совещании доклад о характере войны и о тактике, которая должна быть применяема международной конференцией. Споры шли вокруг вопроса о манифесте. Левые внесли свой проект манифеста и проект резолюции о войне и задачах социал-демократов. Большинство отклонило проект левых и приняло гораздо более расплывчатый, гораздо менее боевой манифест. Левые подписали общий манифест...

На Циммервальдской конференции левые организовали свое бюро и вообще оформились как особая группа.

Хоть и писал Владимир Ильич перед Циммервальдской конференцией, что надо преподнести каутскианцам наш проект резолюции: «... (голландцы + мы + левые немцы + 0, и то не беда, а будет *потом* не ноль, а все!)», но все же темпы продвижения вперед были очень уже

медленны, и плохо мирился с этим Ильич. Статья «Первый шаг» начинается именно подчеркиванием медленно-го движения: «Медленно движется вперед развитие интернационального социалистического движения в эпоху неимоверно тяжелого кризиса, вызванного войной». И приехал поэтому Ильич с Циммервальдской конференции порядочно-таки нервным.

На другой день по приезде Ильича из Циммервальда полезли мы на Ротхорн. Лезли с «великаторжественным аппетитом», но, когда влезли наверх, Ильич вдруг лег на землю, как-то очень неудобно, чуть не на снег, и заснул. Набежали тучи, потом прорвались, чудесный вид на Альпы раскрылся с Ротхорна, а Ильич спит как убитый, не шевельнется, больше часу проспал. Циммервальд, видно, здорово ему нервы потрепал, отнял порядочно сил.

Надо было несколько дней ходьбы по горам и зёренбергской обстановки, чтобы Ильич пришел в себя. Коллонтай ехала в Америку, и Ильич писал ей о необходимости сделать все возможное, чтобы сплотить американские левые интернационалистские элементы. В начале октября мы вернулись в Берн. Ильич ездил с рефератом о Циммервальдской конференции в Женеву, продолжал списываться с Коллонтай об американцах и т. д.

Осень была душноватая. Берн — город административно-учебного характера по преимуществу. В нем много хороших библиотек, много ученых сил, но вся жизнь насквозь пропитана каким-то мелкобуржуазным духом. Берн очень «демократичен» — жена главного должностного лица республики трясет каждый день с балкончика ковры, но эти ковры, домашний уют засасывают бернскую женщину до последних пределов. Мы наняли было осенью комнату с электричеством и перевезли туда свой чемодан, книги, и когда в день переезда зашли к нам Шкловские, я стала показывать, как электричество чудесно горит, но ушли Шкловские, и к нам с шумом влетела хозяйка и потребовала, чтобы мы на другой же день съехали с квартиры, так как сна не позволит у себя в квартире днем зажигать электричество. Мы решили, что у ней не все дома, наняли другую комнату, поскромнее, без электричества, куда и переехали на другой день. В Швейцарии повсюду царило ярко выраженное мещанство. Приехала как-то в Берн русская труппа,

игравшая на немецком языке; ставили пьесу Л. Толстого «Живой труп». Мы тоже пошли. Игнали очень хорошо. Ильича, который ненавидел до глубины души всякое мещанство, условность, эта пьеса чрезвычайно разволновала. Потом он хотел еще раз пойти ее посмотреть. Вообще русским она очень нравилась. Пьеса понравилась и швейцарцам. Но чем понравилась пьеса им — им ужасно жаль было жену Протасова, они принимали к сердцу ее участь. «Такой непутевый муж ей попался, а ведь люди они были богатые, с положением, как счастливо могли бы жить. Бедная Лиза!»

Осень 1915 г. мы усерднее, чем когда-либо, сидели в библиотеках, ходили, по обыкновению, гулять, но все это не могло стереть ощущения запертости в этой мещанской демократической клетке. Там где-то нарастает революционная борьба, кипит жизнь, но все это далеко.

В Берне можно было сделать очень мало для завязывания непосредственных связей с левыми. Помню, как Инесса ездила во французскую Швейцарию завязывать связи с швейцарскими левыми, Нэном и Грабером. Никак не могла добиться с ними свидания, все оказывалось, то Нэн рыбу удит, то Грабер занят домашними делами. «Отец сегодня занят, у нас стирка, он белье развешивает», — почтительно сообщила маленькая дочь Грабера Инессе. Удиль рыбу, развешивать белье — дело неплохое, и Ильич не раз кастрюлю с молоком сторожил, чтобы молоко не убежало, но когда белье и удочки мешали поговорить о самом нужном, об организации левых, не очень это было ладно. Теперь Инесса достала себе чужой паспорт и поехала в Париж. Вернувшись из Циммервальда, Мергейм и Бурдерон основали в Париже Комитет по восстановлению международных связей; от большевиков туда входила Инесса. Ей много пришлось бороться там за левую линию, которая в конце концов победила. Инесса подробно писала о своей работе Владимиру Ильичу...

Много работала Инесса и в нашей Парижской группе, виделась с членом группы Сапожковым, ушедшим сначала добровольцем на фронт, а теперь разделявшим взгляды большевиков и начавшим пропаганду среди французских солдат...

В Берне работа возможна была главным образом теоретическая. За год войны очень многое стало яснее...

Цюрих 1916 г.

С января 1916 г. Владимир Ильич взялся за писание брошюры об империализме для книгоиздательства «Парус». Этому вопросу Ильич придавал громадное значение, считая, что настоящей глубокой оценки происходящей войны нельзя дать, не выяснив до конца сущности империализма как с его экономической, так и политической стороны. Поэтому он охотно взялся за эту работу. В половине февраля Ильичу понадобилось поработать в цюрихских библиотеках, и мы поехали туда на пару недель, а потом все откладывали да откладывали свое возвращение в Берн, да так и остались жить в Цюрихе, который был поживее Берна. В Цюрихе было много иностранной революционно настроенной молодежи, была рабочая публика, социал-демократическая партия была более лево настроена и как-то меньше чувствовался дух мещанства.

Пошли нанимать комнату. Зашли к некоей фрау Прелог, скорее напоминавшей жительницу Вены, чем швейцарку, что объяснялось тем, что она долго служила поварихой в какой-то венской гостинице. Устроились было мы у ней, но на другой день выяснилось, что возвращается прежний жилец. Ему кто-то пробил голову, и он лежал в больнице, а теперь выздоровел. Фрау Прелог попросила нас найти себе другую комнату, но предложила нам приходить к ней кормиться за довольно дешевую плату. Мы кормились, должно быть, там месяца два; кормили нас просто, но сытно. Ильичу нравилось, что все было просто, что кофе давали в чашке с отбитой ручкой, что кормились в кухне, что разговоры были простые — не о еде, не о том, что столько-то картошек надо класть в такой-то суп, а о делах, интересовавших столовников фрау Прелог. Правда, их было не очень много и они часто менялись. Очень скоро мы почувствовали, что попали в очень своеобразную среду, в самое что ни на есть цюрихское «дно». Одно время обедала у Прелог какая-то проститутка, которая, не скрываючи, говорила о своей профессии, но которую гораздо больше, чем ее профессия, занимало то здоровье ее матери, то какую работу найдет ее сестра. Столовалась несколько дней какая-то сиделка, стали появляться еще какие-то столовники. Жилец фрау Прелог больше помалкивал, но

из отдельных фраз явствовало, что это тип почти что уголовный. Нас никто не стеснялся, и, надо сказать, в разговорах этой публики было гораздо более человеческого, живого, чем в чинных столовых какого-нибудь приличного отеля, где собирались состоятельные люди.

Я торопила Ильича перейти на домашний стол, ибо публика была такая, что легко можно было влипнуть в какую-нибудь дикую историю. Все же некоторые черты цюрихского «дна» были небезынтересны...

Когда мы потом в России смотрели с Ильичем постановку «На дне» Горького в Художественном театре — а Владимиру Ильичу очень хотелось посмотреть эту пьесу, — ему ужасно не понравилась «театральность» постановки, отсутствие тех бытовых мелочей, которые, как говорится, «делают музыку», рисуют обстановку во всей ее конкретности.

Потом все время, встречаясь на улице с фрау Прелог, Ильич всегда ее дружески приветствовал. А встречались мы с ней хронически, ибо поселились неподалеку, в узком переулочке, в семье сапожника Каммерера. Комната была не очень целесообразная. Старый мрачный дом, стройки чуть ли не XVI века, двор вонючий. Можно было за те же деньги получить гораздо лучшую комнату, но мы дорожили хозяевами. Семья была рабочая, они были революционно настроены, осуждали империалистскую войну. Квартира была поистине интернациональная: в двух комнатах жили хозяева, в одной — жена немецкого солдата-булочника с детьми, в другой — какой-то итальянец, в третьей — австрийские актеры с изумительной рыжей кошкой, в четвертой — мы, россияне. Никаким шовинизмом не пахло, и однажды около газовой плиты собрался целый женский интернационал, фрау Каммерер возмущенно воскликнула: «Солдатам нужно обратить оружие против своих правительств!» После этого Ильич и слышать не хотел о том, чтобы менять комнату. От фрау Каммерер я многому научилась: как дешево, с минимальной затратой времени сытно варить обед и ужин. Училась и другому. Однажды в газетах было объявлено, что Швейцария испытывает затруднение во ввозе мяса, и потому правительство обращается к гражданам с призывом два раза в неделю не потреблять мяса. Мясные лавки продолжали торговать в «постные» дни. Я закупила к обеду мяса, как всегда, и, стоя у газовой, стала расспрашивать фрау

Каммерер, как же проверяют, выполняют ли граждане призыв,— контролеры, что ли, какие по домам ходят? «Зачем же проверять? — удивилась фрау Каммерер.— Раз опубликовано, что существуют затруднения, какой же рабочий человек станет есть мясо в «постные» дни, разве буржуй какой?» И, видя мое смущение, она мягко добавила: «К иностранцам это не относится». Этот пролетарский сознательный подход чрезвычайно пленил Ильича...

Жили мы в Цюрихе, как выражался Ильич в одном из писем домой, «потихоньку», немного в стороне от местной колонии, регулярно и много занимаясь в библиотеках. После обеда каждодневно забегал к нам на полчаса возвращавшийся из эмигрантской столовой молодой товарищ Гриша Усиевич, погибший в 1919 г. во время гражданской войны...

Мы стали уходить из дому пораньше, чтобы походить до библиотеки еще вдоль озера и поразговаривать немного. Ильич рассказывал о своей работе, которую он писал, и о разных своих мыслях.

Из Цюрихской группы мы чаще всего виделись с Усиевичем и Харитоновым. Помню еще Дядю Ваню — Авдеева, рабочего-металлиста, и Туркина, уральского рабочего, Бойцова, который потом работал в Главполитпросвете. Помню также (фамилию забыла) рабочего-болгарина. Большинство товарищей из нашей Цюрихской группы работало на заводах; все были очень заняты, собрания группы были сравнительно редки. Зато у членов нашей группы были хорошие связи с цюрихскими рабочими; они стояли ближе к местной жизни рабочих, чем это было в других швейцарских городах (за исключением Шо-де-Фон, где наша группа еще теснее была связана с рабочей массой).

Во главе цюрихского швейцарского движения стоял Фриц Платтен; он был секретарем партии. Он примыкал к Циммервальдской левой, был сыном рабочего, был простым горячим парнем, пользовался большим влиянием в массах. Примкнул к Циммервальдской левой и редактор партийной цюрихской газеты «Volksrecht» («Право народа») Нобс. Рабочая эмигрантская молодежь — ее было много в Цюрихе — во главе с Вилли Мюнценбергом была очень активна, поддерживала левых. Все это создавало известную близость к швейцарскому рабочему движению. Некоторым товарищам, не

бывшим в эмиграции, кажется теперь, что Ленин возлагал особые надежды на швейцарское движение и считал, что Швейцария может стать чуть ли не центром грядущей социальной революции.

Это, конечно, не так. В Швейцарии не было сильного рабочего класса, это — страна курортная по преимуществу, страна маленькая, питающаяся от крох сильных капиталистических стран. Рабочие в Швейцарии были в общем и целом мало революционны. Демократизм и удачное разрешение национального вопроса не были еще условием, достаточным для того, чтобы Швейцария стала очагом социальной революции.

Конечно, из этого не следовало, что не надо было вести в Швейцарии интернациональную пропаганду, помогать революционированию швейцарского рабочего движения и партии, ибо если бы Швейцария оказалась втянутой в войну, ситуация быстро могла бы измениться.

Ильич читал перед швейцарскими рабочими рефераты, держал тесную связь с Платтенем, Нобсом, Мюнценбергом. Наша Цюрихская группа плюс несколько поляков (тогда в Цюрихе жил т. Бронский) задумала устраивать совместные заседания с цюрихской швейцарской организацией. Стали собираться в небольшом кафе «Zum Adler», неподалеку от нашего дома. На первое собрание пришло что-то около 40 человек. Ильич говорил о текущем моменте, ставил вопросы со всей остротой. Хотя собрались все интернационалисты, швейцарцев очень смутила резкая постановка вопроса. Помню речь одного представителя швейцарской молодежи, говорившего на тему, что лбом стену не пробьешь. Факт тот, что наши собрания стали таять, и на четвертое собрание явились только русские и поляки, пошутили и разошлись по домам.

Первые месяцы нашего житья в Цюрихе Владимир Ильич работал главным образом над брошюрой об империализме. Он был очень увлечен этой работой, делал очень много выписок. Особо его интересовали колонии; у него был собран богатейший материал, помню, и меня он засадил за какие-то переводы с английского о каких-то африканских колониях. Он много рассказывал очень интересного. Потом, когда я перечитывала его «Империализм», он мне показался гораздо суше, чем были его рассказы. Изучил он экономическую жизнь Европы, Америки и пр., что говорится, «на ять». Но интересовал

его, конечно, не только экономический уклад, но и те политические формы, которые соответствовали этому укладу, влияние их на массы. К июлю брошюра была кончена. 24—30 апреля 1916 г. состоялась II Циммервальдская (так называемая Кинтальская) конференция. 8 месяцев прошло за время, протекшее с первой конференцией, 8 месяцев все шире и шире развертывавшейся империалистской войны, но лицо Кинтальской конференции не так уже разительно отличалось от I Циммервальдской конференции. Публика стала немного радикальнее. Циммервальдская левая имела не 8, а 12 делегатов, резолюции конференции представляли известный шаг вперед. Конференция решительно осудила Международное социалистическое бюро; она приняла резолюцию о мире, в которой говорилось:

«На почве капиталистического общества невозможно установить прочного мира; условия, необходимые для его осуществления, создает *социализм*. Устранив капиталистическую частную собственность и тем самым эксплуатацию народных масс имущими классами и национальный гнет, социализм устранил и причины войны. *Поэтому борьба за прочный мир может заключаться лишь в борьбе за осуществление социализма*». За распространение этого манифеста в траншеях в мае было расстреляно в Германии 3 офицера и 32 солдата. Германское правительство больше всего боялось революционирования масс.

В своих предложениях Кинтальской конференции ЦК РСДРП обращал внимание именно на необходимость революционирования масс. Там говорилось:

«Недостаточно того, что Циммервальдский манифест намекает на революцию, говоря, что рабочие должны нести жертвы ради своего, а не чужого дела. Необходимо ясно и определенно указать массам их путь. Надо, чтобы массы знали, куда и зачем идти. Что массовые революционные действия во время войны, при условии их успешного развития, могут привести лишь к превращению империалистской войны в гражданскую войну за социализм, это очевидно, и скрывать это от масс вредно. Напротив, эту цель надо указать ясно, как бы трудно ни казалось достижение ее, когда мы находимся только в начале пути. Недостаточно сказать, как сказано в Циммервальдском манифесте, что «капиталисты лгут, говоря о защите отечества» в данной войне, и что рабо-

чие в революционной борьбе не должны считаться с военным положением своей страны; надо сказать ясно то, что здесь выражено намеком, именно что не только капиталисты, но и социал-шовинисты и каутскианцы лгут, когда допускают применение понятия защиты отечества в данной, империалистской войне; — что революционные действия во время войны невозможны без угрозы поражением «своему» правительству и что всякое поражение правительства в реакционной войне облегчает революцию, которая одна в состоянии принести прочный и демократический мир. Необходимо наконец сказать массам, что без создания ими самими нелегальных организаций и свободной от военной цензуры, т. е. нелегальной, печати немыслима серьезная поддержка начинающейся революционной борьбы, ее развитие, критика ее отдельных шагов, исправление ее ошибок, систематическое расширение и обострение ее».

В этом предложении ЦК очень ярко выражено отношение большевиков и Ильича к массам — массам надо всегда говорить всю правду до конца, правду неприкрашенную, не боясь того, что эта правда отпугнет их. На массы возлагали большевики все свои надежды, массы — и только они — добьются социализма...

Изучение экономики империализма, разбор всех составных частей этого «ящика скоростей», охват всей мировой картины идущего к гибели империализма — этой последней ступени капитализма — дали возможность Ильичу по-новому поставить целый ряд политических вопросов, гораздо глубже подойти к вопросу о том, в каких формах будет протекать борьба за социализм вообще и в России в частности. Многое хотелось Ильичу додумать до конца, дать своим мыслям дозреть, и потому мы решили поехать в горы, да и мне было необходимо это, потому что никак не могла утихомириться моя базедка. Одна управа была на нее — горы. Мы поехали на шесть недель в кантон Сен-Каллен, неподалеку от Цюриха, в дикие горы, в дом отдыха Чудивизе, очень высоко, совсем близко к снеговым вершинам. Дом отдыха был самый дешевый, 2¹/₂ франка в день с человека. Правда, это был «молочный» дом отдыха — утром давали кофе с молоком и хлеб с маслом и сыром, но без сахара, в обед — молочный суп, что-нибудь из творога и молоко на третье, в 4 часа опять кофе с молоком, вечером еще что-то молочное. Первые дни мы прямо взвы-

ли от этого молочного лечения, но потом дополняли его едой малины и черники, которые росли кругом в громадном количестве. Комната наша была чиста, освещенная электричеством, безобстановочная, убирать ее надо было самим, и сапоги надо было чистить самим. Последнюю функцию взял на себя, подражая швейцарцам, Владимир Ильич и каждое утро забирал мои и свои горные сапоги и отправлялся с ними под навес, где полагалось чистить сапоги, пересмеивался с другими чистильщиками и так усердствовал, что раз даже при общем хохоте смахнул стоявшую тут же плетеную корзину с целой кучей пивных бутылок. Публика была демократическая. В доме отдыха, где цена за содержание была 2½ франка с человека, «порядочная» публика не селилась. В некотором отношении этот дом отдыха напоминал французский Бомбон, но публика была попроще, победнее, с швейцарским демократическим налетом. По вечерам хозяйский сын играл на гармонии и отдыхающие плясали вовсю, часов до одиннадцати раздавался топот пляшущих. Чудивизе было километрах в восьми от станции, сообщение возможно было лишь на ослах, дорога шла тропинками по горам, все ходили пешком, и вот почти каждое утро, часов в шесть утра, начинал названивать колокол, собиралась публика провожать уходящих и пели какую-нибудь прощальную песню про кукушку какую-то. Каждый куплет кончался словами: «Прощай, кукушка». Владимир Ильич, любивший утром поспать, ворчал и плотнее закутывался в одеяло с головой. Публика была аполитична. Даже на тему о войне никогда не заходили разговоры. В числе отдыхающих был солдат. У него были не особенно крепкие легкие, и потому начальство послало его на казенный счет лечиться в молочную санаторию. В Швейцарии военные власти очень заботятся о солдатах (в Швейцарии не постоянное войско, а милиция). Парень был довольно славный. Владимир Ильич ходил около него, как кот около сала, заводил с ним несколько раз разговор о грабительском характере происходящей войны, парень не возражал, но явно не клевало. Видно было, что его весьма мало интересуют политические вопросы, гораздо больше — времяпрепровождение в Чудивизе.

В Чудивизе к нам никто не приезжал, русских там никаких не жило, и мы жили оторванные от всех дел,

шатались по горам целыми днями. В Чудивизе Ильич не занимался вовсе. Гуляя по горам, он много говорил о занимавших его вопросах, о роли демократии, о положительных и отрицательных сторонах швейцарской демократии, говорил, часто повторяя одну и ту же мысль отдельными фразами; видно было, что эти вопросы сугубо занимали его. Вторую половину июля и август мы прожили в горах. Когда мы уезжали, и нас санаторы провожали, как всех, пением: «Прощай, кукушка». Спускаясь вниз через лес, Владимир Ильич вдруг увидел белые грибы и, несмотря на то что шел дождь, принялся с азартом за их сбор, точно левых циммервальдцев вербовал. Мы вымокли до костей, но грибов набрали целый мешок. Запоздали, конечно, к поезду, и пришлось часа два сидеть на станции в ожидании следующего поезда.

По приезде в Цюрих мы опять поселились у тех же хозяев, на Шпигельгассе.

За время пребывания в Чудивизе Владимир Ильич со всех сторон обдумал план работы на ближайшее время. Первое, что важно было, особенно в данный момент, это — теоретическая спевка, установление четкой теоретической линии...

Владимир Ильич стал усиленно перечитывать все, что писали Маркс и Энгельс о государстве, делать оттуда выписки. Эта работа вооружала его особо глубоким пониманием характера грядущей революции, дала ему серьезнейшую подготовку в деле понимания конкретных задач этой революции...

Осенью 1916 и в начале 1917 гг. Ильич с головой ушел в теоретическую работу. Он старался использовать все время, пока была открыта библиотека: шел туда ровно к 9 часам, сидел там до 12, домой приходил ровно в 12 часов 10 минут (от 12 до 1 часу библиотека не работала), после обеда вновь шел в библиотеку и оставался там до 6 часов. Дома было работать не очень удобно. Хотя комната у нас была светлая, но выходила во двор, где стояла невыносимая вонь, ибо во двор выходила колбасная фабрика. Только поздно ночью открывали мы окно. По четвергам после обеда, когда библиотека закрывалась, мы уходили на гору, на Цюрихберг. Идя из библиотеки, Ильич обычно покупал две голубые плитки шоколада с калеными орехами по 15 сантимов, после обеда мы забирали этот шоколад и книги и шли на гору. Было у нас там излюбленное место в самой чаще,

где не бывало публики, и там, лежа на траве, Ильич усердно читал.

В то время мы наводили сугубую экономию в личной жизни. Ильич всюду усиленно искал заработка,— писал об этом Гранату, Горькому, родным, раз даже развивал Марку Тимофеевичу, мужу Анны Ильиничны, целый фантастический план издания «Педагогической энциклопедии», над которой я буду работать. Я в это время много работала над изучением вопросов педагогики, знакомясь с практической постановкой школ в Цюрихе. Причем, развивая этот фантастический план, Ильич до того увлекся, что писал о том, что важно, чтобы кто-нибудь не перехватил эту идею.

Насчет литературных заработков дело подвигалось медленно, и потому я решила искать работу в Цюрихе. В Цюрихе было бюро эмигрантских касс, во главе которого стоял Феликс Яковлевич Кон. Я стала секретарем бюро и стала помогать Феликсу Яковлевичу в его работе.

Правда, заработок это был полумифический, но дело было нужное, а надо было помогать товарищам по подысканию работы, по устройству всяких предприятий и по помощи в лечении. Денег в кассе в то время имелось очень мало, так что больше было проектов, чем реальной помощи. Помню, был проект создать санаторию на самокупаемости; у швейцарцев есть такие санатории: больные занимаются по нескольку часов в день огородничеством и садоводством или плетением стульев на открытом воздухе, чем значительно удешевляется их содержание. Процент больных туберкулезом среди эмигрантской публики был очень велик.

Так жили мы в Цюрихе, помаленьку да потихоньку, а ситуация становилась уже гораздо более революционной. Наряду с работой в теоретической области Ильич считал чрезвычайно важным выработку правильной тактической линии... Необходимо вести революционную борьбу за социализм и разоблачать самым беспощадным образом оппортунистов, у которых слова расходятся с делами, которые на деле служат буржуазии, предадут дело пролетариата. Никогда, кажется, не был так непримиримо настроен Владимир Ильич, как в последние месяцы 1916 и первые месяцы 1917 гг.

Он был глубоко уверен в том, что надвигается революция.

ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ В ЭМИГРАЦИИ

1917 г.

22 января 1917 г. Владимир Ильич выступил на собрании молодежи, организованном в цюрихском Народном доме. Он говорил о революции 1905 года. В Цюрихе в это время было немало революционно настроенной молодежи из других стран — из Германии, Италии и пр., не хотевших принимать участия в империалистической войне, и Владимир Ильич хотел для этой молодежи осветить как можно полнее опыт революционной борьбы рабочих, показать значение Московского восстания; он считал революцию 1905 г. прологом грядущей европейской революции... Что таковы перспективы, Ильич ни минуты не сомневался. Но как скоро придет эта грядущая революция — знать этого он, конечно, не мог. «Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции», — с затаенной грустью сказал он в заключительной фразе. И все же только об этой грядущей революции и думал Ильич, для нее работал.

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Отъезд в Россию

Однажды, когда Ильич уже собрался после обеда уходить в библиотеку, а я кончила убирать посуду, пришел Бронский со словами: «Вы ничего не знаете?! В России революция!» — И он рассказал нам, что было в вышедших экстренным выпуском телеграммах. Когда ушел Бронский, мы пошли к озеру, там на берегу под навесом вывешивались все газеты тотчас по выходу.

Перечитали телеграммы несколько раз. В России действительно была революция. Усиленно заработала мысль Ильича. Не помню уж, как прошли конец дня и ночь. На другой день получились вторые правительственные телеграммы о февральской революции, и Ильич пишет уже Коллонтай в Стокгольм:

«Ни за что снова по типу второго Интернационала! Ни за что с Каутским! Непременно более революционная программа и тактика». И далее: «...по-прежнему революционная пропаганда, агитация и борьба с целью меж-

дународной пролетарской революции и завоевания власти «Советами рабочих депутатов» (а не кадетскими жуликами)».

Линию Ильич сразу брал четкую, непримиримую, но размаха революции он еще не ощутил, он еще мерил на размах революции 1905 г., говоря, что важнейшей задачей в данный момент является это соединение легальной работы с нелегальной.

На другой день, в ответ на телеграмму Коллонтай о необходимости директив, он уже пишет иначе, конкретнее, он уже не говорит о завоевании власти Советами рабочих депутатов в перспективе, а говорит уже о конкретной подготовке к завоеванию власти, о вооружении масс, о борьбе за хлеб, мир и свободу. «Вширь! Новые слои поднять! Новую инициативу будить, новые организации во всех слоях и им *доказать*, что *мир* даст лишь вооруженный Совет рабочих депутатов, если он возьмет власть». Вместе с Зиновьевым засел Ильич за составление резолюции о февральской революции.

С первых же минут, как только пришла весть о февральской революции, Ильич стал рваться в Россию.

Англия и Франция ни за что бы не пропустили в Россию большевиков. Для Ильича это было ясно. «Мы боимся,— писал он Коллонтай,— что выехать из проклятой Швейцарии не скоро удастся». И, рассчитывая на это, он в письмах от 16 и 17 марта к Коллонтай уславливается о том, как лучше наладить сношения с Питером.

Надо ехать нелегально, легальных путей нет. Но как? Сон пропал у Ильича с того момента, когда пришли вести о революции, и вот по ночам строились самые невероятные планы. Можно перелететь на аэроплане. Но об этом можно было думать только в ночном полубреду. Стоило это сказать вслух, как ясно становилась неосуществимость, нереальность этого плана. Надо достать паспорт какого-нибудь иностранца из нейтральной страны, лучше всего шведа: швед вызовет меньше всего подозрений. Паспорт шведа можно достать через шведских товарищей, но мешает незнание языка. Может быть, немного? Но легко проговориться. «Заснешь, увидишь во сне меньшевиков и станешь ругаться: сволочи, сволочи! Вот и пропадет вся конспирация»,— смеялась я.

Все же Ильич запросил Ганецкого, нельзя ли перебраться как-нибудь контрабандой через Германию.

В день памяти Парижской коммуны, 18 марта, Ильич ездил в Шо-де-Фон — крупный швейцарский рабочий центр. Охотно поехал туда Ильич, там жил Абрамович, молодой товарищ, работал там на заводе, принимал активное участие в швейцарском рабочем движении. О Парижской коммуне, о том, как применить опыт ее к начавшемуся русскому революционному движению, как не повторять ее ошибок,— об этом много думал Ильич в последние дни, и потому реферат этот вышел у него очень удачным, и сам он был доволен им. На наших товарищей реферат произвел громадное впечатление, швейцарцам он показался чем-то мало реальным — далеки были даже рабочие швейцарские центры от понимания происходивших в России событий.

19 марта состоялось совещание различных политических групп русских эмигрантов-интернационалистов, проживавших в Швейцарии, о том, как пробраться в Россию. Мартов выдвинул проект — добиться пропуска эмигрантов через Германию в обмен на интернированных в России германских и австрийских пленных. Однако никто на это не шел. Только Ленин ухватился за этот план. Его надо было проводить осторожно. Лучше всего было начать переговоры по инициативе швейцарского правительства. Переговоры со швейцарским правительством поручено было вести Гримму. Из них ничего не вышло. На посланные в Россию телеграммы ответов не получалось. Ильич мучился. «...Какая это попытка для всех нас сидеть здесь в такое время», — писал он в Стокгольм Ганецкому. Но он уже держал себя в руках...

Переговоры затягивались, Временное правительство явно не желало пропустить в Россию интернационалистов, а вести, приходившие из России, говорили о некоторых колебаниях среди товарищей. Все это заставило торопиться с отъездом. Ильич послал телеграмму Ганецкому, которую тот получил лишь 25 марта.

«У нас непонятная задержка. Большевики требуют санкции Совета рабочих депутатов. Пошлите немедленно в Финляндию или Петроград кого-нибудь договориться с Чхеидзе, насколько это возможно. Желательно мнение Беленина». Под Белениным подразумевалось Бюро Центрального Комитета. 18 марта приехала в Россию Коллонтай, рассказала, как обстоит дело с приездом Ильича, получились письма от Ганецкого. Бюро ЦК дало через Ганецкого директиву: «Ульянов должен тотчас же прие-

хать». Эту телеграмму Ганецкий перетелеграфировал Ленину. Владимир Ильич настоял на том, чтобы начать переговоры при посредстве Фрица Платтена, швейцарского социалиста-интернационалиста. Платтен заключил точное письменное условие с германским послом в Швейцарии. Главные пункты условия были: 1) Едут все эмигранты без различия взглядов на войну. 2) В вагон, в котором следуют эмигранты, никто не имеет права входить без разрешения Платтена. Никакого контроля ни паспортов, ни багажа. 3) Едущие обязуются агитировать в России за обмен пропущенных эмигрантов на соответствующее число австро-германских интернированных. Ильич стал энергично готовить отъезд, списываться с Берном, Женевой, с рядом товарищей...

Приходилось оставлять двоих близких товарищей, Карла и Каспарова, тяжело больных, умиравших в Давосе. Ильич написал им прощальный привет.

Собственно говоря, это была лишь приписка к моему длинному письму. Писала я подробно, кто едет, как собираемся, какие планы. Ильич написал лишь пару слов, но из них видно, как понимал он, что переживают остающиеся товарищи, как им тяжело, и сказал самое важное:

«Дорогой Каспаров! Крепко, крепко жму руку Вам и Карлу, желаю бодрости. Потерпеть надо. Надеюсь, в Питере встретимся и скоро.

Еще раз лучшие приветы обоим. Ваш *Ленин*».

«Желаю бодрости. Потерпеть надо»... Да, в этом было дело. Встретиться больше не пришлось. И Каспаров и Карл умерли вскоре.

Для цюрихской газеты «*Volksrecht*» Ильич написал «О задачах РСДРП в русской революции», написал «Прощальное письмо к швейцарским рабочим», кончавшееся словами:

«Да здравствует *начинающаяся* пролетарская революция в Европе!» Написал Ильич письмо и к «Товарищам, томящимся в плену», где рассказывал им о прошедшей революции и о предстоящей борьбе. Нельзя было не написать им. Еще когда мы жили в Берне, начата была и довольно широко поставлена переписка с русскими пленными, томившимися в немецких лагерях. Материальная помощь, конечно, не могла быть очень велика, но мы помогали чем могли, писали им письма, посылали литературу. Завязался ряд очень тесных сношений. После нашего отъезда из Берна работу продолжали Сафаровы.

В плен мы посылали нелегальную литературу, пересылали брошюру Коллонтай о войне, которая имела громадный успех, ряд листовок и пр.

За несколько месяцев до нашего отъезда в Цюрихе появились двое пленных: один — воронежский крестьянин Михалев, другой — одесский рабочий. Они бежали из немецкого плена, переплыв Боденское озеро. Заявились они в нашу Цюрихскую группу. Ильич много с ними толковал. Особенно много интересного рассказывал про плен Михалев. Он рассказывал, как сначала украинцев-пленных направили в Галицию, как вели среди них украинофильскую агитацию, натравливая против России, потом перебросили его в Германию и использовали как рабочую силу в богатых крестьянских хозяйствах. «Как у них все налажено, ни одна корка даром не пропадет! Вот вернусь к себе на село — так же хозяйничать буду!» — восклицал Михалев. Был он из староверов, дедушка и бабушка поэтому запретили ему грамоте учиться: печать-де дьявола. В плену уж выучился он грамоте. В плен посылали ему бабка да дедка пшено и сало, и немцы с удивлением смотрели, как варил он и ел пшеничную кашу. В Цюрихе рассчитывал Михалев поступить в университет народный и все возмущался, что не водится в Цюрихе народных университетов. Его интернировали, Он стал на какие-то земляные работы и все удивлялся на забитость швейцарского рабочего люда. «Иду я, — рассказывал он, — в контору получать деньги за работу, смотрю — стоят рабочие швейцарские и войти в контору не решаются, жмутся к стенке, в окно заглядывают. Какой забитый народ! Я пришел, сразу дверь отворяю, в контору иду, за свой труд деньги брать иду!» Только что выучившийся грамоте крестьянин ЦЧО¹, толкующий о забитости швейцарского рабочего люда, очень заинтересовал Ильича. Рассказывал еще Михалев, как, когда он был в плену, приезжал туда русский священник. Не захотели его слушать солдаты, кричать стали, ругаться. Подошел один пленный к попу, поцеловал ему руку и говорит: «Уезжайте, батюшка, не место вам тут». Просились Михалев и его товарищи, чтобы мы взяли их с собой в Россию, да не знали мы, что с нами будет, — могли ведь всех переарестовать. После нашего отъезда Михалев перебрался во Францию, сначала в Париже жил, по-

¹ Центральная черноземная область.

том работал где-то на тракторном заводе, потом где-то на востоке Франции, где было много польских эмигрантов. В 1918 г. (или в 1919 г., не помню точно) вернулся Михалев в Россию. Ильич с ним выдался. Рассказывал Михалев, как в Париже его и еще нескольких бежавших из немецкого плена солдат вызвали в русское посольство и предлагали подписать воззвание о необходимости продолжать войну до победного конца. И хоть говорили с солдатами важные чиновники, украшенные орденами, но не подписали солдаты воззвания. «Встал я и сказал, что войну кончать надо, и пошел. Потихоньку вышли и другие». Рассказывал Михалев, какую агитацию против войны развернула в том французском городке, где он жил, молодежь. Сам Михалев уж не походил ни в малейшей мере на воронежского крестьянина: на голове — французская кепка, ноги обмотаны обмотками защитного цвета, лицо тщательно выбрито. Ильич устроил Михалева на работу где-то на заводе. Но все мысли Михалева неслись к родному селу. Село его переходило из рук в руки, от красных к белым и обратно, середина села вся была спалена белыми, но дом их уцелел, и бабка и дедка живы были. Михалев заходил ко мне в Главполитпросвет и рассказывал про все это и про себя, что собирается домой. «Что ж не едете?» — спрашиваю. «Жду, борода когда отрастет, а то увидят меня бритого бабка с дедкой, помрут от горя!» В этом году я получила письмо от Михалева. Он работает где-то в Средней Азии на железной дороге, пишет, что в дни памяти Ильича рассказывал он, как видел в 1917 г. Ильича в Цюрихе, о нашей жизни за границей рассказывал в рабочем клубе. Слушали его с интересом все, а потом усомнились, могло ли это быть, и просил Михалев меня подтвердить, что был он у Ильича в Цюрихе. Михалев был куском живой жизни. Таким же куском были и письма пленных, присылаемые в нашу комиссию помощи пленным.

Не мог уехать Ильич в Россию, не написав им о том, что больше всего волновало его в эту минуту.

Когда пришло письмо из Берна, что переговоры Платена пришли к благополучному концу, что надо только подписать протокол и можно уже двигаться в Россию, Ильич моментально сорвался: «Поедем с первым поездом». До поезда оставалось два часа. За два часа надо было ликвидировать все наше «хозяйство», расплатиться с хозяйкой, отнести книги в библиотеку, уложиться и

пр. «Поезжай один, я приеду завтра». Но Ильич настаивал: «Нет, едем вместе». В течение двух часов все было сделано: уложены книги, уничтожены письма, отобрана необходимая одежда, вещи, ликвидированы все дела. Мы уехали с первым поездом в Берн.

В бернский Народный дом стали съезжаться едущие в Россию товарищи... Всего ехало 30 человек, если не считать четырехлетнего сынишки бундовки, ехавшей с нами,— кудрявого Роберта. Сопровождал нас Фриц Платтен.

Оборонцы подняли тогда невероятный вой по поводу того, что большевики едут через Германию. Конечно, германское правительство, давая пропуск, исходило из тех соображений, что революция — величайшее несчастье для страны, и считало, что, пропуская эмигрантов-интернационалистов на родину, они помогут развертыванию революции в России. Большевики же считали своей обязанностью развернуть в России революционную агитацию, победоносную пролетарскую революцию ставили они целью своей деятельности. Их очень мало интересовало, что думает буржуазное германское правительство. Они знали, что оборонцы будут обливать их грязью, но что массы в конце концов пойдут за ними. Тогда 27 марта рискнули ехать лишь большевики, а месяц спустя тем же путем через Германию проехало свыше 200 эмигрантов, в том числе Л. Мартов и другие меньшевики.

Ни вещей у нас при посадке не спрашивали, ни паспортов. Ильич весь ушел в себя, мыслью был уже в России. Дорогой говорили больше о мелочах. По вагону раздавался веселый голосок Роберта, который особым симпатией воспытал к Сокольникову и не желал разговаривать с женским полом. Немцы старались показать, что у них всего много, повар подавал исключительно сытные обеды, к которым наша эмигрантская братия не очень-то была привычна. Мы смотрели в окна вагона, поражало полное отсутствие взрослых мужчин: одни женщины, подростки и дети были видны на станциях, на полях, на улицах города. Эта картина вспоминалась потом часто в первые дни приезда в Питер, когда поражало обилие солдат, заполнявших все трамваи.

На берлинском вокзале наш поезд поставили на запасный путь. Около Берлина в особое купе сели какие-то немецкие социал-демократы. Никто из наших с ними не

говорил, только Роберт заглянул к ним в купе и стал допрашивать их на французском языке: «Кондуктор, он что делает?» Не знаю, ответили немцы Роберту, что делает кондуктор, но своих вопросов им так и не удалось предложить большевикам. 31 марта мы уже въехали в Швецию. В Стокгольме нас встретили шведские социал-демократические депутаты — Линдхаген, Карльсон, Штрём, Туре Нерман и др. В зале было вывешено красное знамя, устроено собрание. Как-то плохо помню Стокгольм, мысли были уже в России. Фрица Платтена и Радека Временное правительство в Россию не впустило. Оно не посмело сделать того же в отношении большевиков. На финских вейках переехали мы из Швеции в Финляндию. Было уже все свое, милое — плохонькие вагоны третьего класса, русские солдаты. Ужасно хорошо было. Немного погодя Роберт уже очутился на руках какого-то пожилого солдата, обнял его ручонкой за шею, что-то лопотал по-французски и ел творожную пасху, которой кормил его солдат. Наши прильнули к окнам. На перронах станций, мимо которых проезжали, стояли толпой солдаты. Усиевич высунулся в окно. «Да здравствует мировая революция!» — крикнул он. Недоуменно посмотрели на него солдаты. Мимо нас прошел несколько раз бледный поручик, и когда мы с Ильичем перешли в соседний пустой вагон, подсел к нему и заговорил с ним. Поручик был оборонец, Ильич защищал свою точку зрения — был тоже ужасно бледен. А в вагон мало-помалу набирались солдаты. Скоро набился полный вагон. Солдаты становились на лавки, чтобы лучше слышать и видеть того, кто так понятно говорит против грабительской войны. И с каждой минутой росло их внимание, напряженнее делались их лица.

В Белоострове нас встретили Мария Ильинична, Шляпников, Сталь и другие товарищи. Были работницы. Сталь все убеждала меня сказать им несколько ответственных слов, но у меня пропали все слова, я ничего не могла сказать. Товарищи сели с нами. Ильич спрашивал, арестуют ли нас по приезде. Товарищи улыбались. Скоро мы приехали в Питер.

В Питере

Питерские массы, рабочие, солдаты, матросы, пришли встречать своего вождя. Было много близких това-

рищей. В числе их с красной широкой перевязью через плечо Чугурин — ученик школы Лонжюмо; лицо его было мокро от слез. Кругом народное море, стихия.

Тот, кто не пережил революции, не представляет себе ее величественной, торжественной красоты. Красные знамена, почетный караул из кронштадтских моряков, рефлекторы Петропавловской крепости, освещающие путь от Финляндского вокзала к дому Кшесинской, броневики, цепь из рабочих и работниц, охраняющих путь.

Встречать на Финляндский вокзал приехали Чхеидзе и Скобелев в качестве официальных представителей Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Товарищи повели Ильича в царские покои, где находились Чхеидзе и Скобелев. Когда Ильич вышел на перрон, к нему подошел капитан и, вытянувшись, что-то отрапортовал. Ильич, смутившись немного от неожиданности, взял под козырек. На перроне стоял почетный караул, мимо которого провели Ильича и всю нашу эмигрантскую братию, потом нас посадили в автомобили, а Ильича поставили на броневик и повезли к дому Кшесинской. «Да здравствует социалистическая мировая революция!» — бросал Ильич в окружавшую многотысячную толпу.

Начало этой революции уже ощущал Ильич всем существом своим.

Нас привезли в дом Кшесинской, где помещались тогда ЦК и Петроградский комитет. Наверху был устроен товарищеский чай, хотели питерцы организовать приветственные речи, но Ильич перевел разговор на то, что его больше всего интересовало, стал говорить о той тактике, которой надо держаться. Около дома Кшесинской стояли толпы рабочих и солдат. Ильичу пришлось выступать с балкона. Впечатления от встречи, от этой поднятой революционной стихии заслоняли все.

Потом мы поехали домой, к нашим, к Анне Ильиничне и Марку Тимофеевичу. Мария Ильинична жила с ними. Жили они на Петроградской стороне, на Широкой улице. Нам отвели особую комнату. Мальчонка, который рос у Анны Ильиничны, Гора, по случаю нашего приезда над обеими нашими кроватями вывесил лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Мы почти не говорили с Ильичем в ту ночь — не было ведь слов, чтобы выразить пережитое, но и без слов было все понятно.

Время было такое, что нельзя было терять ни минуты. Не успел Ильич встать, а уж приехали за ним това-

рищи, чтобы ехать на совещание большевиков — членов Всероссийской конференции Советов рабочих и солдатских депутатов. Дело происходило в Таврическом дворце, где-то наверху. Ленин в десятке тезисов изложил свой взгляд на то, что надо делать сейчас. Он дал в этих тезисах оценку положения, ясно, четко наметил те цели, к которым надо стремиться, и пути, по которым надо идти, чтобы добиться этих целей. Публика наша как-то растерялась в первую минуту. Многим показалось, что очень уж резко ставит вопрос Ильич, что говорить о социалистической революции еще рано.

Внизу шло заседание меньшевиков. Оттуда пришел товарищ и стал настаивать на том, чтобы Ильич сделал тот же доклад на общем собрании и меньшевистских, и большевистских делегатов. Собрание большевиков постановило, чтобы Ильич повторил на общем собрании всех социал-демократов свой доклад. Ильич это сделал. Собрание происходило внизу, в большом зале Таврического дворца. Помню, первое, что бросилось в глаза, это — сидевший в президиуме Гольденберг (Мешковский). В революции 1905 г. это был твердый большевик, один из самых близких товарищей по борьбе. Теперь он пошел следом за Плехановым, стал оборонцем. Ленин говорил около двух часов. Против него выступил Гольденберг. Выступил чрезвычайно резко, говорил о том, что Лениным водружено знамя гражданской войны в среде революционной демократии. Видно стало, как далеко разошлись дороги. Запомнилась мне еще речь Коллонтай, горячо выступившей в защиту тезисов Ленина.

Плеханов в своей газете «Единство» назвал тезисы Ленина «бредом».

Тезисы Ленина были через три дня, 7 апреля, напечатаны в «Правде». На другой день в «Правде» же появилась статья Каменева «Наши разногласия», которая отгораживалась от этих тезисов. В статье Каменева указывалось, что тезисы Ленина — его личное мнение, что ни «Правда», ни Бюро ЦК их не разделяют. Делегаты-большевики того совещания, на котором Ленин выступил с своими тезисами, приняли-де не эти тезисы, а тезисы Бюро Центрального Комитета. Каменев заявлял, что «Правда» остается на старых позициях.

Внутри большевистской организации началась борьба. Она длилась недолго. Через неделю состоялась Общегородская конференция большевиков г. Петрограда,

которая дала победу точке зрения Ильича. Конференция продолжалась восемь дней (с 14 по 22 апреля); за эти дни произошел ряд крупных событий, которые показали, насколько прав был Ленин.

7 апреля — в день появления в печати тезисов Ленина — Исполнительный комитет Петроградского Совета голосовал еще за «Заем свободы».

В буржуазных газетах и в газетах оборонческих началась бешеная травля Ленина и большевиков. Никто не считался с заявлением Каменева, все знали, что внутри большевистской организации верх возьмет точка зрения Ленина. Травля Ленина способствовала быстрой популяризации тезисов. Ленин называл происходящую войну империалистической, грабительской, все видели — он всерьез за мир. Это волновало матросов, солдат, волновало тех, для кого вопрос о войне был вопросом жизни и смерти. 10 апреля Ленин выступал в Измайловском полку, 15-го стала выходить «Солдатская правда», а 16-го солдаты и матросы Петрограда уже устроили демонстрацию против травли Ленина и большевиков.

18 апреля (1 мая) состоялись грандиозные первомайские демонстрации по всей России, никогда раньше не виданные.

И 18-го же апреля министр иностранных дел Милюков издал ноту от имени Временного правительства, где говорилось, что оно поведет войну до победного конца и что оно считает нужным выполнить все обязательства перед союзниками. Что же сделали большевики? Большевики объяснили в печати, какие это обязательства. Они указали, что Временное правительство обещает выполнить те обязательства, которые дало правительство Николая II и вся царская шайка. Они указали, перед кем эти обязательства. Это были обязательства перед буржуазией.

И вот, когда это стало ясно массам, они вышли на улицу. 21 апреля массы устроили демонстрацию на Невском. На Невском же устроили демонстрацию и сторонники Временного правительства.

Эти события сплотили большевиков. Резолюции петроградской большевистской организации были приняты в духе Ленина.

21 и 22 апреля ЦК вынес резолюции, которые ясно указывали на необходимость разоблачить Временное правительство, осуждали соглашательскую тактику

Петроградского Совета, призывали к перевыбору рабочих и солдатских депутатов, призывали укреплять Советы, звали вести широкую разъяснительную работу и в то же время указывали на несвоевременность попыток немедленного свержения Временного правительства.

К моменту открытия Всероссийской конференции (24 апреля), три недели спустя после оглашения Лениным своих тезисов, уже достигнуто было единство в среде большевиков.

По приезде в Питер я мало стала видеть Ильича — он работал в ЦК, работал в «Правде», ездил по собраниям. Я пошла работать в секретариат ЦК в доме Кшесинской, но в секретариате работа была не похожа на заграничную секретарскую работу и на секретарскую работу 1905—1907 гг., когда приходилось вести довольно большую самостоятельную работу по директивам Ильича. Секретарем была Стасова, у нее были технические работники, я толковала с приходившими работниками, но местную работу я знала тогда еще мало. Часто приходили цекисты, чаще всего Свердлов. Настоящей осведомленности у меня не было. Меня очень тяготило отсутствие у меня определенных функций. Зато жадно впитывала я в себя окружающую жизнь. Улицы тогда представляли интересное зрелище: везде собирались кучками, везде в этих кучках шли горячие споры о текущем моменте, о всех событиях. Подойдешь к толпе и слушаешь. Раз я с Широкой до дома Кшесинской три часа шла, так заняты были эти уличные митингования. Против нашего дома был какой-то двор — вот откроешь ночью окно и слушаешь горячие споры. Сидит солдат, около него постоянно кто-нибудь — кухарки, горничные соседних домов, какая-то молодежь. В час ночи доносятся отдельные слова: большевики, меньшевики... в три часа: Милюков, большевики... в пять часов — все то же, политика, митингование. Белые ночи питерские теперь у меня всегда связываются в воспоминании с этими ночными митингованиями.

В секретариате ЦК приходилось видеть много народу, там же, в доме Кшесинской, помещался ПК, военная организация, «Солдатская правда». Ходила я иногда на заседания ПК, узнавала поближе публику, следила за работой Петроградского комитета. Интересовали меня также очень подростки, рабочая молодежь. Ребят захватывало движение. Среди них были сторонники раз-

ных направлений — и большевиков, и меньшевиков, и эсеров, и анархистов. Организация охватывала до 50 тысяч молодежи, но первое время движение было достаточно беспризорное. Я повела среди них кое-какую работу. Прямой контраст этой рабочей молодежи представляли собой учащиеся старших групп средней школы. Часто толпой они подходили к дому Кшесинской и выкрикивали разные ругательства по адресу большевиков. Видно было, что их здорово обрабатывают.

Вскоре после приезда — точно не помню числа — я была на учительском съезде. Народу было там уйма, учительство было целиком под влиянием эсеров. На съезде выступали видные оборонцы. В тот день, когда я там была, выступал утром, до моего прихода, еще Алексинский. Социал-демократов — большевиков, меньшевиков-интернационалистов — было всего человек 15—20; они собрались в особой небольшой комнатухе, обменивались разными соображениями по поводу того, за какую школу надо будет бороться. Многие из присутствовавших на этом собрании работали потом в районных думах. Учительская масса была охвачена шовинистским угаром.

18 апреля (1 мая) Ильич принимал участие в первомайской демонстрации. Он выступал на Охте и на Марсовом поле. Я не слышала его выступлений — лежала в этот день, не могла даже подняться с постели. Когда Ильич вернулся, меня поразило его взволнованное лицо. Живучи за границей, мы обычно ходили на маевки, но одно дело маевки с разрешения полиции, другое дело — маевки революционного народа, народа, победившего царизм.

21 апреля я должна была встретиться с Ильичем у Данского. Мне был дан адрес: Старо-Невский, 3, и я прошла пешком весь Невский. Из-за Невской заставы шла большая рабочая демонстрация. Ее приветствовала рабочая публика, заполнявшая тротуары. «Идем! — кричала молодая работница другой работнице, стоявшей на тротуаре. — Идем, всю ночь будем ходить!» Навстречу рабочей демонстрации двигалась другая толпа, в котелках и шляпках; их приветствовали котелки и шляпки с тротуара. Ближе к Невской заставе преобладали рабочие, ближе к Морской, около Полицейского моста, было засилье котелков. Среди этой толпы из уст в уста передавался рассказ о том, как Ленин при помощи герман-

ского золота подкупил рабочих, которые теперь все за него. «Надо бить Ленина!» — кричала какая-то по-модному одетая девица. «Перебить бы всех этих мерзавцев», — кипятился какой-то котелок. Класс против класса! Рабочий класс был за Ленина.

С 24 по 29 апреля состоялась Всероссийская апрельская конференция. Был на ней 151 делегат, был на ней выбран новый ЦК, вопросы на ней обсуждались чрезвычайно важные — о текущем моменте, о войне, о подготовке III Интернационала, о национальном вопросе, об аграрном вопросе, о партийной программе.

Мне особенно запомнилась речь Ильича о текущем моменте. В этой речи особенно как-то ярко выступило отношение Ильича к массам, то, как внимательно вглядывался он в то, чем массы живут, что переживают...

В 1917 г., в начале мая, был составлен Ильичем набросок изменений в партийной Программе. Империалистская война и революция произвели крупнейшие изменения во всем укладе, требовали целого ряда новых оценок, новых подходов — прежняя Программа страшно устарела.

Вся наметка новой Программы-минимум дышала стремлением улучшить, поднять жизненный уровень масс, дать простор их самодеятельности.

Меня все больше тяготила моя работа в секретариате, хотелось пойти на непосредственную массовую работу, хотелось также чаще видеть Ильича, за которого охватывала все большая и большая тревога. Его травили все сильнее и сильнее. Идешь по Петербургской стороне и слышишь, как какие-то домохозяйки толкуют: «И что с этим Лениным, приехавшим из Германии, делать? в колодези его, что ли, утопить?» Конечно, ясно было, откуда идут все эти разговоры о подкупе, о предательстве, но не гораздо их было весело слушать. Одно дело, когда говорят буржуи, другое дело, когда это говорят массы. Я написала для «Солдатской правды» о том, кто такой Ленин, озаглавила «Страничка из истории партии». Владимир Ильич просмотрел рукопись, внес в нее поправки, и она была напечатана в № 21 «Солдатской правды» от 13 мая 1917 года.

Когда Владимир Ильич возвращался домой усталый, у меня язык не поворачивался спрашивать его о делах. Но и ему, и мне хотелось поговорить так, как привыкли, во время прогулки. И мы иногда, редко впрочем, ходили

гулять по более глухим улицам Петроградской стороны. Раз, помню, ходили на такую прогулку вместе с тт. Шаумяном и Енукидзе. Шаумян тогда передал Ильичу красные значки, которые его сыновья заказали ему передать Ленину. Ильич улыбался.

Тов. Шаумяна, Степана, пользовавшегося громадным влиянием среди бакинского пролетариата, мы знали уже давно. Сразу же после II съезда он примкнул к большевикам, был и на Стокгольмском съезде и на Лондонском. На Стокгольмском съезде он входил в мандатную комиссию. По величине этот съезд был несравним ни со вторым, ни с третьим съездом. На тех съездах знали, что каждый делегат представляет собой, тут же было много совсем малоизвестных делегатов. Шла в мандатной комиссии из-за каждого делегата острая фракционная борьба. Помню, как маялся в этой комиссии Шаумян. На Лондонском съезде я не была. Потом, во вторую эмиграцию, мы усиленно переписывались с бакинцами. Помню, как запрашивали они меня о причинах раскола с впередовцами и как подробно приходилось отвечать, описывать, как, из-за чего шли споры.

В 1913 г. у Ильича оживилась переписка с Шаумяном по национальному вопросу. Очень интересно письмо, в котором в мае 1914 г. Ильич развивает мысль о том, что надо бы, чтобы марксисты всех или очень многих национальностей составили для внесения в Государственную думу проект закона о равноправии наций и о защите прав национальных меньшинств. В этот проект, по мысли Ильича, должна была войти полная расшифровка того, что входит в наше понимание равноправия, в том числе и вопрос о языке и вопрос о школе, о культуре вообще, но взятые во всех связях и опосредствованиях...

Осталось в памяти выступление Ильича на I Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов. Съезд происходил в кадетском корпусе на Первой линии Васильевского острова. Шли по длинным коридорам, в классах было устроено общежитие для делегатов. В зале, полном народу, большевики сидели сзади небольшой группы. Речи Ленина аплодировали только большевики, но было несомненно, что она произвела сильное впечатление. Кто-то потом рассказывал, что Керенский после этой речи пролежал без сознания три часа. Не знаю уже, насколько это соответствовало истине.

Дни перелома *

В июне проходили выборы в районные думы. Я ходила смотреть, как проходит предвыборная кампания на Васильевском острове. Улицы были залиты рабочим людом. Преобладали рабочие Трубочного завода, было много работниц с фабрики Лаферм. Фабрика Лаферм голосовала за эсеров. Всюду шли горячие споры, обсуждали не кандидатов, не лиц, а деятельность партии, за что та или другая партия стоит. Вспоминались выборы по районам, проходившие в Париже в нашу бытность там, поражало там отсутствие политических оценок и масса личных каких-то счетов, приносимых в выборы. Тут была совершенно обратная картина. Бросалось еще в глаза, как выросли массы по сравнению с 1905—1907 гг. Видно было, что все читают газеты разных направлений. В одной группе толковали, возможен ли у нас бонапартизм. Среди публики шмыгала какая-то шпикообразная фигура небольшого роста, особенно как-то неуместная среди этой толпы рабочих, выросших так за последние годы.

Революционное настроение масс росло.

Большевиками на 10 июня назначена была демонстрация. Съезд Советов запретил ее, постановив, что три дня не должно быть никаких демонстраций. Ильич настаивал тогда, чтобы назначенная ПК демонстрация была отменена; он считал, что коли признаем власть Советов, то нельзя не подчиняться постановлениям съезда и тем дать оружие в руки противников. Но, уступая настроению масс, съезд Советов на 18 июня назначил собственную демонстрацию. Он не ожидал того, что получилось. В демонстрации принимало участие около 400 тысяч рабочих и солдат. 90 процентов знамен и плакатов были с лозунгами ЦК большевиков: «Вся власть Советам!», «Долой 10 министров-капиталистов!» За доверие Временному правительству было только три плаката (один принадлежал Бунду, один — плехановскому «Единству», один — казачьему полку). Ильич охарактеризовал 18 июня как один из дней перелома.

«Демонстрация 18-го июня,— писал он,— стала демонстрацией сил и политики революционного пролетариата, указывающего направление революции, указывающего выход из тупика. В этом гигантское историческое значение воскресной демонстрации, в этом ее

отличие принципиальное от демонстраций в день похорон жертв революции и в день 1-го Мая. Тогда это было поголовное *чествование* первой победы революции и ее героев, взгляд, брошенный народом назад на пройденный им наиболее быстро и наиболее успешно первый этап к свободе.

Первое мая было *праздником* пожеланий и надежд, связанных с историей всемирного рабочего движения, с его идеалом мира и социализма.

Ни та, ни другая демонстрация не задавались целью указать *направление* дальнейшего движения революции и не могли указывать его. Ни та, ни другая не ставили перед массами и от имени масс конкретных, определенных, злободневных вопросов о том, куда и как должна пойти революция.

В этом смысле 18-е июня было первой политической демонстрацией *действия*, разъяснением — не в книжке или в газете, а на улице, не через вождя, а через массы — разъяснением того, как разные классы действуют, хотят и будут действовать, чтобы вести революцию дальше.

Буржуазия попряталась».

Прошли выборы в районные думы. Я прошла по Выборгскому району. По Выборгскому району прошли только большевики и небольшое число меньшевиков-интернационалистов, которые не стали работать. В районной управе работали исключительно большевики: Л. М. Михайлов, Кучменко, Чугурин, еще один товарищ и я. Наша управа помещалась сначала в одном помещении с партийным районным комитетом, секретарем которого была Женя Егорова, там же работал т. Лацис. Между работой нашей управы и партийной организацией была самая тесная связь. Работа в Выборгском районе дала мне чрезвычайно много — это была хорошая школа партийной и советской работы. Мне, прожившей долгие годы в эмиграции, не решавшейся выступать даже на небольших собраниях, никогда не написавшей до тех пор ни строки в «Правду», такая школа была необходима.

Выборгский район имел крепкий большевистский актив. Большевики пользовались доверием рабочих масс. Вскоре после моего вступления в работу мне пришлось принимать работу выборгского отделения комиссии помощи солдаткам от старой моей знакомой, с

которой мы когда-то учились в одной гимназии, потом преподавали вместе в воскресной школе и которая в первые годы развития рабочего движения была социал-демократкой,— от Нины Александровны Герд, жены Струве. Теперь мы стояли на совершенно различных политических точках зрения. Передавая мне дела, она говорила: «Нам солдаты не верят; что бы мы ни делали, они недовольны; они верят только большевикам. Ну, что ж, берите дело в свои руки, может, лучше наладите!» Мы не боялись браться за дело, считали, что вместе с рабочими, опираясь на их самодеятельность, сумеем развернуть широкую работу.

Рабочие массы проявили громадную активность не только в политической области, но и в области культурной. Очень быстро у нас образовался Совет народного образования, куда входили представители всех фабрик и заводов Выборгского района. Из представителей заводов помню рабочих Пурышева, Каюрова, Юркина, Гордиенко. Собирались каждую неделю и обсуждали практические мероприятия. Когда возник вопрос о необходимости поголовного обучения грамоте, заводы провели очень быстро силами рабочих учет неграмотных на заводах. Фабрикантам предъявлено было требование отвести помещение под школы грамоты, а когда один какой-то заводчик отказался дать помещение, то работницы подняли невероятный скандал, выявили, что одно из помещений при фабрике занято ударниками (солдатами из особо шовинистски настроенных батальонов); кончилось тем, что фабрикант нанял помещение под школу. Был налажен со стороны рабочих контроль за посещением уроков и за преподаванием. Недалеко от управы стоял пулеметный полк. Он считался вначале очень надежным, но его «надежность» очень быстро растаяла. Как только поставили пулеметный полк на Выборгскую сторону, среди солдат начали вести агитацию. Первыми агитаторами за большевиков оказались торговки семечками, квасом и т. д. Среди них было немало солдаток. Работницы Выборгского района были не похожи на работниц, которых я знала в 90-е годы и даже в революцию 1905 г. Они были хорошо одеты, выступали активно на собраниях, были политически сознательны. Рассказывала мне одна работница: «Муж у меня на фронте. Жили мы с ним дружно, не знаю, как будет теперь, когда вернется с фронта. Я

теперь за большевиков, с ними иду, а не знаю, как он там, на фронте... Понял ли, увидел ли, что с большевиками надо идти. Часто ночью думаю — вдруг не понял еще. Только не знаю, дождусь ли, может убьют его, да я вот кровью харкаю, в больницу еду». Крепко запомнилось мне худое лицо этой работницы с красными пятнами на щеках, ее тревога за то, не пришлось бы разойтись с мужем из-за взглядов. Но в культурной работе в то время впереди шли не работницы, а рабочие. Они вникали во все. Тов. Гордиенко очень много, например, возился с детскими садами, т. Куклин внимательно следил за работой молодежи.

Я тоже вплотную встала к работе молодежи. Молодежь, сгруппированная в союз «Свет и знание», вырабатывала свою программу. Среди ребят были большевики, меньшевики, анархисты, беспартийные. Программа была архинаивна и первобытна, но споры вокруг нее были очень интересны. Например, один из пунктов гласил, что все должны научиться шить. Тогда один парень — большевик — заметил: «Зачем же всем шить учиться? Конечно, девочкам надо уметь, а то не сумеет потом мужу пуговицу к брюкам пришить, а всем-то зачем учиться?» Эти слова вызвали бурю негодования. Не только девушки, но все ребята вознегодовали, повскакивали с мест. «Пуговицу к брюкам жена должна пришивать? Ты что? Старое женское рабство хочешь поддерживать? Жена мужу товарищ, а не служанка!» Автор предложения, чтобы только женщины учились шитью, принужден был сдаться. Помню разговор с другим парнем, защищавшим яро большевиков, с Мурашевым. Я его спрашиваю: «Почему вы не входите в организацию большевиков?» «Видите ли, — отвечал он мне, — нас несколько человек молодежи были в организации. Но почему мы пошли? Думаете, потому, что понимали, что большевики правы? Не потому, а потому, что большевики своим револьверы раздавали! Так никуда не годится. Надо по сознанию идти: я вернул билет, пока до конца не разберусь». Надо сказать, что в «Свет и знание» входили все же лишь ребята, революционно настроенные, ребята не потерпели бы в своей среде никого, кто стал бы высказывать правые взгляды. Публика была активная, выступала у себя на заводах, на своих собраниях, только очень доверчивая. С этой доверчивостью приходилось всячески бороться.

Много приходилось работать среди женщин. Я уже забыла свою недавнюю еще застенчивость и выступала везде, где надо.

С головой ушла я в работу, хотелось втянуть массы поголовно в общественную работу, сделать возможным осуществление той «народной милиции», о которой ставил тогда вопрос Владимир Ильич.

Начав работать в Выборгском районе, я еще меньше стала видеть Ильича, а время было острое, борьба разгоралась. 18 июня было не только днем демонстрации 400 тысяч рабочих и солдат под большевистскими лозунгами, 18 июня было днем, когда Временное правительство, после трех месяцев колебаний под напором союзников, начало наступление на фронте. Большевики уже стали выступать в печати и на собраниях. Временное правительство почувствовало, что почва колеблется у него под ногами. 28 июня началось поражение русской армии на фронте; это страшно взволновало войска.

В конце июня Ильич вместе с Марией Ильиничной поехал на несколько дней отдохнуть к Бонч-Бруевичам в деревню Нейнола около станции Мустамяки (недалеко от Питера). Тем временем в Петрограде разразились следующие события. Пулеметный полк, стоявший на Выборгской стороне, решил начать вооруженное восстание. За два дня перед тем наша просветительная комиссия сговорила с культурно-просветительной комиссией пулеметного полка собраться в понедельник для обсуждения совместно некоторых вопросов культурной работы. Никто, само собой, от пулеметного полка не пришел, пулеметный полк весь ушел. Я пошла в дом Кшесинской. Вскоре я нагнала пулеметчиков на Сампсоньевском проспекте. Стройными рядами шли солдаты. Осталась в памяти такая сцена. С тротуара сошел старый рабочий и, идя навстречу идущим солдатам, поклонился им в пояс и громко сказал: «Уж постойте, братцы, за рабочий народ!» Во дворце Кшесинской из присутствовавших в помещении ЦК товарищей помню Сталина и Лашевича. Пулеметчики останавливались около балкона и отдавали честь, потом шли дальше. Потом к ЦК подошли еще два полка, потом подошла рабочая демонстрация. Вечером был послан товарищ в Мустамяки за Ильичем. Центральный Комитет дал лозунг превратить демонстрацию в мирную, а между тем пулеметный полк стал уже возводить у себя баррикады. Я помню, как долго лежал

на диване в Выборгской управе т. Лашевич, который вел работу в этом полку, и смотрел в потолок, прежде чем пойти к пулеметчикам уговаривать их прекратить выступление. Трудненько ему это было, но таково было постановление Центрального Комитета. Заводы и фабрики забастовали. Из Кронштадта прибыли матросы. Огромная демонстрация вооруженных рабочих и солдат шла к Таврическому дворцу. Ильич выступал с балкона дворца Кшесинской. Центральный Комитет написал воззвание с призывом о прекращении демонстрации. Временное правительство вызвало юнкеров и казаков. На Садовой открыта была стрельба по демонстрантам.

Снова в подполье

Эту ночь Ильичу устроили ночевку у Сулимовых (на Петербургской стороне). Самое надежное место, где лучше всего можно было укрыть Ильича, было на Выборгской стороне. Решено было, что он будет жить у рабочего Каюрова. Я зашла за Ильичем к Сулимовым, и мы пошли с ним на Выборгскую сторону. Шли мимо Московского полка по какому-то бульвару. На бульваре сидел Каюров. Увидя нас, он пошел немного впереди, за ним пошел Ильич, я повернула в сторону. Юнкера разгромили редакцию «Правды». Днем было собрание ПК в сторожке завода Рено, на котором присутствовал Ильич. Обсуждался вопрос о всеобщей забастовке. Было решено забастовки не устраивать. Оттуда Ильич отправился на квартиру к т. Фофановой, в Лесном, где у него было свидание с некоторыми членами Центрального Комитета. В этот день рабочее движение было подавлено. Алексинский, бывший член II Думы от рабочих Петрограда, впередовец, когда-то близкий товарищ по работе, и член партии эсеров Панкратов, старый шлисельбуржец, пустили в ход клевету о том, что Ленин, по имеющимся якобы у них данным,— немецкий шпион. Они рассчитывали этой клеветой парализовать влияние Ленина. 7 июля Временное правительство приняло постановление арестовать Ленина, Зиновьева, Каменева. Дом Кшесинской был занят правительственными войсками. От Каюрова Ильич перебрался к Аллилуеву, где скрывался также и Зиновьев. У Каюрова сын был анархист, молодежь возилась с бомбами, что не очень-то подходило для конспиративной квартиры...

Вечером у нас на Широкой был обыск. Обыскивали только нашу комнату. Был какой-то полковник и еще какой-то военный в шинели на белой подкладке. Они взяли из стола несколько записок, какие-то мои документы. Спросили, не знаю ли я, где Ильич, из чего я заключила, что он не объявился. Наутро пошла к т. Смилге, который жил на той же Широкой улице, там же были Сталин и Молотов. Там я узнала, что Ильич и Зиновьев решили скрыться.

Через день, 9-го, к нам ввалилась с обыском целая орава юнкеров. Они тщательно обыскали всю квартиру. Мужа Анны Ильиничны, Марка Тимофеевича Елизарова, приняли за Ильича. Допрашивали меня, не Ильич ли это. В это время у Елизаровых домашней работницей жила деревенская девушка Аннушка. Была она из глухой деревни и никакого представления ни о чем не имела. Она страстно хотела научиться грамоте и каждую свободную минуту хваталась за букварь, но грамота ей давалась плохо. «Пробка я деревенская!» — горестно восклицала она. Я ей старалась помочь научиться читать, а также растолковывала, какие партии существуют, из-за чего война и т. д. О Ленине она представления не имела. 8-го я не была дома; наши рассказывали, что к дому подъехал автомобиль и устроена была враждебная демонстрация. Вдруг вбегает Аннушка и кричит: «Какие-то Оленины приехали!» Во время обыска юнкера ее стали спрашивать, указывая на Марка Тимофеевича, как его зовут. Она не знала. Они решили, что она не хочет сказать. Потом пришли к ней в кухню и стали смотреть под кроватью, не спрятался ли там кто. Возмущенная Аннушка им заметила: «Еще в духовке посмотрите, может, там кто сидит». Нас забрали троих — меня, Марка Тимофеевича и Аннушку — и повезли в генеральный штаб. Рассадили там на расстоянии друг от друга. К каждому приставили по солдату с ружьем. Через некоторое время врывается рассвирепелое какое-то офицерье, собираются броситься на нас. Но входит тот полковник, который делал у нас обыск в первый раз, посмотрел на нас и сказал: «Это не те люди, которые нам нужны». Если бы был Ильич, они бы его разорвали на части. Нас отпустили. Марк Тимофеевич стал настаивать, чтобы нам дали автомобиль ехать домой. Полковник пообещал и ушел. Никто никакого автомобиля нам, конечно, не дал. Мы наняли извозчика. Мосты оказались

разведены. Мы добрались до дому лишь к утру. Долго стучали в дверь, стали уж бояться, не случилось ли что с нашими. Наконец достучались,

У наших был обыск еще третий раз. Меня не было дома, была у себя в районе. Прихожу домой, вход занят солдатами, улица полна народом. Постояла и пошла назад в район — все равно ничем не поможешь. Притащилась в район уж поздно, никого там не было, кроме сторожихи. Немного погодя пришел Слуцкий — товарищ, приехавший недавно из Америки вместе с Володарским, Мельничанским и пр.; потом он был убит на Южном фронте. Он ушел только что из-под ареста, стал меня убеждать не идти домой, послать сначала утром кого-нибудь, чтобы разузнать, в чем дело. Пошли мы с ним искать ночевки, но адресов товарищей мы не знали, долго бродили по району, пока не добрались до Фофановой — товарища по работе в районе, которая и устроила нас. Утром оказалось, что никто из наших не арестован и обыск на этот раз производили менее грубо, чем предыдущий.

Ильич вместе с Зиновьевым скрывались у старого подпольщика, рабочего Сестрорецкого завода Емельянова, на ст. Разлив, недалеко от Сестрорецка. К Емельянову и его семье у Ильича сохранилось до конца очень теплое отношение.

Я стала все время проводить в Выборгском районе. В июльские дни поражала разница между настроением обывателя и рабочих. В трамваях, по улицам шипел из всех углов озлобленный обыватель, но перейдешь через деревянный мост, который вел на Выборгскую сторону, и точно в другой мир попадаешь. Дел было уйма. Через т. Зофа и других, связанных с т. Емельяновым, получала я записки от Ильича с разными поручениями. Реакция росла. 9 июля объединенное заседание ВЦИК и Исполнительного комитета Совета рабочих и крестьянских депутатов объявило Временное правительство «правительством спасения революции»; в тот же день началось «спасение». В тот же день был арестован Каменев, 12 июля отдан приказ о введении смертной казни на фронте, 15 июля закрыты «Правда» и «Окопная правда» и издан приказ о запрещении на фронте митингов, были произведены аресты большевиков в Гельсингфорсе, закрыта там большевистская газета «Волна»...

Вскоре после июльских дней Керенский придумал меру, которой рассчитывал поднять дисциплину в войсках; он решил, что надо пулеметный полк, начавший выступление в июльские дни, вывести безоружным на площадь и там заклеить позором. Я видела, как разоруженный полк шел на площадь. Под узду вели разоруженные солдаты лошадей, и столько ненависти горело в их глазах, столько ненависти было во всей их медленной походке, что ясно было, что глупее ничего не мог Керенский придумать. И в самом деле, в октябре пулеметный полк беззаветно пошел за большевиками, охраняли Ильича в Смольном пулеметчики.

Партия большевиков перешла на полулегальное положение, но она росла и крепла...

Рост влияния большевиков особенно в войсках был несомненен. VI съезд сплотил еще больше силы большевиков. В воззвании, выпущенном от имени VI съезда, говорилось о той контрреволюционной позиции, которую заняло Временное правительство, о том, что готовится мировая революция, схватка классов. «В эту схватку,— говорилось в воззвании,— наша партия идет с развернутыми знаменами. Она твердо держала их в своих руках. Она не склонила их перед насильниками и грязными клеветниками, перед изменниками революции и слугами капитала. Она впредь будет держать их высоко, борясь за социализм, за братство народов. Ибо она знает, что грядет новое движение и настает смертный час старого мира».

25 августа началось движение корниловцев на Петроград. Питерские рабочие, и выборжцы в первую очередь, конечно, бросились на защиту Петрограда. Навстречу отрядам корниловских войск, так называемой дикой дивизии, были посланы наши агитаторы. Корниловские войска очень быстро разложились, настоящего наступления не получилось. Генерал Крымов, командовавший корпусом, направленным на Петроград, застрелился. Мне запомнилась фигура одного нашего выборгского рабочего — молодого парня. Он работал по организации дела ликвидации безграмотности. В числе первых двинулся он на фронт. И вот, помню, вернулся он с фронта и еще с винтовкой на плече примчался в районную думу. В школе грамоты не хватило мелу. Входит парень, лицо его дышит еще оживлением борьбы, сбрасывает винтовку, ставит ее в угол и начинает

горячо толковать о меле, о досках. В Выборгском районе мне пришлось каждодневно наблюдать, как тесно увязывалась у рабочих их революционная борьба с борьбой за овладение знанием, культурой.

Жить в шалаше на ст. Разлив, где скрывался Ильич, было дальше невозможно, настала осень, и Ильич решил перебраться в Финляндию — там хотел он написать задуманную им работу «Государство и революция», для которой он сделал уже массу выписок, которую уже обдумал со всех сторон. В Финляндии удобнее было также следить за газетами. Н. А. Емельянов достал ему паспорт сестрорецкого рабочего, Ильичу надели парик и подгримировали его. Дмитрий Ильич Лещенко, старый партийный товарищ времен 1905—1907 гг., бывший секретарь наших большевистских газет, у которого часто ночевал в те времена Владимир Ильич, — теперь т. Лещенко был моим помощником по культурной работе в Выборгском районе, — съездил в Разлив и занял Ильича (к паспорту нужно было приложить карточку). Тов. Ялава, финский товарищ, служивший машинистом на Финляндской железной дороге, — его хорошо знали тт. Шотман и Рахья, — взялся перевезти Ильича под видом кочегара. Так и было сделано. Сношения велись с Ильичем также через т. Ялаву, и я не раз заходила потом к нему за письмами от Ильича — т. Ялава жил также в Выборгском районе. Когда Ильич устроился в Гельсингфорсе, он прислал химическое письмо, в котором звал приехать, сообщал адрес и даже план нарисовал, как пройти, никого не спрашивая. Только у плана отгорел край, когда я нагревала письмо на лампе. Емельяновы достали паспорт и мне — сестрорецкой работницы-старухи. Я повязалась платком и поехала в Разлив, к Емельяновым. Они перевели меня через границу; для пограничных жителей было достаточно паспорта для перехода границы; просматривал паспорта какой-то офицер. Надо было пройти от границы верст пять лесом до небольшой станции Олилла, где сесть в солдатский поезд. Все обошлось как нельзя лучше. Только отгоревший кусок плана немного подсадил — долго бродила я по улицам, пока нашла ту улицу, которая была нужна. Ильич обрадовался очень. Видно было, как истосковался он, сидя в подполье в момент, когда так важно было быть в центре подготовки к борьбе. Я ему рассказала о всем, что знала. Пожи-

ла в Гельсингфорсе пару дней. Захотел Ильич непременно проводить меня до вокзала, до последнего поворота довел. Условились, что приеду еще.

Второй раз была я у Ильича недели через две. Как-то запоздала и решила не заезжать к Емельяновым, а пойти до Олилла самой. В лесу стало темнеть — глубокая осень уже надвигалась, взошла луна. Ноги стали тонуть в песке. Показалось мне, что сбилась я с дороги; я заторопилась. Пришла в Олилла, а поезда нет, пришел лишь через полчаса. Вагон был битком набит солдатами и матросами. Было так тесно, что всю дорогу пришлось стоять. Солдаты открыто говорили о восстании. Говорили только о политике. Вагон представлял собой сплошной крайне возбужденный митинг. Никто из посторонних в вагон не заходил. Зашел вначале какой-то штатский, да, послушав солдата, который рассказывал, как они в Выборге бросали в воду офицеров, на первой же станции смылся. На меня никто не обращал внимания. Когда я рассказала Ильичу об этих разговорах солдат, лицо его стало задумчивым, и потом уже, о чем бы он ни говорил, эта задумчивость не сходила у него с лица. Видно было, что говорит он об одном, а думает о другом, о восстании, о том, как лучше его подготовить.

13—14 сентября Владимир Ильич пишет уже в ЦК письмо «Марксизм и восстание», а в конце сентября перебирается уже из Гельсингфорса в Выборг, чтобы быть поближе к Питеру; из Выборга пишет письмо Смильге в Гельсингфорс (Смильга в это время был председателем Областного комитета армии, флота и рабочих Финляндии) о том, что надо все внимание отдать военной подготовке финских войск, флота для предстоящего свержения Керенского. О том, как надо перестроить весь государственный аппарат, как по-новому организовать массы, как по-новому переткать всю общественную ткань, как выразался Ильич,— об этом он неустанно думал, об этом он писал в статье «Удержат ли большевики государственный аппарат?», писал в воззвании к крестьянам и солдатам, в письме питерской городской конференции для прочтения на закрытом заседании, где указывал уже конкретные меры, которые надо предпринять для взятия власти; о том же написал членам ЦК, МК, ПК и членам Советов Питера и Москвы — большевикам.

Канун восстания

7 октября Ильич перебрался из Выборга в Питер¹. Решено было соблюдать сугубую конспирацию: не говорить адреса, где он будет скрываться, даже членам Центрального Комитета. Поселили мы его на Выборгской стороне, на углу Лесного проспекта, в большом доме, где жили исключительно почти рабочие, в квартире Маргариты Васильевны Фофановой. Квартира была очень удобна, по случаю лета никого там не было, даже домашней работницы, а сама Маргарита Васильевна была горячей большевичкой, бегавшей по всем поручениям Ильича. Через три дня, 10 октября, Ильич принимал участие в заседании ЦК на квартире Сухановой, где была принята резолюция о вооруженном восстании. Десять человек членов ЦК (Ленин, Свердлов, Сталин, Дзержинский, Троцкий, Урицкий, Коллонтай, Бубнов, Сокольников, Ломов) голосовали за вооруженное восстание. Зиновьев и Каменев — против.

15 октября состоялось заседание Петроградской организации. Происходило оно в Смольном (один уж этот факт был очень показателен); были делегаты от районов (от Выборгского района было восемь человек). Помню — выступал за вооруженное восстание Дзержинский, против — Чудновский. Чудновский был ранен на фронте, у него была рука на перевязи. Волнуясь, он указывал, что мы потерпим неминуемо поражение, что нельзя торопиться. «Ничего нет легче, как умереть за революцию, но мы повредим делу революции, если дадим себя расстрелять». Чудновский умер действительно за дело революции, погибнув во время гражданской войны. Он не был фразером, но точка зрения его была насквозь ошибочна. Я не помню других выступлений. При голосовании громадное большинство высказалось

¹ Точная дата приезда В. И. Ленина не установлена. В протоколе заседания ЦК от 3 (16) октября 1917 г. записано решение: «...предложить Ильичу перебраться в Питер, чтобы была возможной постоянная и тесная связь» (Протоколы Центрального Комитета РСДРП (б). Август 1917 — февраль 1918. М., Госполитиздат, 1958, с. 74). В воспоминаниях современников, имевших прямое отношение к организации переезда (Рахья, Шотман, Фофанова), указывается, что Ленин переехал из Выборга в Петроград в конце сентября, но в целях конспирации направлял свои письма в ЦК якобы из Финляндии. В XIV томе первого издания Сочинений Ленина, вышедшем при его жизни, в 1921 г., был указан этот же срок. Дата 7 (20) октября вошла в литературу начиная с 30-х годов.

за немедленное восстание, весь Выборгский район голосовал «за».

На другой день, 16-го, было расширенное заседание ЦК в Лесном, в Лесной подрайонной думе, где принимали участие, кроме членов ЦК, и члены Исполнительной комиссии Петроградского комитета, военной организации, Петроградского Совета профессиональных союзов, фабрично-заводских комитетов, железнодорожников, Петроградского окружного комитета. На этом собрании обсуждались две линии: большинства — тех, кто был за немедленное восстание, и меньшинства — тех, кто был против немедленного восстания. Резолюция Ленина собрала громадное большинство — 19 голосов, 2 были против, 4 воздержались. Вопрос был решен. На закрытом заседании ЦК был выбран Военно-революционный центр.

К Ильичу ходило минимальное количество народу; ходила я, Мария Ильинична, был как-то т. Рахья. Раз помню такую сцену. Ильич куда-то услад Фифанову по делу; условлено было, что он дверей не будет никому открывать и не будет отзываться на звонки. Я стучала условным стуком. У Фифановой был двоюродный брат, учащийся в каком-то военном учебном заведении. Прихожу вечером, смотрю, стоит этот парень на лестнице с каким-то растерянным видом. Увидел меня и говорит: «Знаете, в квартиру Маргариты забрался кто-то». «Как — забрался?» — «Да, прихожу, звоню, мне какой-то мужской голос ответил; потом звонил я, звонил — никто не отвечает». Парню я что-то наврала, уверила, что Маргарита сегодня на собрании, что ему это показалось, и только тогда успокоилась, когда он сел в трамвай и уехал. Вернулась потом, постучала условным стуком и, когда Ильич открыл дверь, принялась его ругать: «Парень мог ведь народ позвать». — «Я подумал, что спешное». Я тоже ходила все время по поручениям Ильича. 24 октября он написал в ЦК письмо о необходимости брать власть сегодня же. Послал Маргариту с этим письмом, но не дождался ее возвращения, надел парик и пошел в Смольный; медлить нельзя было ни минуты.

Выборгский район готовился к восстанию. В помещении Выборгской управы сидело 50 работниц, женщина-врач всю ночь учила их делать перевязки, в помещении районного комитета шло вооружение рабочих,

группа за группой подходили они к комитету и получали оружие. Но в Выборгском районе подавлять было некого — заарестовали лишь какого-то полковника и несколько юнкеров, пришедших пить чай при рабочем клубе. Ночью мы с Женей Егоровой ездили в Смольный на грузовике узнать, как идут дела.

Утром 25 октября (7 ноября) 1917 г. Временное правительство было низложено. Государственная власть перешла к Военно-революционному комитету — органу Петроградского Совета, стоявшего во главе петроградского пролетариата и гарнизона. В тот же день на II Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов образовано было рабоче-крестьянское правительство, организован был Совет Народных Комиссаров, председателем которого назначен был Ленин¹.

ОКТАБРЬСКИЕ ДНИ

Захват власти в Октябре был партией пролетариата, большевистской партией, всесторонне обдуман и подготовлен. В июльские дни стихийно началось восстание. Но партия считала это восстание несвоевременным, сохранила всю трезвость мысли. Надо было смотреть правде в глаза. Массы не были еще готовы к восстанию. ЦК решил задержать восстание. Трудно было сдерживать восставших, тех, кто рвался в бой, трудно это было делать большевикам. Но они исполнили свой долг, понимая, какое громадное значение имеет правильный выбор моментов восстания.

Прошла пара месяцев. Ситуация изменилась. И Ильич, который вынужден был скрываться в Финляндии, пишет между 12 и 14 сентября письмо в ЦК, Петроградскому и Московскому комитетам: «Получив большинство в обоих столичных Советах рабочих и солдатских депутатов, большевики могут и *должны* взять государственную власть в свои руки». И далее он доказывает, почему именно теперь надо брать власть. Питер собирались отдать. Это ухудшило бы шансы на победу. Намечался сепаратный мир между английскими и немецки-

¹ Постановление об образовании рабоче-крестьянского правительства было принято съездом 26 октября (8 ноября) 1917 г.

ми империалистами. «Именно теперь предложить мир народам — значит *победить*», — писал Ильич.

В письме в ЦК он подробно говорит о том, как определять момент восстания и как подготавливать его: «Восстание, чтобы быть успешным, должно опираться не на заговор, не на партию, а на передовой класс. Это во-первых. Восстание должно опираться на *революционный подъем народа*. Это во-вторых. Восстание должно опираться на такой *переломный пункт* в истории нарастающей революции, когда активность передовых рядов народа наибольшая, когда всего сильнее *колебания* в рядах врагов и в рядах *слабых половинчатых нерешительных друзей революции*. Это в-третьих».

В конце письма Ильич указывал, что надо сделать, чтобы отнестись к восстанию по-марксистски, т. е. как к искусству: «А чтобы отнестись к восстанию по-марксистски, т. е. как к искусству, мы в то же время, не теряя ни минуты, должны организовать *штаб* повстанческих отрядов, распределить силы, двинуть верные полки на самые важные пункты, окружить Александринку, занять Петропавловку¹, арестовать генеральный штаб и правительство, послать к юнкерам и к дикой дивизии такие отряды, которые способны погибнуть, но не дать неприятелю двинуться к центрам города; мы должны мобилизовать вооруженных рабочих, призвать их к отчаянному последнему бою, занять сразу телеграф и телефон, поместить *наш* штаб восстания у центральной телефонной станции, связать с ним по телефону все заводы, все полки, все пункты вооруженной борьбы и т. д.

Это все примерно, конечно, лишь для *иллюстрации* того, что нельзя в переживаемый момент остаться верным марксизму, остаться верным революции, *не относясь к восстанию, как к искусству*».

Ильич страшно волновался, сидя в Финляндии, что будет пропущен благоприятный момент для восстания. 7 октября он пишет Питерской городской конференции, пишет также в ЦК, МК, ПК и членам Советов Питера

¹ *Александринка* — Александринский театр в Петрограде, в котором заседало Демократическое совещание.

Петропавловка — Петропавловская крепость, расположенная напротив Зимнего дворца, на другом берегу Невы. При царизме в ней содержались политические заключенные. Петропавловская крепость имела громадный арсенал и являлась важным стратегическим пунктом Петрограда.

и Москвы — большевикам. 8-го пишет письмо к товарищам-большевикам, участвующим на областном съезде Советов Северной области, волнуется, дойдет ли это письмо, и 9-го уже приезжает сам в Питер, поселяется нелегально в Выборгском районе и оттуда руководит подготовкой восстания.

Весь, целиком, без остатка жил Ленин этот последний месяц мыслью о восстании, только об этом и думал, заражал товарищей своим настроением, своей убежденностью.

Исключительную важность имеет последнее письмо Ильича из Финляндии большевикам, участвующим в областном съезде Советов Северной области¹. Вот оно:

«...вооруженное восстание есть *особый* вид политической борьбы, подчиненный особым законам, в которые надо внимательно вдуматься. Замечательно рельефно выразил эту истину Карл Маркс, писавший, что вооруженное *«восстание, как и война, есть искусство»*.

Из главных правил этого искусства Маркс выставил:

1) Никогда *не играть* с восстанием, а, начиная его, знать твердо, что надо *идти до конца*.

2) Необходимо собрать *большой перевес* сил в решающем месте, в решающий момент, ибо иначе неприятель, обладающий лучшей подготовкой и организацией, уничтожит повстанцев.

3) Раз восстание начато, надо действовать с величайшей *решительностью* и непременно, безусловно переходить *в наступление*. «Оборона есть смерть вооруженного восстания».

4) Надо стараться захватить врасплох неприятеля, уловить момент, пока его войска разбросаны.

5) Надо добиться *ежедневно* хоть маленьких успехов (можно сказать: ежечасно, если дело идет об одном городе), поддерживая, во что бы то ни стало, *«моральный перевес»*.

Маркс подытожил уроки всех революций относительно вооруженного восстания словами «величайшего в истории мастера революционной тактики Дантона: смелость, смелость и еще раз смелость».

В применении к России и к октябрю 1917 года это значит: одновременное, возможно более внезапное и быстрое наступление на Питер, непременно и извне, и

¹ Речь идет о работе В. И. Ленина «Советы постороннего».

изнутри, и из рабочих кварталов, и из Финляндии, и из Ревеля, из Кронштадта, наступление *всего* флота, скопление *гигантского перевеса* сил над 15—20 тысячами (а может и больше) нашей «буржуазной гвардии» (юнкеров), наших «вандейских войск» (часть казаков) и т. д.

Комбинировать наши *три* главные силы: флот, рабочих и войсковые части так, чтобы непременно были заняты и ценой *каких угодно потерь* были удержаны: а) телефон, б) телеграф, в) железнодорожные станции, г) мосты в первую голову.

Выделить *самые решительные* элементы (наших «ударников» и *рабочую молодежь*, а равно лучших матросов) в небольшие отряды для занятия ими всех важнейших пунктов и *для участия* их везде, во всех важных операциях, например:

Окружить и отрезать Питер, взять его комбинированной атакой флота, рабочих и войска,—такова задача, требующая *искусства и тройной смелости*.

Составить отряды наилучших рабочих с ружьями и бомбами для наступления и окружения «центров» врага (юнкерской школы, телеграф и телефон и прочее) с лозунгом: *погибнуть всем, но не пропустить неприятеля*.

Будем надеяться, что в случае, если выступление будет решено, руководители успешно применят великие заветы Дантона и Маркса.

Успех и русской и всемирной революции зависит от двух- трех дней борьбы»...

Разбивая оппортунистические течения, усиленно шла подготовка восстания. 25 (12) октября Исполком Петроградского Совета вынес постановление об образовании Военно-революционного комитета. 29-го (16-го) было расширенное заседание ЦК с представителями партийных организаций. В этот же день на заседании ЦК был выделен Военно-революционный центр по практическому руководству восстанием в составе тт. Сталина, Свердлова, Дзержинского и других.

30-го (17-го) проект организации Военно-революционного комитета был утвержден не только Исполнительным комитетом Петроградского Совета, но Советом в целом. Еще через пять дней собрание полковых комитетов признало Петроградский военно-революционный комитет руководящим органом военных частей Петрограда и постановило не подчиняться приказам штаба, не скрепленным подписью Военно-революционного комитета.

5 ноября (23 октября) ВРК уже назначил комиссаров в воинские части. На следующий день, 6 ноября (24 октября), Временное правительство решило предать суду членов ВРК, арестовать назначенных в воинские части комиссаров, вызвало юнкерские училища к Зимнему дворцу. Но было уже поздно: воинские части были за большевиков, рабочие были за переход власти к Советам, ВРК работал под непосредственным руководством ЦК...

Восстание разворачивается *

Восстание разворачивалось.

6 ноября (24 октября) Ильич сидел еще законспирированный на Выборгской стороне в квартире нашей партийки Маргариты Васильевны Фофановой (угол Б. Сампсоньевского и Сердобольской, д. 92/1, кв. 42), знал, что готовится восстание, и томился тем, что стоит вдали от работы в такой момент. Посылал через Маргариту мне записки для передачи дальше, что медлить с восстанием нельзя. Вечером наконец пришел к нему Эйно Рахья, финский товарищ, хорошо связанный с заводами, с партийной организацией и служивший связью для Ильича с организацией. Эйно рассказал Ильичу, что по городу усилены патрули, что Временным правительством дано приказание развести мосты через Неву, чтобы разъединить рабочие кварталы, и мосты охраняются отрядами солдат. Явно было — восстание начинается. Ильич было попросил Эйно привести к нему т. Сталина, но из разговоров выяснилось, что сделать это почти невозможно, что Сталин, вероятно, в Военно-революционном комитете, в Смольном, что трамваи, вероятно, уже не ходят, что это отнимет уйму времени. Ильич решил, что он сам сейчас же пойдет в Смольный, и заторопился. Маргарите оставил записку: «Ушел туда, куда Вы не хотели, чтобы я уходил. До свидания, Ильич».

В эту ночь Выборгский район вооружался, готовился к восстанию, одна группа рабочих за другой приходила в районный комитет за оружием и инструкциями. Ночью я ходила к Ильичу на квартиру к Фофановой и там узнала, что Ильич ушел в Смольный. С Женей Егоровой, секретарем Выборгского райкома, мы присоединились к какому-то грузовику, который зачем-то посылался нашими в Смольный. Мне хотелось узнать, добрался ли

Ильич до Смольного. У меня не осталось в памяти, видела ли я в Смольном Ильича или только узнала, что он там, во всяком случае, мы не разговаривали, так как Ильич весь с головой ушел в дело руководства восстанием, а руководя, он, как всегда, вникал во все мелочи. Смольный был ярко освещен и весь кипел. Со всех концов приходили за указаниями красногвардейцы, представители заводов, солдат. Стучали машинки, звонили телефоны, склонившись над кипами телеграмм, сидели девицы наши, непрерывно заседал на третьем этаже Военно-революционный комитет. На площади перед Смольным шумели броневики, стояла трехдюймовка, были сложены дрова на случай постройки баррикад. У входа стояли пулеметы и орудия, у дверей — часовые.

В 10 часов утра 25 октября (7 ноября) уже было сдано в печать от имени ВРК Петроградского Совета обращение «К гражданам России!», где сообщалось:

«Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов — Военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона.

Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства, это дело обеспечено.

Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!»

Хотя ясно было, что революция победила, 25-го утром продолжалась напряженная работа ВРК, занимавшего одно за другим правительственные учреждения, организовавшего охрану их и т. д.

В 2 часа 30 минут было заседание Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. С бурным ликованием встретил Совет информацию о том, что Временное правительство больше не существует, отдельные министры подвергнуты аресту, будут арестованы и остальные, Предпарламент распущен, вокзалы, почта, телеграф, Государственный банк заняты. Идет штурм Зимнего дворца. Он еще не взят, но судьба его предрешена, и солдаты проявляют необычайный героизм: переворот прошел бескровно.

Бурно приветствовал Совет пришедшего на заседа-

ние Ленина. Ленин делал доклад. Он не говорил никаких больших слов по поводу одержанной победы. Это характерно для Ильича. Он говорил о другом, о тех задачах, которые стоят перед Советской властью, за осуществление которых надо взяться вплотную.

Он говорил, что началась новая полоса в истории России. Советское правительство будет вести работу без участия буржуазии. Будет издан декрет об уничтожении частной собственности на землю. Над производством будет учрежден подлинный рабочий контроль. Развернется борьба за социализм. Старый государственный аппарат будет разбит, сломан, будет создана новая власть, власть советских организаций. У нас имеется сила массовой организации, которая победит все. Очередная задача — заключить мир. Для этого надо победить капитал. Заключить мир поможет нам международный пролетариат, среди которого уже появляются признаки революционного брожения.

Близка эта речь была членам Петроградского Совета солдатских и рабочих депутатов. Да, начинается новая полоса в нашей истории. Сила массовых организаций непобедима. Массы поднялись — и власть буржуазии пала. У помещиков возьмем землю, фабрикантов обуздаем, а главное — добьемся мира. На помощь придет мировая революция. Ильич прав. Бурными аплодисментами покрыта была речь Ильича.

Вечером должен был открыться II съезд Советов, он должен был провозгласить власть Советов, формально закрепить одержанную победу.

Делегаты съезжались. Среди них шла агитация. Власть рабочих должна опираться на крестьянство, вести его за собой. Партией, выражавшей мнение крестьянства, считались эсеры. Богатое крестьянство, кулачество, имело своих идеологов в лице правых эсеров. Идеологи мелкого крестьянства, левые эсеры, были типичными представителями мелкой буржуазии, с ее колебаниями между буржуазией и пролетариатом. Во главе Петроградского комитета эсеров стояли Натансон, Спиридонова и Камков. Натансона Ильич знал еще по первой эмиграции. В то время, в 1904 г., Натансон близко подходил к марксизму, ему только казалось, что социал-демократы недооценивают роль крестьянства. Имя Спиридоновой было в то время очень популярно. В период первой революции, в 1906 г., 17-летней девушкой, она

убила усмирителя крестьянского движения Тамбовской губернии Луженовского, потом подверглась зверским истязаниям, а затем пробыла в Сибири на каторге до февральской революции. Питерские левые эсеры находились под сильным влиянием большевистских настроений масс. К большевикам они относились лучше других. Они видели, что большевики серьезно боролись за конфискацию всех помещичьих земель и передачу их крестьянству. Левые эсеры считали, что нужно ввести уравнительное землепользование, большевики понимали, что нужна социалистическая перестройка всего земельного хозяйства. Но Ильич считал, что самое важное сейчас — конфискация помещичьих земель, а какими путями пойдет дальнейшая перестройка, покажет жизнь. И он обдумывал, как составить декрет о земле.

В воспоминаниях М. В. Фофановой есть одно очень интересное место. «Помню,— пишет она,— Владимир Ильич дал мне задание достать все вышедшие номера «Известий Всероссийского Совета крестьянских депутатов», что мною, конечно, было выполнено. Не помню, сколько этих номеров я достала, но что-то очень много, словом — внушительный материал для изучения. Два дня Владимир Ильич занимался очень долго, даже по ночам, а потом наутро как-то и говорит: «Ну, кажется, насквозь всех эсеров изучил, осталось сегодня читать только наказ их мужичков», и часа через два зовет меня и весело говорит, ударяя рукой по газете (вижу, у него в руках номер «Крестьянских известий» от 19 августа): «Вот и соглашение с левыми эсерами готово. Шутка сказать, наказ подписан 242 депутатами с мест. Мы его положим в основу закона о земле и посмотрим, как левые эсеры подумают отказаться». Показывает мне номер, в разных местах расчерканный синим карандашом, и добавляет: «Вот надо только найти маленькую заручку, чтобы впоследствии их социализацию перекроить на наш лад». Маргарита по профессии была агрономом, сталкивалась в своей работе с этими вопросами, и потому Ильич особо охотно разговаривал с ней на эти темы.

Уйдут или нейдут левые эсеры со съезда?

Второй съезд Советов *

Вечером 25-го, в 10 часов 45 минут, открылся II Всероссийский съезд Советов. В этот вечер съезд должен

был конституировать, выбрать президиум, определить свои полномочия. Из 670 делегатов большевиков было лишь 300 человек; затем шли эсеры — 193 делегата, меньшевики — 68 делегатов. Правые эсеры, меньшевики, бундовцы рвали и метали. На чем свет стоит ругали большевиков. Они огласили декларацию протеста против «военного заговора и захвата власти, устроенного большевиками за спиной других партий и фракций, представленных в Совете», и ушли со съезда. Ушла и часть меньшевиков-интернационалистов. Левые эсеры, а их было громадное большинство среди эсеровских делегатов — 169 из 193, остались. Всего ушло со съезда человек 50. Ильич 25-го на съезде не был.

В момент, когда открывался II съезд Советов, шел штурм Зимнего дворца. Керенский, переодевшись матросом, скрылся еще накануне и, сев на автомобиль, помчался в Псков. Псковский ВРК его не арестовал, хотя и имел прямое распоряжение за подписью Дыбенко и Крыленко, и Керенский уехал в Москву, чтобы организовать поход на Петроград, где солдаты и рабочие взяли власть в свои руки. Остальные министры с Кишкиным во главе укрылись в Зимний дворец под защиту стянутых туда юнкеров и женского ударного батальона. По поводу осады Зимнего на съезде устраивали невероятную истерику меньшевики и правые эсеры, бундовцы. Эрлих заявил, что часть гласных городской думы решила пойти безоружными под расстрел на площадь Зимнего дворца ввиду того, что не прекращается обстрел дворца из орудий. Исполнительный комитет Совета крестьянских депутатов, фракция меньшевиков и фракция эсеров решила присоединиться к ним. После ухода меньшевиков и эсеров был назначен перерыв. Когда заседание возобновилось, в 3 часа 10 минут, было сообщено о взятии Зимнего дворца, об аресте министров, о том, что офицеры и юнкера обезоружены, о переходе 3-го батальона самокатчиков, двинутого Керенским на Петроград, на сторону революционного народа.

Ильич, не спавший почти совершенно предыдущую ночь и все время принимавший активное участие в руководстве восстанием, когда не было уже никаких сомнений в одержанной победе, и в том, что левые эсеры не уйдут со съезда, ушел из Смольного ночевать к Бонч-Бруевичам, жившим неподалеку от Смольного, на Песках. Ему отвели отдельную комнату, но он долго не мог

заснуть, тихонько встал и стал составлять давно уже продуманный со всех сторон декрет о земле.

Вечером 26 октября (8 ноября), выступая на съезде с докладом в обоснование декрета о земле, Ильич говорил: «Здесь раздаются голоса, что сам декрет и наказ составлен социалистами-революционерами. Пусть так. Не все ли равно, кем он составлен, но, как демократическое правительство, мы не можем обойти постановление народных низов, хотя бы мы с ним были несогласны. В огне жизни, применяя его на практике, проводя его на местах, крестьяне сами поймут, где правда... Жизнь — лучший учитель, а она укажет, кто прав, и пусть крестьяне с одного конца, а мы с другого конца будем разрешать этот вопрос. Жизнь заставит нас сблизиться в общем потоке революционного творчества, в выработке новых государственных форм... Крестьяне кое-чему научились за время нашей восьмимесячной революции, они сами хотят решить все вопросы о земле. Поэтому мы высказываемся против всяких поправок в этом законопроекте, мы не хотим детализации, потому что мы пишем декрет, а не программу действий».

В этих словах все ильичевское: и отсутствие мелочного самолюбия — было бы сказано правильно, а кто сказал, неважно, — и учет мнения низов, и понимание силы революционного творчества, и глубокое понимание того, что массы убеждаются больше всего практикой, фактами и глубокая уверенность в том, что факты, жизнь, приведут массы к пониманию того, что правильна точка зрения большевиков. Декрет о земле, который защищал Ленин, был принят. Шестнадцать лет прошло с тех пор. Помещичья собственность была отменена, и шаг за шагом, в борьбе со старыми, мелкособственническими взглядами и навыками, создались новые формы хозяйствования — коллективизация сельского хозяйства, которая охватывает теперь большую часть крестьянских хозяйств. Старое, мелкое хозяйство, старая, мелкособственническая психология уходят в прошлое. Создана прочная, мощная база социалистического хозяйства.

На вечернем заседании 26 октября (8 ноября) были приняты декреты о мире и о земле. Тут с эсерами договорились. Хуже обстояло дело с образованием правительства. Левые эсеры со съезда не ушли, не могли уйти, понимая, что уход привел бы к тому, что они потеряли бы всякое влияние в крестьянских массах, но уход 25

октября со съезда правых эсеров и меньшевиков, их выкрики о большевистской аванюре, о захвате власти и т. д. и т. п. очень сильно их волновали. После ухода со съезда правых эсеров и других Камков, один из вождей левых эсеров, заявил, что они единое демократическое правительство, что левые эсеры будут делать все возможное, чтобы осуществить такое правительство. Левые эсеры говорили, что они хотят быть посредниками между большевиками и ушедшими со съезда партиями. Большевики не отказывались от переговоров, но Ильич прекрасно понимал, что из этих разговоров ничего не выйдет. Не для того бралась власть, устраивалась революция, чтобы впрячь в советскую телегу лебедя, щуку и рака, создать правительство, неспособное спеться, сдвинуться с места. Сотрудничество с левыми эсерами Ильич считал возможным.

За пару часов до открытия съезда 26 октября имело место совещание по этому вопросу с представителями левых эсеров. В памяти осталась обстановка этого совещания. Какая-то комната в Смольном с мягкими темно-красными диванчиками. На одном из диванчиков сидит Спиридонова, около нее стоит Ильич и мягко как-то и страстно в чем-то ее убеждает. С левыми эсерами договоренности не получилось, они не хотели входить в правительство. Ильич предложил назначить на должность социалистических министров одних большевиков.

Заседание 26 октября (8 ноября) открылось в 9 часов вечера. Я присутствовала на этом заседании. Запомнилось, как делал доклад Ильич, обосновывая декрет о земле, говорил спокойно. Аудитория напряженно слушала. Во время чтения Декрета о земле мне бросилось в глаза выражение лица одного из делегатов, сидевшего неподалеку от меня. Это был немолодой уже, крестьянского вида человек. Его лицо от волнения стало каким-то прозрачным, точно восковым, глаза светились каким-то особенным блеском.

Была отменена смертная казнь, введенная Керенским на фронте, были приняты декреты о мире, о земле, о рабочем контроле, утвержден был большевистский состав Совета Народных Комиссаров. Председателем СНК был назначен Владимир Ульянов (Ленин)...

В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧ

В. И. ЛЕНИН
В ПЕТРОГРАДЕ
И В МОСКВЕ
1917 - 1920

Воспоминания

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН В ПЕРВЫЕ ДНИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Вот он, первый день Октябрьской революции. Город в волнении... Все чего-то ждут... Смольный кипит народом... Здесь расположился главный штаб большевиков — Военно-революционный комитет. Тут же находился и Владимир Ильич; он приветливо здоровался с проходящими, расспрашивал их о всех событиях дня и более всего о том, что делается там, у Зимнего дворца и на подступах к нему.

Весть о том, что Владимир Ильич в Смольном, быстро разнеслась среди большевиков. Многие хотели его видеть и приходили сюда. В соседнюю комнату стали заглядывать и посторонние. Особенно настойчиво в нее стремились попасть корреспонденты различных газет, в том числе и иностранных, заметившие, очевидно, что именно сюда идет много народу, что здесь действует руководящий центр восстания. Стали заглядывать меньшевики, эсеры и другие нежелательные лица.

Нужно было ввести надежную охрану. В комнате Красной гвардии находилось более пятисот вооруженных самых преданных рабочих. Это были красногвардейцы, в большинстве своем выборжцы.

Для охраны решено было отобрать человек семьдесят пять особо надежных. Молодой, лет тридцати, красавец рабочий с вьющимися из-под шапки кудрями, спокойно отдает команду: «Стройся!» Мгновенно все на местах. Тишина: ни шороха, ни звука. У дверей замерли часовые. Когда командир сообщил, что нужны семьдесят пять человек, готовых на все, даже на смерть, чтобы выполнить приказ, весь отряд сделал шаг вперед и замер. Командир отобрал людей, назначил начальника и двух человек на смену ему.

— В случае чего...— хмуро заметил он и умолк.

Сейчас же заготовили пропуска. Пропуск № 1 выдали Владимиру Ильичу.

— Что это? Пропуска? Зачем? — спросил Владимир Ильич.

— Необходимо. На всякий случай... Уже создана охрана Смольного. Прошу взглянуть...

Владимир Ильич выглянул в дверь и увидел отряд, стоявший в безукоризненном военном строю.

— Какие молодцы! Приятно смотреть! — восхищенно сказал Владимир Ильич.

Часовые стали снаружи и внутри комнаты у входной двери. Начальник сейчас же установил связь с центральным отрядом.

Народ все прибывал и прибывал.

В 2 часа 35 минут дня открылось заседание Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Нельзя сказать — гром, а нечто большее, воистину потрясающее, — вихрь человеческих чувств пронесся по залу, когда Владимир Ильич показался на трибуне. Он начал свою речь словами: «Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась...» Бурно и пламенно проходило это историческое заседание Петроградского Совета.

Владимир Ильич был очень взволнован тем, что осада Зимнего дворца затягивается.

Гвардейскому Павловскому полку, присоединившемуся к революционным войскам, был отдан приказ занять улицы, прилегающие к Зимнему. Полк залег около самого дворца.

Когда подошли матросы, они сразу сориентировались в обстановке, не останавливаясь, быстрыми перебежками пересекли Дворцовую площадь и накопились на подступах к Зимнему дворцу, увлекая за собой солдат Павловского полка и красногвардейцев. Затем они сильным ударом раскрыли огромные двери дворца и ворвались во внутренние помещения. Их встретили юнкера, не имевшие ни боевой подготовки, ни надлежащего руководства, но тем не менее оказавшие упорное сопротивление, защищая сидевших в одном из залов дворца членов Временного правительства. Женский батальон после краткой агитационной речи матроса Железнякова сложил оружие и целиком перешел на сторону восставших.

Пришвартовался крейсер «Аврора». Ему за несколько дней до атаки Зимнего дано было распоряжение главнокомандующим большевистскими силами повернуть орудия в сторону дворца. Такое же приказание получила и Петропавловская крепость, с верков которой поздно вечером почти одновременно с «Авророй» раздались выстрелы по Зимнему дворцу. Осажденные поняли, что в одно мгновение они могут быть сметены с лица земли. Матросы, а также другие большевистские части быстро растекались по Зимнему дворцу и заняли его главнейшие пункты, лестницы, выходы и подступы. В ночь с 25 на 26 октября в 2 часа 10 минут Временное правительство было арестовано и препровождено под караулом в Петропавловскую крепость. Керенский тайным ходом вышел из Зимнего дворца и позорно бежал в автомобиле американского посольства. Через три дня он появился в Царском Селе, где напрасно пытался поднять восстание среди казаков и пехоты и двинуть их на Петроград через Пулковские высоты.

Скорым военным шагом по коридору торопится солдат-самокатчик, одетый в черную кожаную куртку и такие же шаровары. Через плечо у него дорожная сумка, которую он придерживает левой рукой.

— Где штаб Военно-революционного комитета? — обращается он к стоящим на часах у дверей двум красногвардейцам.

— А тебе кого?

— Ленина! — донесение...

Часовой оборачивается к двери и говорит товарищу:

— Так что требуется разводящий... Прибыл курьер. Без пропуска... В штаб... Требуется Ленина...

Вышел разводящий. Опросил, откуда и от кого курьер.

— Из Зимнего дворца... От главнокомандующего Подвойского.

— Идем...

— Донесение! — говорит самокатчик, входя в дверь соседней комнаты. — Требуется Ленин.

Владимир Ильич подходит.

— Что скажете, товарищ?

— Вы и есть Ленин? — смотря с любопытством на Владимира Ильича, говорит самокатчик. Глаза его радостно поблескивают. Он быстро отстегивает клапан у сумки, достает листок бумаги, бережно передает его Владимиру Ильичу, беря под козырек, и кратко рапортует:

— Донесение!

— Благодарю, товарищ, — говорит Владимир Ильич и протягивает руку самокатчику. Тот смущен, схватывает руку Владимира Ильича обеими руками, пожимает, встряхивает, улыбается. Берет под козырек, резко, повоежному, поворачивается кругом и бодрым шагом, на ходу кладя в сумку клочок бумаги, на котором расписался Владимир Ильич в получении, уходит из помещения.

— Зимний дворец взят. Временное правительство арестовано. Отвезено в Петропавловку. Керенский бежал! — вслух быстро читает Владимир Ильич. И только дочитал, как раздалось «ура», мощно подхваченное красногвардейцами в соседней комнате.

— Ура! — неслось повсюду.

Часа в четыре ночи мы, утомленные, но возбужденные, стали расходиться из Смольного. Я предложил Владимиру Ильичу поехать ко мне ночевать. Заранее позвонив в Рождественский район, я поручил боевой дружине проверить разведкой улицы, прилегающие к Херсонской. Мы вышли из Смольного. Город был не освещен. Найдя автомобиль на условленном месте, мы двинулись ко мне домой.

Владимир Ильич, видимо, очень устал и подремывал в автомобиле. Приехав, поужинали кое-чем. Я постарался предоставить все для отдыха Владимира Ильича. Еле уговорил его занять мою кровать в отдельной небольшой комнате, где к его услугам были письменный стол, бумага, чернила и библиотека. Владимир Ильич согласился, и мы разошлись.

Я лег в соседней комнате на диване и твердо решил заснуть только тогда, когда вполне удостоверюсь, что Владимир Ильич уже спит.

Я запер входные двери на все цепочки, крючки и замки, привел в боевую готовность револьверы и подумал: «Ведь могут вломиться, арестовать, убить Владимира Ильича; всего можно ожидать».

На всякий случай тотчас же записал на отдельную бумагу все известные мне телефоны нашего района и отдельных товарищей, Смольного, соседних районных рабочих комитетов и профсоюзов. «Чтобы впопыхах не перезабыть», — подумал я.

Наконец я потушил электрическую лампочку. Свет в комнате Владимира Ильича погас раньше. Начинаю дремать, и, когда вот-вот должен был заснуть, вдруг блеснул свет у Владимира Ильича.

Я насторожился. Слышу, почти бесшумно встал он с кровати, тихонько приоткрыл дверь ко мне и, удостоверившись, что я сплю, еле слышными шагами, на цыпочках, чтобы никого не разбудить, подошел к письменному столу. Сел за стол, открыл чернильницу и, опершись на локти, углубился в работу, разложив какие-то бумаги, тут же их прочитывая. Все это мне видно было в приоткрытую дверь.

Владимир Ильич писал, перечеркивал, читал, делал выписки, опять писал и наконец, видимо, стал переписывать начисто. Уже светало, стало сереть позднее петроградское осеннее утро, когда, наконец, Владимир Ильич потушил огонь и лег в постель.

Забылся и я.

Утром я просил всех домашних соблюдать тишину, сказав, что Владимир Ильич работал всю ночь и, несомненно, крайне утомлен. Но вдруг открылась дверь, и он вышел из комнаты одетый, энергичный, свежий, бодрый, радостный.

— С первым днем социалистической революции! — поздравил он всех, и на его лице не было заметно никакой усталости, как будто он великолепно выспался, а на самом деле спал самое большее два-три часа после напряженного двадцатичасового трудового дня. Подошли товарищи. Когда собрались все пить чай и вышла Надежда Константиновна, ночевавшая у нас, Владимир Ильич вынул из кармана переписанные листки и прочел нам свой знаменитый Декрет о земле.

— Вот только бы объявить его, широко опубликовать и распространить. Пускай попробуют тогда взять его назад! Нет, никакая власть не в состоянии отнять этот декрет у крестьян и вернуть земли помещикам. Это — важнейшее завоевание нашей революции. Аграрная революция будет совершена и закреплена,— говорил Владимир Ильич.

Когда ему кто-то сказал, что на местах еще будет много всяких земельных неурядков и борьбы, он тотчас же ответил, что все это уже мелочи, все остальное приложится, лишь бы поняли программу этого аграрного революционного переворота, прониклись бы ею и выполнили целиком и полностью на местах. Он стал подробно рассказывать, что этот декрет потому будет принят крестьянами, что в основу его положены требования наказов всех крестьянских сходов своим депутатам, посланным на съезд Советов.

— Да, но ведь это были требования эсеров, вот и скажут, что мы от них заимствуем,— заметил кто-то.

Владимир Ильич улыбнулся.

— Пускай скажут. Не все ли нам равно! Крестьяне ясно поймут, что все их справедливые требования мы всегда поддержим. Мы должны вплотную подойти к крестьянам, к их жизни, к их желаниям. А если будут смеяться какие-либо дурачки,— пускай смеются. Монополию на крестьян мы эсерам никогда не собирались давать. Мы — правительственная партия, и вслед за диктатурой пролетариата крестьянский вопрос — важнейший вопрос.

Владимир Ильич хотел как можно скорей провозгласить на съезде этот декрет. Решили сейчас же перепечатать его на машинке в нескольких экземплярах и тотчас сдать в набор в наши газеты, чтобы завтра утром он был опубликован. После принятия декрета на съезде Советов — немедленно разослать по всем газетам страны с указанием напечатать в ближайшем номере.

Декрет о земле вскоре был разослан по всем петроградским редакциям с нарочными, а в другие города — по почте и телеграфу. Наши газеты заверстали его предварительно, и наутро декрет читали уже сотни тысяч и миллионы людей. Все трудящиеся принимали его с восторгом.

Буржуазия шипела и огрызалась в своих газетах. Но никто на это не обращал внимания...

Владимир Ильич еще долгое время интересовался, сколько экземпляров Декрета о земле распространено среди солдат, крестьян. Декрет о земле перепечатывали много раз книжечкой и бесплатно рассылали во множестве экземпляров не только в губернские и уездные города, но и во все волости России, и, пожалуй, ни один закон не был опубликован у нас так широко, как закон о земле, которому Владимир Ильич придавал такое огромное значение.

— Когда раздаете демобилизованным Декрет о земле,— сказал Владимир Ильич,— надо каждому хорошо объяснить его смысл и значение и не забывать говорить, что если помещики, купцы, кулаки еще сидят на захваченных землях,— обязательно гнать их и землю передавать в распоряжение крестьянских комитетов. Поставьте смышленного матроса, который смотрел бы, куда положит солдат декрет; надо, чтобы он положил его поглубже в сумку, под вещи, чтобы не утерять, а с десятков экземпляров держал бы поближе для чтения и раздачи в вагоне.

...К февралю 1918 года в настроении масс чувствовалась усталость. С фронта брели громадные толпы солдат. Измученные, издерганные, стремились они домой, видя полный развал фронта, желая отдохнуть от кошмарной и изнурительной окопной жизни. В Петроград непрерывной чередой прибывали с фронта воинские части. Недолго побыв в столице, они уходили все дальше и дальше в глубь России. Вполне дисциплинированных полков и отрядов было среди них очень мало.

Из-за предательства Троцкого в период Брест-Литовских переговоров условия мира для России стали еще более тягостными. И все же приходилось спешить с заключением мира. Специальная комиссия от РСФСР выехала в город Двинск, где должно было состояться окончательное подписание столь долгожданного мира. С часу на час ожидалась телеграмма, уведомляющая, что мир подписан (перемирие было подписано ранее).

И вдруг в Управление делами Совета Народных Комиссаров пришла срочная телеграмма, сообщавшая, что противник начал наступление на Петроград. Был взят город Псков. Немецкие части двигались дальше, на станцию Дно. Гарнизон города и станции Дно беспорядочно и без всякого сопротивления отступил; так же отступили

и остатки полевых войск царской армии. Штабы откатились в глубокий тыл.

Величайшая опасность нависла над плохо защищенным Петроградом. Надо было действовать немедленно.

Узнав о полученной телеграмме, прервал свое заседание Совет рабочих и солдатских депутатов, который заседал в одном из залов Смольного.

Не прошло и часа, как заводские гудки всколыхнули уже заснувший было Петроград.

Могуче и властно неся из края в край, расстилаясь в туманной дали, этот призывный гуд.

Рабочие быстро собрались к своим заводам. Депутаты Совета коротко сообщили о создавшемся положении, призывая рабочих к оружию. Красногвардейцы сейчас же организовались в рабочие батальоны. К ним присоединились все, кто имел хоть какое-нибудь оружие. Многие шли без оружия, рассчитывая получить его в Смольном. Во тьме, так как уличного освещения не было, шли и шли из всех районов бесконечной чередой десятки тысяч рабочих, направляясь к своему боевому центру — Смольному.

Ночью же о случившемся стало известно в Сестрорецке, на Пороховых, в Колпино, на Обуховском и других окрестных заводах Петрограда, откуда к утру стали подходить отряды рабочей Красной гвардии.

Утром, часов в девять, 21 февраля Владимир Ильич вызвал меня звонком в свой кабинет в Совете Народных Комиссаров.

Владимир Ильич стоял у окна. Послышались звуки боевого марша.

Стройными колоннами, с развернутыми знаменами подходила десятитысячная дивизия сестрорецких рабочих. На них были короткие дубленые полушубки, отороченные белым мехом.

— Какая мощь! — воскликнул Владимир Ильич.

Дивизия выстроилась перед Смольным.

Пришли вольным, размашистым шагом батальоны матросов, прибывшие из Кронштадта. А дальше колыхались длинной чередой полки Красной гвардии рабочих, пехотные части гарнизона, расквартированные в Петрограде.

Владимир Ильич сел за стол и углубился в работу. Вскоре появилось знаменитое ленинское воззвание «Социалистическое отечество в опасности!»

Вот оно:

«Чтоб спасти изнуренную, истерзанную страну от новых военных испытаний, мы пошли на величайшую жертву и объявили немцам о нашей согласии подписать их условия мира. Наши парламентарии 20 (7) февраля вечером выехали из Режицы в Двинск, и до сих пор нет ответа. Немецкое правительство, очевидно, медлит с ответом. Оно явно не хочет мира. Выполняя поручение капиталистов всех стран, германский милитаризм *хочет задушить русских и украинских рабочих и крестьян, вернуть земли помещикам, фабрики и заводы — банкирам, власть — монархии.* Германские генералы хотят установить свой «порядок» в Петрограде и в Киеве. *Социалистическая республика Советов находится в величайшей опасности.* До того момента, как поднимется и победит пролетариат Германии, священным долгом рабочих и крестьян России является беззаветная защита республики Советов против полчищ буржуазно-империалистской Германии. Совет Народных Комиссаров постановляет: 1) *Все силы и средства страны целиком предоставляются на дело революционной обороны.* 2) *Всем Советам и революционным организациям вменяется в обязанность защищать каждую позицию до последней капли крови.* 3) Железнодорожные организации и связанные с ними Советы обязаны всеми силами воспрепятствовать врагу воспользоваться аппаратом путей сообщения; при отступлении уничтожать пути, взрывать и сжигать железнодорожные здания; весь подвижной состав — вагоны и паровозы — немедленно направлять на восток в глубь страны. 4) Все хлебные и вообще продовольственные запасы, а равно всякое ценное имущество, которым грозит опасность попасть в руки врага, должны подвергаться безусловному уничтожению; наблюдение за этим возлагается на местные Советы под личной ответственностью их председателей. 5) Рабочие и крестьяне Петрограда, Киева и всех городов, местечек, сел и деревень по линии нового фронта должны мобилизовать батальоны для рытья окопов под руководством военных специалистов. 6) *В эти батальоны должны быть включены все работоспособные члены буржуазного класса, мужчины и женщины, под надзором красногвардейцев; сопротивляющихся — расстреливать.* 7) Все издания, противодействующие делу революционной обороны и становящиеся на сторону немецкой буржуазии, а также стремящиеся ис-

пользовать нашествие империалистических полчищ в целях свержения Советской власти, закрываются; работоспособные редакторы и сотрудники этих изданий мобилизуются для рытья окопов и других оборонительных работ. 8) *Неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, германские шпионы расстреливаются на месте преступления.*

Социалистическое отечество в опасности! Да здравствует социалистическое отечество! Да здравствует международная социалистическая революция!»¹.

Ленинское воззвание, напечатанное в сотнях тысяч экземпляров, расклеивалось на стенах, раздавалось народу, распространялось на вокзалах, в поездах, в казармах, рассылалось во все города. Оно оказало огромное организующее и мобилизующее влияние на трудящиеся массы.

Вот типичная для тех дней сцена, свидетелем которой мне довелось быть. Стройными рядами, в полной боевой готовности, с развернутыми знаменами, с оркестром, со всеми приданными ей частями боевым маршем шла с Варшавского вокзала дивизия. Она направлялась к Смольному, чтобы в целости и сохранности сдать оружие, архив, кассу и в организованном порядке демобилизоваться и отправиться по домам.

Показался автомобиль. Выскочивший из него молодой рабочий подбежал с пачкой воззваний к головному отряду дивизии.

— Воззвание Ленина! — крикнул он. — Немцы наступают на Петроград! Социалистическое отечество в опасности! — И рабочий стал раздавать направо и налево печатные листки.

Комиссар дивизии быстро, на ходу просмотрел листок, что-то сказал командиру, и вдруг раздалась четкая команда:

— Дивизия, стой!

Дивизия быстро перестроила ряды, образовав каре на площади Пяти углов. Кто-то выкатил из ближайшего двора бочку, военный комиссар дивизии легко вскочил на нее и громко провозгласил на всю площадь:

— «Социалистическое отечество в опасности!»

Все дрогнуло, насторожилось. На площади наступила мертвая тишина. Прохожие тоже остановились как

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 357—358.

вкопанные. Слово за словом, четко, ясно, с подъемом читал военный комиссар ленинское воззвание.

И вот он кончил.

— Ну что же, товарищи,— вдруг сказал он громко,— идем в Смольный демобилизоваться?

— На фронт! — грянули тысячи голосов.

Быстро последовали команда за командой. Дивизия вновь выстроилась в боевом порядке и сейчас же по команде «кругом марш» повернула обратно. Грянул оркестр. Четко отбивая шаг, с развернутыми знаменами двинулась эта образцовая боевая воинская часть не в Смольный, чтобы сдать оружие и разойтись по домам, а туда, на фронт, в окопы.

Я подошел к комиссарам, отрекомендовался и предложил им проехать в Смольный в Главный штаб, чтобы получить военное задание.

Два военных комиссара вместе с командиром дивизии и одним из офицеров прибыли в Смольный и отпартовали Владимиру Ильичу, что приказание Совета Народных Комиссаров выполнено: дивизия, шедшая демобилизоваться, по единогласной воле всех бойцов повернула на фронт.

Владимир Ильич крепко пожал руки прибывшим военным.

Сейчас же по телефону было дано распоряжение на Варшавский вокзал предоставить эшелоны этой славной дивизии. Штаб дал задание. Дивизия спешно погрузилась и тотчас же выехала на фронт. Вместе с другими прибывшими туда частями она нанесла сокрушительный удар по немецким войскам, сорвав их наступление на станцию Дно. Энергично преследуемые по пятам, немцы оставили Псков и тотчас же согласились на мирные переговоры.

Это была серьезная победа красных войск над немецкими империалистическими полчищами, захотевшими молниеносным ударом завладеть Петроградом. Этот день вошел в историю как день рождения Красной Армии.

Круглые сутки без перерыва работал военный штаб, насыщая фронт все новыми и новыми подкреплениями.

В течение дня 21 февраля несколько раз собирался Совнарком для обсуждения сложившегося положения.

Тут же, в Смольном, почти непрерывно заседал ЦК нашей партии, обсуждавший вопросы мира и войны.

Для еще более подробного разъяснения населению всех трудных обстоятельств переживаемого времени Совнарком 21 февраля принял обращение «К трудящемуся населению всей России».

Это воззвание, тотчас же опубликованное в газетах и расклеенное по всему городу, произвело огромное впечатление на народные массы.

Проникновенные слова этого возвания, наполненные неприкрашенной правдой, раскрывали глаза всем, кто еще не представлял себе ту грозную опасность, которая нависла над молодой Советской Республикой. Огромные толпы добровольцев продолжали осаждать Смольный, штаб Петроградского военно-революционного комитета. Все в едином мощном порыве хотели сейчас же, немедленно идти на фронт, грудью своей отстаивать наши рубежи. Создалось народное ополчение, которое встало на защиту Петрограда.

Широкие массы рабочих, все трудящееся население поняло и одобрило решительное требование вождя Октябрьской революции: при попытке сопротивления объявленной всенародной мобилизации — стереть с лица земли врагов нашего социалистического отечества.

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ В КРЕМЛЕ

Вечером 11 марта 1918 года особый поезд Николаевской (ныне Октябрьской) железной дороги, в котором ехал Владимир Ильич и другие члены Советского правительства, подошел к пассажирской платформе главного вокзала этой дороги в Москве.

Прибыв в гостиницу «Националь» ранее Владимира Ильича, мы тщательно осмотрели комнаты, в которых временно должен был расположиться председатель Совета Народных Комиссаров.

На другой день, 12 марта 1918 года, Владимир Ильич поехал в Кремль, чтобы осмотреть те его помещения, где должно было устроиться правительство Советской Республики. Владимира Ильича сопровождали Я. М. Свердлов, Н. К. Крупская и я.

Был солнечный весенний день, когда в двенадцать часов мы подъехали к Троицким воротам Кремля. Часовые, как полагается, остановили нас. Мы предъявили пропуски. К нам подошел командир, дежуривший здесь, в полном воинском вооружении и спросил:

— Кто едет?

— Председатель Совета Народных Комиссаров Владимир Ильич Ленин,— ответил я. Командир, сделав два шага назад, вытянулся в струнку, смотря на Владимира Ильича. Владимир Ильич улыбнулся, отдал честь, приложив под козырек руку к круглой барашковой шапке.

Мы плавно въехали в старинные ворота.

Мы подыскали для семьи Владимира Ильича три небольшие комнаты с кухней, маленькой передней, ванной и комнатой для домработницы. Этой скромной квартирой Владимир Ильич вполне удовлетворился. После ранения 30 августа 1918 года потребовалась еще одна комната, которая была выделена из Управления делами Совнаркома. В ней расположились доктора и сестры милосердия, ухаживавшие за раненым Владимиром Ильичем. С тех пор эта комната осталась при квартире Владимира Ильича.

Рядом с квартирой Владимира Ильича расположилось Управление делами Совнаркома с приемной для посетителей. Затем шел зал для заседаний Совнаркома, к которому непосредственно примыкал кабинет Владимира Ильича, а далее была комната для телефонистов. В кабинете Владимира Ильича была еще одна дверь, у которой всегда стоял часовой. Ему был прекрасно виден коридор, по которому Владимир Ильич проходил домой. Одно время здесь же был устроен телеграф, откуда Владимир Ильич говорил по прямому проводу со всеми фронтами и многими городами нашей страны.

Однажды мы решили осмотреть Кремль. Солнце заливало главы соборов и купола. Замоскворечье гудело. Все блестело и радостно кипело, несмотря на то, что кругом виднелись бесконечные следы совсем недавних битв. Стены были усеяны мелкими выбоинами от пуль, градом осыпавших Кремль. Вознесенский монастырь, постройки Чудова, одна кремлевская башня и некоторые здания носили явные следы разрушительного артиллерийского огня. Всюду на дворах — у стен, в углах и закоулках — была непроходимая, непролазная грязь: остатки сена, соломы, конского навоза, нагроможденные повозки, поломанные фуры, брошенные пушки, всякое имущество, мешки, кули, рогожи.

Владимир Ильич расспрашивал, удалось ли сохранить все ценности дворцов, Грановитой и Оружейной палат, знаменитую патриаршую ризницу и библиотеку

с ценнейшими книгами и рукописями. Когда оказалось, что все это сохранено самым тщательным образом, что кремлевские гренадеры без смены по двое суток дежурили на своих постах, охраняя вверенное им государственное имущество, желая сдать его в целости и сохранности законной власти, что, наконец, весь золотой запас, хранившийся здесь в погребах, также цел и невредим,— Владимир Ильич предложил немедленно проверить караулы, убедиться еще раз, что здесь все цело и все в порядке.

— Когда можно будет мне переехать сюда? — спросил Владимир Ильич.

— Я думаю, очень скоро,— ответил я ему.— Вам придется временно поселиться в других комнатах, пока ваши приведут в порядок. Завтра мы это устроим.

Не прошло и часа, как над Кремлем гордо взвилось красное знамя — флаг Советского государства.

У Троицких ворот собралось довольно много людей, горя желанием увидеть Владимира Ильича.

Красноармейцы со своим командиром подтянулись, завидев наш автомобиль, спускавшийся под горку через мост от Троицких ворот к Кутафьевой башне, отдали честь своему вождю и председателю Совета Народных Комиссаров, и мы выехали из Кремля.

...Утром, около восьми часов, всегда были слышны бодрые, быстрые шаги Владимира Ильича. Это он шел по коридору из своей квартиры в кабинет. Подходя к двери кабинета, он всегда первый здоровался с стоящим здесь часовым. Наряды внутренней охраны несли слушатели военных командирских курсов, которые вскоре были размещены в одном из зданий Кремля.

Войдя в кабинет, Владимир Ильич тотчас начинал рассматривать приготовленную ему работниками Управления делами почту и прежде всего телеграммы со всех фронтов и тотчас же размещал все новые данные на географических картах, которыми были увешаны все стены. Когда открылся новый, турецкий фронт, то не нашлось места, где расположить эту карту нового фронта. Пришлось ее наклеить уголками на изразцовую печку, выходящую кафелем в кабинет и расположенную весьма близко от письменного стола, за которым постоянно занимался Владимир Ильич.

У стены, которая граничила с залом заседаний Совнаркома, стоял большой кожаный диван.

На письменном столе Владимира Ильича было несколько телефонных сигналов, которые давали ему знать, что его вызывают наши телефонисты — рабочие-красногвардейцы, старшим среди которых был рабочий-металлист Половинкин.

В телефонную комнату вела особая дверь, находившаяся по левую сторону от письменного стола Владимира Ильича. Тогда еще не было удобных телефонных установок, так же как и усилителей. Каждый разговор с провинцией, с фронтами стоил Владимиру Ильичу большого труда, так как слышимость была нередко крайне плохой.

Через некоторое время Владимир Ильич попросил устроить в его кабинете небольшую библиотеку, причем первый комплект книг он составил сам. Он пожелал приобрести четырехтомный словарь русского языка Даля, который сам поставил на книжную вертушку, стоящую близко от его кресла около письменного стола. Владимир Ильич часто, отдыхая, брал его и очень внимательно изучал. Библиотека эта расположена была по левой стене в кабинете.

Прямо против стола находилась дверь, обитая клеенкой, которая вела в зал заседаний Совнаркома. В зале против двери стояло деревянное кресло Владимира Ильича, которое и сейчас сохраняется в том же зале. Далее — большой стол, покрытый зеленым сукном, за которым заседали народные комиссары.

Владимир Ильич никогда не курил. На него очень плохо влиял прокуренный воздух. Все ближайшие товарищи это хорошо знали и, конечно, воздерживались от курения при нем. В кабинете Владимира Ильича и в зале Совнаркома висели плакаты с надписью: «Просят не курить». Среди наркомов и их замов было много курильщиков. Часто выходить из зала заседаний было неудобно, да и невозможно, так как многие вопросы требовали во время обсуждения их присутствия. Курильщики нашли выход из этого положения: почти в конце зала стояла большая изразцовая голландская печь, выдававшаяся на треть своей величины внутрь зала Совнаркома, образуя таким образом значительный угол между стеной и печкой. В этой части печки был отдушник. На время заседания для освежения воздуха труба печки открывалась, вьюшки оставались у стены в печи. Курильщики занимали всегда место в конце стола. Время от вре-

мени они выходили из-за стола заседания, подходили к печи в уголок и там покуривали, выпуская дым в отдушину.

Владимир Ильич, зорко всегда наблюдавший за всем, приметил это циркулирующее движение наркомов и как-то неожиданно встал и тоже прошел за печку, где обнаружил курильщиков.

— Вот оно что! — воскликнул он. — Попались с личным.

Смеху было много. Владимир Ильич был очень тронут этим вниманием наркомов. Владимир Ильич предлагал разрешить курить в зале заседания. Все курильщики единогласно отказались от этого и продолжали курить в отдушник, который имел прекрасную тягу и без остатка выносил курильный дым...

В этом зале происходило и то заседание Совнаркома, когда Владимир Ильич с разрешения врачей после ранения его эсеркой Каплан первый раз вышел к себе в кабинет. Мы заранее столковались, что заседание не должно продолжаться более получаса, чтобы не утомить Владимира Ильича.

Владимир Ильич вызвал по повестке т. Цюрупу, который должен был сообщить новые данные по продовольственному вопросу.

Тов. Цюрупа очень кратко доложил о состоянии продовольственного дела. Владимир Ильич заинтересовался и стал задавать вопросы, на которые т. Цюрупа обстоятельно отвечал. Затем он попросил разрешения на днях приехать, чтобы обсудить некоторые вопросы, на что Владимир Ильич охотно согласился.

Выступил кто-то еще, и повестка была исчерпана. Все встали и окружили Владимира Ильича. Радость была величайшая.

СОВЕТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ

Создать Государственный герб нашей Советской страны — задача большой важности, ибо этот герб должен был отличаться по своему внутреннему смыслу решительно от всего того, что было в гербах капиталистических государств.

В Управление делами Совнаркома поступил рисунок герба, сделанный акварелью. Он был такой же круглый,

с теми же эмблемами, как и теперь, но имел посередине обнаженный длинный меч. Меч как бы покрывал весь герб. Он уходил своей рукояткой в перевязь снопов внизу герба и выходил суживающимся концом в солнечные лучи, которые заполняли все верхнюю часть общего орнамента.

Владимир Ильич был у себя в кабинете и беседовал с Я. М. Свердловым, Ф. Э. Дзержинским и некоторыми другими товарищами, когда рисунок герба положен был перед ним на стол.

— Что это, герб?.. Интересно посмотреть! — И он устремил свой взгляд на рисунок, наклоняясь над столом. Мы все, окружив Владимира Ильича, с интересом вглядывались в проект герба, предложенный художником из студии типографии Гознак.

Внешне герб сделан был хорошо. На красном фоне сияли лучи восходящего солнца, обрамленные полукругом снопами пшеницы, внутри которых отчетливо виднелись серп и молот, а над гербом главенствовал, словно настораживая всех, отточенный булатный меч, проходивший через герб снизу вверх.

— Интересно!.. — сказал Владимир Ильич. — Идея есть, но зачем же меч? — И он посмотрел на всех нас. — Мы бьемся, мы воюем и будем воевать, пока не закрепим диктатуру пролетариата и пока не выгоним из наших пределов и белогвардейцев и интервентов, но это не значит, что война, военщина, военное насилие будут когда-нибудь главенствовать у нас. Завоевания нам не нужны. Завоевательная политика нам совершенно чужда: мы не нападаем, а отбиваемся от внутренних и внешних врагов; война наша — оборонительная, и меч — не наша эмблема. Крепко держать его в руках мы должны, чтобы защищать наше пролетарское государство до тех пор, пока у нас есть враги, пока на нас нападают, пока нам угрожают, но это не значит, что это будет всегда... Социализм восторжествует во всех странах — это несомненно. Братство народов будет провозглашено и осуществлено во всем мире, и меч нам не нужен, он не наша эмблема... — повторил Владимир Ильич.

— Из герба нашего социалистического государства мы должны удалить меч... — продолжал Владимир Ильич, и он тонко заточенным черным карандашом зачеркнул его корректурным знаком, повторив его на правом поле герба.

— А в остальном герб хорош. Давайте утвѣрдим проект и потом посмотрим и еще раз обсудим в Совнаркоме, но все это надо сделать поскорей...

И он подписал рисунок.

Я вернул этот проект художнику из Гознака, находившемуся здесь, и просил его переработать герб.

Когда рисунок был доставлен нам вторично — без меча,— мы решили показать его скульптору Андрееву. Он нашел нужным внести технические поправки, перерисовал герб, сгустил снопы хлеба, усилил сверкающие лучи солнца и сделал все как-то рельефней, выразительней.

Государственный герб РСФСР был утвержден в самом начале 1918 года.

Вместе с красной звездой герб Советской Республики стал символом всех пролетариев, всех трудящихся во всем мире.

КОМСОМОЛЬЦЫ У ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА

Еще задолго до революции, когда из Женевы выезжали наши товарищи, профессиональные революционеры, Владимир Ильич, определяя цель и назначение нелегальной поездки, никогда не забывал сказать каждому, что необходимо везде и всюду рекомендовать нашим комитетам и группам привлекать к нашей партийной работе, к нашей организации фабрично-заводскую и студенческую молодежь. И мы знаем, что в те бурные времена, когда подготавливался решительный натиск на самодержавный строй, молодежь сыграла огромную роль в агитации за всеобщую стачку 1905 года, принимала деятельное участие в колоссальных демонстрациях того времени, храбро сражалась на баррикадах Пресни во время вооруженного восстания в Москве.

В самый решительный момент мобилизации революционных сил для окончательной борьбы с буржуазным Временным правительством, во время Октябрьской революции, провозгласившей диктатуру пролетариата, Владимир Ильич придавал большое значение рабочей молодежи.

8 октября 1917 года Владимир Ильич написал статью, которую он послал некоторым большевистским организациям. Он настойчиво предлагал: «Выделить *самые решительные элементы* (наших «ударников» и *рабочую*

молодежь, а равно лучших матросов) в небольшие отряды для занятия ими всех важнейших пунктов и для участия их везде, во всех важных операциях...»

Владимир Ильич уделял из своего более чем перегруженного дня много времени, много внимания крайне важному делу — организации комсомола. Он неустанно следил за всей комсомольской повседневной прессой, за всеми установками молодежной организации, за книгами и брошюрами, издававшимися этой организацией, и особенно тщательно — за произведениями новых молодых писателей из комсомольской среды, отмечая всех наиболее талантливых, читая их книжечки с карандашом в руках.

Мне пришлось присутствовать при непосредственном общении Владимира Ильича с комсомольцами, вернувшимися с фронтов гражданской войны, где они прошли суровую боевую школу.

Вот как это было.

Около тридцати комсомольцев явились к Владимиру Ильичу, который с большой охотой, по-отечески заботливо принял эту делегацию у себя в кабинете в Кремле. Когда эта молодежь вошла к нему строго, по-военному, он ласково пожал каждому руку и пригласил сесть.

Владимир Ильич, видимо, сразу подметил их душевное состояние как действительно великий сердцевед, быстро угадывавший настроение тех, с кем он общался. Он стал беседовать с ними. Молодые поблескивавшие глаза впились в него: румянец играл на щеках возбужденной молодежи. Владимир Ильич говорил о том, что их участие в этом великом походе, их бои, сражения и жертвы никогда не забудет революционная Россия, революционный пролетариат и наша партия.

— Вы приобрели уже жизненный опыт,— говорил он им,— вы видели жизнь такой, какая она есть на самом деле. Вы возвращаетесь к мирному строительству выросшими, окрепшими, коммунистически более организованными.

И он вдруг стал расспрашивать каждого, где он живет, кто жильцы дома, в чем они нуждаются, как устроены.

— Вот и отлично,— сказал Владимир Ильич.— Работы ведь пропасть! Нам нужно биться за культуру, ведь мы отстали страшно... У нас нет самого необходимого в этой области, самого примитивного.

— Конечно,— продолжал он,— со многим можно и должно бороться общегосударственными мерами, переустройством всего общества, но многое, очень многое зависит от нас самих. Так вот, надо пойти по рабочим районам и начать простую борьбу за чистоту, за опрятность, за грамотность. Надо вам покрыть рабочие кварталы такими организациями, борющимися за культуру, которые бы неустанно и неуклонно проводили в жизнь все требования культуры. Только это работа длительная, упорная, трудная, но чрезвычайно важная, и мы должны ее сделать во что бы то ни стало.

После дальнейшего обмена мыслями молодежь рассталась с Владимиром Ильичем. Вскоре после этого, уже на съезде комсомола, Владимир Ильич произнес свою знаменитую речь к молодежи, в которой призывал к серьезной учебе, к культурной работе, к борьбе за новый быт и к работе над собой.

Мне пришлось быть свидетелем прибытия из Петрограда ударных эшелонов пролетарской петроградской молодежи, боевыми маршами двинувшейся с Октябрьского вокзала к Красной площади и оттуда к Моссовету. Эта изумительная поступь, выправка, эти горящие глаза, этот порыв, который заражал решительно всех, нельзя ни описать, ни передать!..

Владимир Ильич был в полном восхищении, увидя эти молодые кадры, и сказал про них, что это настоящая смена старой большевистской гвардии, которая действительно может перевернуть весь мир.

Молодежь — это огромный многомиллионный резерв, откуда должны выходить все новые и новые, твердые, убежденные, закаленные, полные всепобеждающего энтузиазма деятели нашей партии.

ПРОГУЛКА В. И. ЛЕНИНА ПО КРЕМЛЮ

Спросив у врачей, когда можно будет Владимиру Ильичу выступить на каком-либо митинге, мы получили ответ, что не раньше как через три месяца. Надо было заснять Владимира Ильича в кино. Съемки были поручены кинооператору Болтянскому. Ему предложили заснять Владимира Ильича так, чтобы он не заметил, иначе он не будет сниматься. Обсудив все, мы решили, что в хороший, солнечный день Болтянский приедет в Кремль

со своими кинооператорами и расставит их за углами, около царь-пушки и в других местах по маршруту асфальтовой дорожки, которая проходила около здания арсенала и тянулась до царь-пушки. Здесь предстояла прогулка Владимира Ильича.

Условились сделать это очень важное дело поскорей, чтобы потом составить и размножить ленту для кино во многих экземплярах и таким образом показать повсюду рабочим, народу Владимира Ильича на прогулке в Кремле.

Спустя некоторое время выдался замечательный осенний день. Был сентябрь 1918 года. По телефону дали знать Болтянскому, что надо готовиться, и напомнили Владимиру Ильичу, что около часа дня ему обязательно нужно пойти на прогулку, как этого решительно требуют врачи.

Владимир Ильич сказал, что мне необходимо съездить сегодня же к комиссару иностранных дел Г. В. Чичерину и получить от него письменный ответ на поставленные ему вопросы.

— Вот и прекрасно. Вы пойдете гулять, я побуду это время с вами, провожу вас домой и — сейчас же к Чичерину.

Владимир Ильич согласился.

В назначенное время я вновь напомнил Владимиру Ильичу, что надо идти гулять. Он быстро встал, взял кепку и сказал:

— Пойду без пальто: нынче прекрасный день!

Болтянский был предупрежден товарищами из Управления делами, что Владимир Ильич выходит. Выйдя из подъезда, разговаривая о текущих делах, мы направились к асфальтовой дорожке.

На кинолентке заснято все, с момента выхода Владимира Ильича из подъезда до ухода его домой.

Мы шли, занятые разговорами. В это время со всех сторон кинооператоры старались уловить каждый шаг, каждое движение Владимира Ильича.

Чтобы Владимира Ильича засняли одного, я в удобный момент стал понемножку отходить от него в правую сторону. От его зоркого взгляда не ускользнуло это, и он сказал:

— Что это вы, батенька, отходите?.. Гулять — так вместе!

Я сейчас же приблизился к нему, и мы продолжали

разговор, который перешел на мою предстоящую беседу с народным комиссаром иностранных дел Г. В. Чичериным. Владимир Ильич повторил те вопросы, на которые мне надлежало получить ответы, и так мы приблизились к царь-пушке. На мое предложение пойти дальше Владимир Ильич ответил:

— Соблазнительно, а нельзя: надо успеть до четырех еще кое-что написать и принять двух товарищей, которые должны приехать.

И он вдруг круто повернул.

В это время кинооператоры должны были как раз перегруппироваться, чтобы следовать за нами дальше. Они опасались, что Владимир Ильич увидит их и тогда съемка прекратится: он уйдет с прогулки.

Мы благополучно двинулись в обратный путь. Пройдя несколько десятков шагов, Владимир Ильич вдруг сказал:

— Смотрите, там кто-то бежит, и у него что-то за плечами... да это киношник...

— Совершенно верно,— ответил я ему,— это кинооператор, и их здесь много. Вас снимали...

— А кто же это вам разрешил?— спросил он.— И почему вы меня не предупредили?

— Потому, что вы не пошли бы сниматься, а это совершенно необходимо...

— Это верно, я бы не пошел... Так, значит, вы меня надули... Как же это так, Владимир Дмитриевич?— спросил он меня укоризненно.

— Первый и последний раз в жизни, Владимир Ильич,— ответил я ему.— Но вас надо было во что бы то ни стало показать рабочим. Выступать вам нельзя еще не менее трех месяцев...

— Ну, это положим...— сказал он.

— Так сказал последний консилиум врачей, а рабочие повсюду волнуются. Мы решили заснять вас прогуливающимся и показать прежде всего во всех рабочих клубах. Это крайне нужно и полезно рабочему классу.

— Ну, если это полезно для рабочего класса, тогда так и нужно и грех вами искуплен...— И мы, посмеявшись и пошутив над тем, как все это было устроено, пошли дальше, весело, оживленно разговаривая.

— Да это у вас целый киношный заговор... Ловко, ловко вы меня провели,— говорил добродушно Владимир Ильич.

Кинооператоры, видя, что «заговор» раскрыт, выскочили из своих укрытий и засняли всю сцену этого разговора. Помню, эти кадры были особенно удачны, так как Владимир Ильич был заснят весело смеющимся. Другие моменты тоже были очень жизненны и интересны.

Когда Болтянский показывал Владимиру Ильичу всю ленту в зале, то кадры у царь-пушки ему особенно понравились.

Через некоторое время, после просмотра киноленты в Кремле и одобрения ее Владимиром Ильичем, была составлена изрядно сокращенная, окончательная кинокартина, которая под названием «Прогулка Владимира Ильича в Кремле» была выпущена на экраны кинотеатров. Она появилась как «журнал» прежде всего на экранах кино в рабочих кварталах Москвы, а потом ее стали показывать всюду. Восторг зрителей был неописуемый. Все вставали при появлении Владимира Ильича на экране и долго рукоплескали, оглашая зал возгласами: «Да здравствует Владимир Ильич!»

В. И. ЛЕНИН НА СУББОТНИКЕ

Первое мая 1920 года. Трудящиеся массы охвачены великим творческим подъемом. Брошенный большевистской партией клич организовать вместо обычной уличной демонстрации всероссийский субботник с небывалым энтузиазмом был подхвачен всеми. С самого раннего утра в разных направлениях двигались огромные колонны московских рабочих и служащих, которые с пением революционных песен шли туда, где должны были приложить свои силы к социалистическому строительству.

В этот день в Кремле рано закипела жизнь. Сотрудники, явившиеся на субботник, были одеты просто, рабочему. Они соединялись в группы, в отряды, в колонны и уходили в назначенные места.

Красноармейцы Кремля не могли покинуть свою службу. Поэтому и было решено, что субботник они проведут в Кремле, где также было много работы.

Кремлевская воинская часть построилась на площади против казарм. Около девяти часов утра Владимир Ильич вышел на площадь, подошел к командиру воинской части, по-военному отдал честь и сказал:

— Товарищ командир, разрешите мне присоединиться к вашей части для участия в субботнике.

Произошло секундное замешательство, после чего командир, радостно и приветливо поблескивая глазами, ответил:

— Пожалуйста! Станьте, Владимир Ильич, на правый фланг!

Владимир Ильич быстро прошел к правому флангу и встал в шеренгу. Гул одобрения пронесся по рядам красноармейцев, которые были счастливы, что Владимир Ильич вместе с ними.

Под звуки оркестра часть направилась к месту работы. Надо было очистить площадь от огромных беспорядочных груд строительного материала, перенести его довольно далеко и сложить по сортам: доски к доскам, бревна к бревнам, тес к тесу и т. д.

Придя на место, все сразу дружно и быстро принялись за работу. Владимир Ильич с увлечением принимал участие в работе, отдыхая лишь тогда, когда наступал пятиминутный перерыв «покурить». В эти пять минут Владимир Ильич был центром внимания всех. Он шутил, смеялся, расспрашивал, рассказывал и вообще чувствовал себя великолепно.

По всей Москве разнеслась весть, что Владимир Ильич сам принимает участие в субботнике, работает наряду со всеми. Ликованием, громогласным «ура» было встречено везде это радостное известие. Участники субботника всюду еще дружнее принимались за работу и стремились перевыполнить намеченный план.

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ И УКРАШЕНИЕ КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

Как только правительство переехало из Петрограда в Москву, Владимир Ильич предложил нам подумать об украшении нашей столицы, о придании ей совершенно иного облика, чем имеют все другие города Европы. Он сейчас же переговорил с А. В. Луначарским и предложил ему прежде всего выбрать ряд соответствующих лозунгов из марксистской и классической литературы и поместить их на тех зданиях, где они особенно могут бросаться в глаза. Ленин придавал большое значение идее социалистической пропаганды

через лозунги, помещенные на домах, и много раз спрашивал Луначарского, как продвигается это дело.

По указанию же Владимира Ильича Московский Совет приступил к украшению Москвы различными памятниками. Одной из первых мер Московского Совета в этом направлении было изменение надписей на обелиске, стоящем при входе в Александровский сад, около площади Революции. Этот обелиск был возведен царским правительством, и на нем были выгравированы фамилии и имена представителей династии Романовых. Московский Совет постановил снять эти никому не нужные надписи и вместо них на обелиске написать имена выдающихся деятелей революционного и рабочего движения. Комиссия Московского Совета утвердила список фамилий, и надписи были выгравированы.

В скором времени Москва стала украшаться новыми памятниками.

— Нам нужно всюду и везде разбросать на площадях могучие скульптурные группы, которые изображали бы те или другие эпизоды борьбы за освобождение трудящихся от власти капитала, самодержавия и церкви. Необходимо поставить памятник Толстому,— говорил Владимир Ильич,— и именно там, где его проклинали, предали анафеме,— против Успенского собора.

Владимир Ильич не раз говорил о том, что «наша Москва», «наш Питер», как любил он называть эти города, должны украситься, зазеленеть, иметь как можно больше площадей и парков, где могли бы гулять и отдыхать огромные массы народа, уютно выстроенные помещения, где рабочие могли бы и выпить чаю, и закусить, и посидеть, и отдохнуть с товарищами, с семьей.

Владимира Ильича привлекала радость жизни. Ему хотелось, чтоб привольная жизнь ключом забила во всех наших городах и селах.

Он терпеть не мог уродства, декаденщины, извращенности.

Я помню, с каким негодованием он спросил меня:

— Кто разрешил, кто позволил так издеваться над деревьями Александровского сада, окрасив их в фиолетовый, красный и малиновый цвета?

Оказывается, что какая-то декадентская группа, допущенная тогда Наркомпросом к украшению улиц, взялась украсить Александровский сад и не могла при-

думать ничего лучшего, как изуродовать могучие стволы вековых лип искусственной краской, которую нельзя было смыть в течение нескольких лет.

Владимир Ильич потребовал принять экстренные меры, «чтобы смыть эту паршивую краску с очаровательных деревьев».

Владимиру Ильичу не нравились некоторые городские строения, особенно жилые, за их схематичность и казенный вид. Он всегда говорил, что жилище человека должно быть удобным и вместе с тем красивым по своему внешнему виду.

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ И ВСЕСОЮЗНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Как только совершилась Октябрьская революция, встал вопрос о привлечении ученых и специалистов к творческому делу в области теории и практики. Большевицкая власть твердо могла рассчитывать на специалистов, которые находились в рядах нашей партии или издавна были тесно связаны с ней. Но этого было мало.

Владимир Ильич говорил о широком привлечении ученых к делу строительства нового государства, во все области научной, технической, производственной жизни страны. Прежде всего Владимир Ильич обратил внимание на ученых Академии наук.

Еще в конце 1917 года некоторые из академиков были приняты Владимиром Ильичем. Обращаясь к ним, он говорил, что, как только удастся закончить ликвидацию фронтов империалистической войны, все внимание нового рабочего правительства будет устремлено на созидание гражданской жизни во всех ее областях и проявлениях, и на науку, на мир ученых будет обращено особое внимание.

— Я убежден,— говорил Владимир Ильич,— что нигде в мире ученые не будут в таком почете, как у нас в социалистическом государстве. Всем людям науки созданы самые лучшие условия работы. Лаборатории, институты, экспедиции — все будет широко развернуто и снабжено всеми достижениями человеческой мысли.

Первый из академиков, с которым много беседовал Владимир Ильич, был Алексей Александрович Шахма-

тов, который явился сначала в Смольный, а весной 1918 года приезжал и в Москву, в Кремль.

Владимир Ильич подробно расспрашивал его о нуждах Академии и предлагал немедленную помощь, в частности Рукописному отделению библиотеки Академии наук, куда продолжали доставляться многочисленные рукописи, документы и даже целые библиотеки. Владимир Ильич сейчас же дал указание обеспечить Рукописное отделение библиотеки Академии наук перевязочными и упаковочными средствами, а также рабочей силой.

В Москву А. А. Шахматов приезжал еще с ходатайством перед правительством о реэвакуации академического имущества, в том числе ценностей Рукописного отделения, которые были отправлены в Саратов еще при царском правительстве, когда немцы стали угрожать Петрограду. А. А. Шахматов в этот приезд дважды виделся с Владимиром Ильичем. Владимир Ильич очень внимательно отнесся к этому вопросу, лично обсуждал план реэвакуации этих величайших научных ценностей и сделал распоряжение о предоставлении права начальнику экспедиции с любой станции от Саратова до Петрограда соединиться лично с ним по прямому проводу для улаживания всех недоразумений, которые могли встретиться в пути. Алексей Александрович Шахматов был крайне доволен всей организацией этого сложного дела. Для перевозки академического имущества был снаряжен особый товарный поезд с прицепом пассажирского вагона, в котором поместился В. И. Срезневский, назначенный начальником экспедиции...

Служащие Академии и отряд, выделенный для охраны реэвакуированных ценностей, были снабжены необходимым провиантом по списку, лично утвержденному Владимиром Ильичем.

Саратовским городским и железнодорожным властям были даны телеграммы о важности этой экспедиции. Владимир Ильич лично переговорил по прямому проводу с секретарем Саратовского партийного комитета и представителем Совета рабочих и солдатских депутатов и возложил на них ответственность за всю реэвакуацию. Ф. Э. Дзержинскому было поручено по линии ВЧК оказать всяческое содействие этому делу.

Поезд был составлен в Москве и осмотрен технической комиссией. С каждой большой станции в Управле-

ние делами посылали телеграфное уведомление о следовании поезда, и об этом тотчас же докладывали Владимиру Ильичу.

В Саратове все имущество было благополучно погружено в несколько дней.

Владимир Ильич лично следил за прохождением этого поезда.

Явившийся к нам в Кремль В. И. Срезневский был в восторге от четкой организации дела и трогательно благодарил Владимира Ильича за его внимание к перевозке этих важных культурных ценностей.

В. И. Срезневский при свидании с Владимиром Ильичем жаловался, что в библиотеку Академии наук поступают нерегулярно и далеко не все вновь вышедшие книги, газеты, журналы, листки и другие издания, которые он тщательным образом собирает. Владимир Ильич сейчас же по телефону дал указание Главлиту немедленно организовать это дело.

Народному комиссару просвещения А. В. Луначарскому Владимир Ильич предложил выработать декрет «об обязательном экземпляре» для библиотек, что и было в скором времени сделано.

Известие об успешной эвакуации всех научных ценностей Академии наук, так блестяще осуществленной при личном участии Владимира Ильича, было с радостью встречено учеными Академии.

Еще в Петрограде, в Смольном, Владимир Ильич принял академика Ольденбурга, часа два беседовал с ним о нуждах Академии и высказал мысль, что совершенно необходимо, чтобы академики во всех своих работах стали бы ближе к жизни.

Придавая большое значение теоретической работе, он звал академиков к делу строительства нашего нового государства, к делу возрождения нашей страны.

Беседуя с Ольденбургом, Владимир Ильич говорил ему:

— Вот наш предмет... как будто бы он далек от нас, но он и близок нам... Идите в массы, к рабочим и расскажите им об истории Индии, обо всех вековых страданиях этих несчастных поработанных и угнетенных англичанами многомиллионных масс, и вы увидите, как отзовутся массы нашего пролетариата. И сами-то вы вдохновитесь на новые искания, на новые исследования, на новые работы огромной научной важности.

— Это удивительно!— говорил мне потом академик Ольденбург.— Это... пророк величайшей силы... Он призван «глаголом жечь сердца людей»! Я очень смущен... Я так рад, что его видел, что с ним говорил...

И академик Ольденбург ушел взволнованный и потрясенный. После того как правительство переехало в Москву, академик Ольденбург с несколькими другими академиками приезжал из Петрограда в Кремль.

Это было в апреле 1918 года. Ольденбург привез тогда официальное постановление Академии наук, в котором академики предлагали свои научные знания Советскому правительству и изъявляли желание работать на пользу Родине.

Все академики сразу же были приняты Владимиром Ильичем. В оживленной беседе со всеми прибывшими Владимир Ильич обменивался мнениями о различных научных проблемах, практических работах, которые уже велись или намечались этими представителями науки, тут же наметили новые темы и практические шаги в деле осуществления новых научных достижений.

Владимир Ильич был очень доволен как этим постановлением, так и практическими предложениями академиков.

В связи с электрификацией нашей страны Владимир Ильич очень часто встречался с академиком Г. М. Кржижановским, по вопросам нефтяной промышленности — с академиком Губкиным, рыбной — с академиком Книповичем и многими другими.

Академики после свидания с Владимиром Ильичем совещались с народным комиссаром просвещения А. В. Луначарским, который поставил, с согласия Владимира Ильича, предложение Академии наук об исследовании естественных богатств страны на обсуждение Совета Народных Комиссаров. Это обсуждение состоялось 12 апреля 1918 года.

Совнарком по этому вопросу принял следующее постановление: «...Пойти навстречу этому предложению, принципиально признать необходимость финансирования соответственных работ Академии и указать ей как особенно важную и неотложную задачу систематическое разрешение проблем правильного распределения в стране промышленности и наиболее рациональное использование ее хозяйственных сил».

Владимир Ильич настолько заинтересовался пред-

ложением Академии наук, что, помимо участия в выработке вышеприведенного постановления Совнаркома, вскоре написал отдельный набросок плана научно-технических работ, в котором четко отобразил мысль о самом широком привлечении Всесоюзной Академии наук к делу постановки изучения способов поднятия производительных сил России и исследования природных богатств нашей Родины. В этом наброске говорится: «Академии наук, начавшей систематическое изучение и обследование естественных производительных сил¹ России, следует немедленно дать от Высшего совета народного хозяйства поручение

образовать ряд комиссий из специалистов для возможно более быстрого составления плана реорганизации промышленности и экономического подъема России.

В этот план должно входить:

рациональное *размещение* промышленности в России с точки зрения близости сырья и возможности наименьшей потери труда при переходе от обработки сырья ко всем последовательным стадиям обработки полуфабрикатов вплоть до получения готового продукта.

Рациональное, с точки зрения новейшей наиболее крупной промышленности и особенно трестов, слияние и сосредоточение производства в немногих крупнейших предприятиях.

Наибольшее обеспечение теперешней Российской Советской республике (без Украины и без занятых немцами областей) возможности *самостоятельно* снабдить себя *всеми* главнейшими видами сырья и промышленности.

Обращение особого внимания на электрификацию промышленности и транспорта и применение электричества к земледелию. Использование непервоклассных сортов топлива (торф, уголь худших сортов) для получения электрической энергии с наименьшими затратами на добычу и перевоз горючего.

Водные силы и ветряные двигатели вообще и в применении к земледелию»².

¹ «Надо ускорить *издание* этих материалов из всех сил, посылать об этом бумажку и в Комиссариат народного просвещения, и в союз типографских рабочих, и в Комиссариат труда». — *Прим. В. И. Ленина*

² *Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 36, с. 228.*

ЛЕНИН И ИСКУССТВО

Владимир Ильич придавал очень большое значение искусству. Когда приходилось беседовать с ним об искусстве, он всегда говорил, что роль искусства всех видов огромна в жизни человечества, но всегда прибавлял — «хорошего», «полезного» искусства. А когда я как-то спросил у него, что он подразумевает под «полезным» и «хорошим» искусством, он ответил:

— Помните определение настоящего искусства у Толстого? То — настоящее искусство, которое выражено так ясно, что всем понятно. Оно имеет своей темой нечто значительное и важное для трудящейся массы народа, а не для праздного меньшинства.

Владимир Ильич очень любил бывать в Москве в Художественном театре и смотреть изумительную игру первоклассных артистов. Пьесы, которые ставились там, далеко не все удовлетворяли его по содержанию: он очень не любил хныкающую интеллигенцию, не могущую предпринять ничего реального для своего собственного освобождения, а умеющую только разговаривать, резонерствовать и болтать скучно и праздно. Из современных ему пьес он высоко ценил драму «Ткачи» Гауптмана.

Еще давно, до революции 1905 года, Ленин смотрел «Ткачей» Г. Гауптмана на сценах рабочих клубов за границей. В 1896 году эта пьеса была напечатана в нелегальной народофильской типографии в Петербурге, где вышла брошюра Ленина «Объяснение закона о штрафах, взимаемых с рабочих на фабриках и заводах». Перевод «Ткачей», одобренный и отредактированный самим Владимиром Ильичем, сделала его сестра Анна Ильинична Ульянова-Елизарова. Мне пришлось эту книжку широко распространять среди московского пролетариата. Книжка бралась нарасхват. «Ткачи» читались рабочими повсюду, их переписывали, повторно издавали на гектографах, разыгрывали отдельные сцены на рабочих вечеринках. Именно эту книжечку, единственную из художественных произведений отредактированную Владимиром Ильичем, я сам лично передал Л. Н. Толстому. Он был крайне изумлен хорошей редакцией, четкой печатью и прекрасным переводом этого нелегального произведения. Лев Николаевич особо

предупредительно отнесся тогда ко мне и упрашивал меня быть осторожным, чтобы не попасться полиции.

— Ведь это очень рискованно и очень страшно!— сказал он мне почти на ухо на прощание.

Владимир Ильич, живя в Женеве, дважды ходил в далекий рабочий квартал в театр одного из профессиональных союзов смотреть «Ткачей», которых очень хорошо играли рабочие-любители. Он с увлечением смотрел эту драму и радовался ее хорошей постановке. Владимир Ильич обратил наше внимание, как оживлены слушатели, как они тревожно переживали трагические сцены. «Задело за живое! Да иначе и не могло быть: это свое, родное, близкое, знакомое... Здесь нет места равнодушию. Какая прекрасная публика!» — говорил он, наблюдая за рабочими, до отказа наполнявшими театр. В антрактах он заговаривал с рабочими, расспрашивал о впечатлении, произведенном на них этой постановкой «Ткачей».

Видя живейший интерес у зрителей, он говорил нам: «Вот что значит пьеса, написанная хорошо, для широкой массы, на тему, близкую рабочим». Когда совершилась Октябрьская революция, Владимир Ильич рекомендовал ставить «Ткачей» на сценах наших драматических театров.

Так же он относился и к опере. После посещения оперы «Борис Годунов» в Большом театре Владимир Ильич высказал мнение, что необходимо увеличивать и улучшать массовые сцены, чтобы, где нужно, действительно чувствовалось присутствие народа, причем эти массы должны походить на «заправдашний» народ, как выразился Владимир Ильич.

Огромное значение Владимир Ильич придавал живописи. Посещая картинные галереи, он не пропускал ни одной картины, содержание которой было примечательным и интересным для широких масс. Особенно его удовлетворяла Третьяковская галерея, в которой он был несколько раз после Октябрьской революции. Там он находил множество картин, которые привлекали его внимание и великолепным выполнением и самой тематикой.

— Все это мы должны дать широким массам,— говорил он.

Он усиленно пропагандировал посещение музеев и картинных галерей экскурсиями с фабрик, из школ, за-

водов, воинских частей. Он мечтал об организации передвижных выставок в провинции, об издании картин в красках.

— Эти издания должны вытеснить лубок. Народ будет раскупать их быстро и охотно. Народ любит картины и собирает решительно все, которые ему только попадаются,— говорил Владимир Ильич.

Совершенно необходимо здесь сказать, с каким большим вниманием относился Владимир Ильич к хорошо архитектурно оформленным зданиям.

Владимир Ильич всегда заботился о всех архитектурных ценностях Москвы. Он принимал живейшее участие в восстановлении Ярославля после разрушения его белогвардейскими пушками.

Нельзя не отметить здесь же и то, с каким особым вниманием отнесся Владимир Ильич к необходимости ремонта известной исторической мечети в Самарканде, этого изумительного достижения восточного искусства.

Владимир Ильич придавал большое значение кино, предвидя его огромную будущность. Но он совершенно был против постановки всяких пошлых картин. Он требовал, чтобы кинокартины были насыщены революционным содержанием. Хорошее кино, говорил он, должно быть на каждой фабрике, в каждом большом совхозе, в селе.

Искусство должно принадлежать народу, говорил Владимир Ильич.

ЗАБОТЛИВЫЙ ДРУГ ТРУДЯЩИХСЯ

Владимир Ильич Ленин проявлял постоянную отеческую заботу о простых людях, о трудящихся массах, чутко и сердечно относился к их нуждам и запросам.

Рабочие и крестьяне, солдаты и матросы, писатели и ученые, посещавшие Ленина, всегда выходили от него с приподнятым настроением, окрыленные его большой заботой и вниманием, полные решимости отдать все силы, а если потребуется, и самую жизнь за дело Ленина, за дело партии и Советской власти.

Вспоминаются первые дни после Октябрьской революции. Владимира Ильича посетил один товарищ, практик, приехавший издалека хлопотать о материалах для завода. После делового приема Владимир Ильич задал

ему целый ряд вопросов: «Как вы живете? Были ли в отпуску? Как дети, жена? В чем недостатки? Чем нужно помочь?» Товарищ был сильно тронут заботой и вниманием Ильича.

Осень 1918 года. Голод и холод, болезни давали себя знать всюду. В Кремле в течение двух дней от испанки умерли три женщины. Владимир Ильич находился за городом на излечении после тяжелого ранения. Получив известие о смерти женщин, он выразил самое душевное соболезнование семьям и сделал все распоряжения об оказании им помощи.

Не прошло и месяца, как той же испанкой заболел Я. М. Свердлов, которого Владимир Ильич высоко ценил и к которому питал нежные чувства. Надо было видеть, как был озабочен Владимир Ильич. Он предложил пригласить лучших врачей Москвы, все время справлялся о здоровье больного, об уходе за ним. Вдруг как-то Яков Михайлович Свердлов, находясь в полубреду, позвонил к Ильичу по прямому проводу и попросил его усилить нажим на полчища белогвардейцев. Владимир Ильич мягко стал его успокаивать.

— Надо идти к нему,— тихо сказал он мне.— Отчаянные побеги из далекой Сибири не сломили его, а вот испанка, пожалуй, сломит...

И он, надев пальто, пошел по Кремлю (в это время он уже жил в Кремле) в квартиру Свердлова. Несмотря на предупреждения врачей о том, что испанка крайне заразна, Владимир Ильич подошел к постели умиравшего Якова Михайловича. Тот порывисто поднялся. Владимир Ильич его бережно уложил, закрыл одеялом и тихонько сказал: «...Успокойтесь... Не надо так... Все сделаем... Вам нужно подумать о себе»,— и посмотрел в глаза Якова Михайловича. Яков Михайлович затих, задумался и шепотом проговорил:

— Я умираю... Не справлюсь... Прощайте, дорогой Владимир Ильич...

— Засните, постарайтесь заснуть, ни о чем не думайте...—сказал Владимир Ильич. Энергичное лицо Якова Михайловича подернулось скорбью, он побледнел и тихо-тихо добавил: «Прощайте!»

Владимир Ильич проявлял сердечную заботу о каждом. Особенно запомнилась мне его трогательная забота о Вацлаве Вацлавовиче Воровском, убитом через некоторое время в Женеве русским белогвардейцем.

Вацлав Вацлавович вместе с дочерью поехал в санаторий полечиться. Но им не повезло. Попив сырого молока, они оба заразились брюшным тифом и были доставлены в Кремлевскую больницу. Дочь его вскоре справилась с болезнью, но Вацлаву Вацлавовичу становилось все хуже и хуже. Наконец наступили критические дни. У него случилось внутреннее кровоизлияние. Он потерял сознание, почти не было никакой надежды на спасение. Но благодаря срочно принятым врачами мерам кровоизлияние прекратилось, температура перестала падать, появилась надежда на то, что силы жизни победят силы смерти.

Вацлав Вацлавович пришел в сознание, чуть-чуть ожил, но было еще очень далеко до выздоровления. Сто дней пролежал он в Кремлевской больнице.

Владимир Ильич зорко следил за его здоровьем. Три раза в неделю я сообщал ему сведения о всех перипетиях болезни Вацлава Вацлавовича. Когда миновал кризис и он стал понемногу поправляться, Владимир Ильич захотел видеть Вацлава Вацлавовича, чтобы своей товарищеской беседой поддержать его. Он спросил у врачей, можно ли прийти к Вацлаву Вацлавовичу, и, когда узнал, что это по состоянию здоровья больного можно, он отправился к нему в больницу. Вацлав Вацлавович лежал на высоких подушках в отдельной небольшой комнате. Он страшно похудел, говорил крайне слабым голосом.

Владимир Ильич вошел в комнату, приветливо улыбнулся Вацлаву Вацлавовичу и, погрозив пальцем, сказал: «Молчите! Не разговаривайте!»

— Позвольте представиться: голодающий индус из владений его величества короля английского,— шутя над самим собой, полушепотом проговорил Вацлав Вацлавович.

— Но нам нужно, чтобы вы были абсолютно здоровы! Италия вас ждет, а вы так плохо себя ведете,— пошутил Владимир Ильич.

Вацлав Вацлавович оживился и вдруг стал энергично говорить.

— Тише, тише, нельзя так,— сказал Владимир Ильич.— Вы помолчите, а я вам расскажу... Вам не надо тратить силы.

И Владимир Ильич задушевно и мягко стал беседовать с Вацлавом Вацлавовичем. По выражению лица

Вацлава Вацлавовича я понял, что он что-то хочет сказать Владимиру Ильичу наедине, и мы все вышли из комнаты. Минут через пятнадцать Владимир Ильич вышел, дружески прощаясь с Вацлавом Вацлавовичем:

— Теперь отдыхайте... Засните лучше...— И он, улыбаясь, затворил дверь палаты.

И тотчас же шепотом, конспиративно спросил у врача:

— Ну, как он?.. Плох, слаб?..

— Очень слаб,— ответил врач,— но непосредственная опасность миновала.

— Прошу вас, берегите его: это прекрасный товарищ... Если чем я могу быть полезен, звоните прямо ко мне...

— Бедняга Вацлав Вацлавович, как переменялся, тяжелая болезнь... Выживет ли?— сказал он мне, и на его лице отразилась глубокая печаль, которую я замечал всегда, когда приходилось ему узнавать о бедствиях с товарищами.

— А как их финансовые дела?.. Небось Дора Моисеевна совершенно поистратилась на больных... Вы узнать — деликатно, по-товарищески, чтобы не обидеть. В такие минуты люди особенно чутки к обиде. Необходимо помочь, не забудьте сказать мне, что узнаете...

Я сказал ему, что по моему докладу Малый Совнарком из свободных кредитов отпустил небольшую ссуду Вацлаву Вацлавовичу.

— Это хорошо... Но когда это было, давно? Теперь выздоравливает и он и дочка, надо усиленное питание...

На другой день я доложил Владимиру Ильичу, что у жены Воровского ничего нет и что она на рынке вынуждена продавать вещи, чтобы покупать все то, что нужно. Владимир Ильич тотчас же написал записку председателю Малого Совнаркома, прося отпустить небольшие средства на поддержание здоровья больного товарища.

Вацлав Вацлавович медленно поправлялся и, как только разрешили врачи, поехал с семьей в Италию в качестве полномочного представителя СССР.

Владимир Ильич уделял очень много внимания борьбе за улучшение положения трудящихся. Он самым внимательным образом изучал проекты декретов по питанию детей в школе в голодные 1918—1920 годы. Это он горячо поддержал декрет, внесенный в Совнар-

ком замнаркомом здравоохранения В. М. Величкиной (Бонч-Бруевич) об установлении равного пайка для всех школьников. Предложения о необходимости применить и здесь классовый принцип были тотчас же отвергнуты Владимиром Ильичем, заявившим, что обучение в школе равно обязательно для всех детей, оно равно бесплатно и равно также и по всем видам школьного снабжения... «Декрет, внесенный Верой Михайловной, очень современен, правилен и полезен и нами, конечно, немедленно должен быть одобрен»,— сказал Владимир Ильич. И все дети нашей страны получили горячие бесплатные завтраки.

Когда Владимиру Ильичу стало известно о плохом состоянии зарплаты сельских учителей, он сам собрал статистические данные по школьному делу, изучил их, подсчитал все возможности государственного бюджета и предложил увеличить зарплату сельским учителям.

Когда в Петрограде было трудно с продуктами, Ильич очень заботился о состоянии столовых и чайных, где могли бы обогреться и поесть рабочие, крестьяне, солдаты, прибывшие сюда в большом числе с фронта, с фабрик и заводов, со всех концов страны. И трудящиеся на заботу Владимира Ильича отвечали любовью и вниманием.

В феврале 1918 года у нас было особенно трудно с продуктами. Однажды подавальщица из буфета, неся два стакана чаю Владимиру Ильичу, сказала мне чуть не плача, что хлеба нет и что чай Владимиру Ильичу она несет без сахара и без хлеба. В это время меня ожидал солдат, прибывший с фронта за «книжечками»: мы всех уезжавших в деревню наделяли Декретом о земле!

— Ну, уж нет,— торопясь, сказал он,— кого-кого, а Владимира Ильича прокормим. У нас для него хлебушка найдется...— И он быстро скинул с плеча походный мешок, вынул из-за голенища большой складной нож и мигом отрезал половину круглой буханки солдатского хлеба.

— Вот это ему, а это мне в дорогу...— И он положил на поднос этот драгоценный товарищеский подарок Владимиру Ильичу.

— Спасибо тебе,— сказала девушка и, полная радости, заспешила в кабинет Владимира Ильича.

Через минуту дверь из кабинета отворилась, и Вла-

дмир Ильич, держась за ручку двери, громко сказал:

— Спасибо вам, товарищ! Такого вкусного солдатского хлеба я никогда еще не ел!

Солдат по-военному подтянулся и, радостно улыбаясь, спросил:

— Это он сам?.. Вот он какой, Владимир Ильич!.. За такой пустяк, а как сердечно благодарит!— И он круто повернулся и зашагал по коридору, направляясь к комнате, где выдавали брошюру с Декретом о земле.

Со всех концов страны слали Ленину разные продукты, а он все это отправлял в больницы, в детские дома, в ясли.

Умение подойти к человеку, сразу узнать все его сокровенное, ободрить, приголубить его простыми, истинно товарищескими словами — эта черта характера Владимира Ильича особенно существенна и важна.

Владимир Ильич требовал и от других самого внимательного, вежливого, бережного отношения к человеку. Ему ненавистно было командование, покрикивание руководителей учреждений. Он всегда стоял за твердое единоначалие, за дружный, слитный коллектив, где бы чувствовались и творчество масс, и самокритика, и упорная борьба с трудностями.

Надо было видеть, как радовался Владимир Ильич, когда он узнал, что кооперативу «Коммунист» удалось разыскать и доставить с севера в Москву большие запасы рыбьего жира, которыми мы стали снабжать детские туберкулезные диспансеры, «лесные школы» и другие учреждения, где были сосредоточены слабые, анемичные дети.

Когда подмосковный совхоз «Лесные поляны», организованный по инициативе Владимира Ильича, стал снабжать московские больницы и детские учреждения молоком и другими продуктами, Ильич говорил, что это правильный путь, который надо продолжать и поддерживать, что надо вокруг Москвы организовать кольцо таких крупных государственных хозяйств — не менее ста, которые должны детскую и рабочую Москву залить молоком.

Ленин завещал проявлять повседневную заботу о нуждах трудящихся. Коммунистическая партия неизменно выполняет ленинские заветы. Забота о благе трудящихся — высший закон всей деятельности партии.

А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ

ЛЕНИН И МОЛОДЕЖЬ

Доклад в день революционного студенчества
в Коммунистическом университете им. Я. М. Свердлова

25 января 1924 года

Товарищи! Я охотно следую вашему желанию припомнить вместе с вами основные взгляды Ильича на молодежь и ее задачи. Сделать это сейчас не очень трудно, так как большинство идей Владимира Ильича — тех, по крайней мере, которые он сумел изложить письменно, — большинство идей его, касающихся молодежи, выражены в его работах, которые посвящены вопросам просвещения и которые изданы издательством «Красная новь» в сравнительно небольшой книжке. Надежда Константиновна по моей просьбе недавно проделала дополнительную работу: она отыскала некоторое количество резолюций, пунктов программ и решений ЦК, автором которых был Владимир Ильич. Но это прибавляет немного к тому, что в этой книжке имеется.

Владимир Ильич вообще не любил тратить слов попусту и в большинстве случаев давал формулы яркие и простые при всей их огромной глубине. Часто то, что

высказывал Владимир Ильич, казалось необычайно легким. Правда, это не обманывало его большую народную и международную аудиторию. Все понимали, что за этой простотой, сквозь эту прозрачность сияет большая мудрость, хотя эта общественная мудрость и выражалась в таких общедоступных формах; тем не менее мудрость есть всегда мудрость, и только путем постоянного обдумывания, проникновения в ее недра можно полностью ее постичь. Я не хочу сказать этими словами, чтобы мне казалось, что учение Ленина о молодежи мало распространено или дурно понято. Я этого не знаю и предполагаю обратное. Я хочу только сказать, что на немногих относительно цитатах из сочинений В. И. Ленина строится последовательный, на мой взгляд, исчерпывающий взгляд на молодежь. Вот его-то я и постараюсь теперь перед вами изложить.

Конечно, естественно, что молодежь и образование — это два понятия, неотделимые друг от друга. Говоря о взглядах Владимира Ильича на молодежь, мне придется постоянно обращаться к его взглядам на народное образование. С этого я и должен начать.

Владимир Ильич, разумеется, не принадлежал к числу тех либералов-идеалистов, которые полагали, что степень культурного развития народа определяет близость его к революции. Вы помните, конечно, эти вульгарные положения, которыми богат был русский либерализм: сначала необходимо, чтобы массы достигли известного культурного уровня, а потом уже можно думать о свободах, хотя бы и вырванных путем протеста народных масс.

Владимир Ильич стоял на совершенно обратной точке зрения. Он считал, что образование массам эксплуататорское правительство не даст. И он нисколько не видел противоречия в том, что буржуазные демократии, будучи обществами эксплуататорскими, тем не менее дают известное образование массам. Он понимал, что это образование (по объему своему недостаточное, по составу своему отравленное такими специфическими примесями, которые должны были задержать развитие критической мысли в народе) имеет своей целью вовсе не превратить ложную демократию, дающую возможность удерживать власть в руках десятков тысяч эксплуататоров, в подлинную, т. е. ведущую к действительной власти огромного большинства, к действительному

политическому, хозяйственному и культурному творчеству всего народа, всего массива этого народа. Ленин прекрасно понимал, что народное образование в буржуазных странах служит для того, чтобы, бросая в глаза массам пыль внешней декоративной демократичности, задерживать их на уровне самодовольства своей конституцией.

В особенности же, когда дело шло о такой стране, как Россия, было ясно для Владимира Ильича, что не через двери народного образования можно было продвигаться вперед, ибо хотя развитие капитализма в России должно было толкать ее по крайней мере к минимальному осуществлению тех сторон народного образования, которые развертывал капиталистический строй Запада, но самодержавие сознавало, что для его существования и для существования той формы союза между помещиками и капиталистами, каким была наша самодержавная власть, даже эта степень образования вредна.

В душе нашего помещичьего государства боролись два начала: с одной стороны, сознание, что если от этой отсталости отчалить, если начать систематическую работу по подъему образования народных масс, то рискуешь моментально вызвать в представлении массы сознание чудовищности гнета, а тем самым вызвать осуждение, могущее назавтра перейти в борьбу против тебя.

Если было на свете правительство, которое должно было употребить все свои силы к тому, чтобы тормозить дело народного образования, то это, конечно, было самодержавное правительство.

Но как же быть? Если требуется известное самосознание для народа вообще и в частности для пролетариата, чтобы поставить революционные проблемы и найти правильные пути к ним, а этого просвещения никак не добьешься без революции,— не есть ли это змея, кусавшая свой хвост? Не есть ли это неразрешимая проблема: без сознания нет революции, без революции нет самосознания?

Этот вопрос разрешался, очевидно, в некоторой степени аристократически, т. е. путем постановки проблемы в такую плоскость: народные массы выдвигают (хотя бы туго, хотя бы через страдания, хотя бы путем жертв) известный авангард, конечно, главным образом из пролетариата, из наиболее передовой части своей;

этот авангард будет обладать всей полнотой сознания — это есть Коммунистическая партия, это будет орган сознания масс, ее предварительный орган. Вся масса не сможет стоять на высоте этого самосознания, поэтому, предоставленная сама себе, она неизбежно наделает ошибок. Стало быть, она сможет действовать (потому что никакой авангард за нее действовать не может), действовать правильно, как масса — ибо революция есть действие массовое — в том случае, если будет питать достаточное доверие к своей передовой партии и если передовая партия будет достаточно крепка и последовательна, чтобы руководить массой. Вот это и будет предварительное, первичное разрешение проблемы: выдвигается авангард, революционное меньшинство совершает революцию.

Вы скажете, что это похоже на синдикализм? Ни капельки не похоже. У синдикалистов, которые в этом отношении восприняли бланкистскую идею, выходит так, что это меньшинство творит революцию само, при инертном отношении масс. Владимир Ильич в такую революцию не верил; у него это меньшинство творит революцию как бесконечно героический, самоотверженный командный состав масс. Нельзя требовать от армии, чтобы каждый отдельный рядовой в ней сознавал весь план сражения и чтобы можно было полагаться на их инстинкт в деле ведения какой-нибудь стратегической операции, но, конечно, еще более безумно думать, что командный состав может сражаться сам, и третьим безумием было бы предполагать, что командный состав может держаться насилем. В революции командный состав командует только потому, что ему верят. Он не может победить, если вся масса или огромная ее часть не втянута в битву, но и масса не может победить, если у нее нет хорошего командного состава.

При такой постановке вопроса образование как предварительное условие не необходимо. И темная страна, и отсталая, невежественная страна при таких условиях может сделать революцию, если массы страдают, если назрел определенный кризис и если имеются налицо массовые руководители, т. е. тысячи, если не десятки тысяч, такого командного состава.

Но вот революция происходит. Что же дальше? Первое положение Владимира Ильича: нужно быть ребенком, чтобы думать, что коммунисты своими рука-

ми могут построить коммунизм. Коммунисты — капля в море. Исходя из этого тезиса, Владимир Ильич формулирует и другие: необходимо опираться на силы вне партии, привлечь их к работе государственной, хозяйственной, культурной; по образцу Красной Армии, где мы перемальвали и подчиняли себе офицерство, надо привлечь административное, техническое, торговое, просветительское, врачебное и т. п. офицерство, то самое, которое служило буржуазии, с его правым флангом, уходящим в черносотенство, и с его левым флангом — эсеровским и меньшевистским; надо это офицерство приблизить, контролировать и принудить работать в нужном нам направлении. И Владимир Ильич говорит: коммунист является действительно заслуженным в области вверенного ему дела, если он сумел высмотреть, приблизить и как следует использовать возможно большее количество некоммунистических спецов.

Совершенно отчетливо формулированная мысль, но эта отчетливо формулированная мысль сейчас же натывается на внутреннее противоречие. Хорошо, конечно, если коммунистам удастся таких спецов действительно переделать, хорошо, если коммунисты найдут достаточную опору в некоторой части некоммунистических пролетариев, всю свою жизнь полностью готовых отдать коммунистическому делу. Но пролетариат, как Владимир Ильич много раз подчеркивал, в течение революции является еще классом в достаточной мере невежественным и уже классом в достаточной степени истощенным, жертвовавшим так много для революции, что он перестал быть неисчерпаемым резервуаром сил; да и трудно черпать из него силы квалифицированные в смысле всякого рода специалистов.

Владимир Ильич систематически и постоянно требовал привлечения спецов. Он совершал в этом отношении целые перевороты. Он создал коллегия ВСНХ, в которую входит целый ряд профессоров, он создал Госплан. Он боролся — иногда с крайней степенью ожесточенности — против политики коммунистических ячеек в вузах, которые вели свою борьбу с профессорами. Он говорил: если мы не сумеем этих людей использовать, чтобы у них выучиться и чтобы дать им возможность приложить свои силы к строительству по нашему плану, то мы никуда не годимся, ибо мы без них никак не можем продвинуться вперед.

И с этой точки зрения всякого рода буржуазные и полубуржуазные спецы сейчас готовы молиться на Владимира Ильича, и они чуть не со слезами на глазах рассказывают (по крайней мере их вожди), как Владимир Ильич их принимал, как он умел войти в их нужды, как он интересовался судьбами науки в России и т. д.

Но это не мешало Владимиру Ильичу сознавать, что мы ведем нашу строительную борьбу с плохим оружием. Конечно, среди этих спецов есть блестящие умы, блестящие таланты, есть и такие, которые целиком переходят на нашу сторону. Но в общем-то и целом, в особенности если вы к ним прибавите всех этих бесчисленных мелких спецов, техников канцелярского труда, которые составляют толщу, так сказать, естественно продвинувшуюся между административными верхами и народными массами, тогда вы, конечно, поймете, что это в значительной степени негодный материал. И Владимир Ильич не впадал ни в малейшее противоречие, говоря: мы можем пользоваться старым царским командным составом в своей армии, но мы должны выработать свой, потому что среди тех, конечно, есть изменники и враги, конечно, есть и равнодушные люди, которых тянет назад — к мясным котлам Египта¹, конечно, есть и такие люди, которые и хотели бы да не могут, не имеют наших снарядов, не умеют понять того, что нам нужно. Есть и просто люди совершенно халатные, дело которых заключается только в том, чтобы как-нибудь на нас и около нашего аппарата прокорчиться.

И все эти сорта людей никуда не годятся.

Если к этому прибавить то, что Владимир Ильич постоянно подчеркивал известную неопытность самих коммунистов во многих отраслях их работы, подчеркивал наличие того факта, что коммунист может быть комиссаром, но не всегда может быть специалистом того дела, около которого стоит, то вы поймете, в какой огромной мере вновь построенный нами государственный аппарат должен был отдавать старой отрыжкой, в какой мере здесь мертвый хватал живого, какое

¹ По библейской легенде, во время исхода иудеев из египетского плена многие из них пугали своих собратьев опасностями далекого перехода по пустыне и призывали остаться в плену, где кормят досья из «мясных котлов».

внутреннее трение этот механизм развивал, как, словно неподмазанные колеса, все это вопило, визжало и не двигалось с места. Все винты и гайки нашей государственной машины представляли собой набор, который фигурировал прежде в совершенно другом механизме и который пришлось случайно коммунистическому молотку нагнать и набить друг на друга. Когда эту чудовищную машину из старых чиновников тот или другой коммунист пускает в ход, она, конечно, болтается, она гремит, она стучит и пускает пыль, она ломается на каждом шагу и дает весьма мало результатов. Это Владимир Ильич с полной ясностью видел.

Две задачи рисовал Владимир Ильич с этой точки зрения. Во-первых, необходимо как можно скорее поднять культурный уровень масс, и не только масс пролетарских, но и масс крестьянских. Путем к этому подъему является грамотность. С этой точки зрения Владимир Ильич часто ожесточенно высказывался о защитниках пролетарской культуры¹ и высших форм образования. Он сравнивал их с людьми, стремящимися построить четвертый этаж, в то время как не готов фундамент. Он с удивительной трезвостью мысли обращал нас, часто довольно жестоко, к тому, чтобы мы смотрели на землю, и говорил: первейшей задачей является грамотность; буржуазная вещь грамотность или пролетарская, я не знаю, но знаю, что она нам нужна.

Читать, писать, считать— вот этому нужно научить необъятное количество людей. А без этого, он говорил,— это граждане десятого сорта, которые питаются баснями, слухами и не могут проверить, что делает их правительство. Они кажутся слепыми людьми.

На Первом съезде по ликвидации неграмотности Владимир Ильич говорил речь и много смеялся. «Ликвидация неграмотности!— восклицал он.— Это значит, что мы, как бы помягче выразиться, вроде дикарей, потому что у недикарей кто ликвидирует безграмотность? Не Чека, особо для этого придуманная, а школа. Но мы дикари. Школа у нас этого, видимо, и сейчас еще не может полностью сделать, и сейчас не охватывает всех вновь вступающих в жизнь. Нам надо нагнать

¹ См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 41, с. 304—305; т. 45, с. 363—364 и др.

то, что они пропустили, и приходится в чрезвычайном порядке учить грамоте. Но раз уже это так, давайте в чрезвычайном порядке грамоте учить»¹. И Владимир Ильич, как вы знаете, очень серьезно об этом думал.

Голод шарахнул по всей нашей борьбе с неграмотностью и разрушил почти по всему лицу нашей страны все ликпункты. Но когда голод прошел, Владимир Ильич (уже в то время, когда страшный недуг очень и очень давал себя знать, после первой болезни) поторопился написать недвусмысленную, яркую статью и подчеркнуть: наша прямая обязанность — ликвидировать неграмотность населения до 35-летнего возраста к десятилетнему юбилею Октября. Это очень трудно. Семнадцать миллионов людей надо обучить — это очень трудно. И Владимир Ильич прекрасно знал, что это трудно.

Он был большой реалист и эти трудности чувствовал лучше, чем кто-либо другой из нас (и количество неграмотных, и сколько приблизительно это будет стоить), и сказал, что можно. И я был бесконечно рад, что по крайней мере съезд Советов РСФСР одобрил этот план. Сейчас его приняла и Украина. И мы имеем, таким образом, уже волеизъявление в советском порядке наивысших учреждений, что это должно быть проведено в жизнь.

Конечно, точно так же интересовали Владимира Ильича и вопросы школы, и вопросы массовых библиотек. И понятно почему. Потому что он, будучи в полной мере демократом в самом святом и светлом значении этого слова, хотел всячески приблизить сроки, когда народные массы, не только рабочие, но и крестьянские, будут во всей полноте осознавать свои и нужды и рецепты к избавлению от них не только в плоскости политики, но и в плоскости своего повседневного хозяйствования и быта. Однако Владимир Ильич полагал, что все это — «Улита едет, когда-то будет». Владимир Ильич в категорически катастрофический момент, когда нам грозил отрыв от крестьянской массы, дал много-

¹ Луначарский здесь не точен. I Всероссийский съезд по ликвидации неграмотности состоялся в Москве 22—27 февраля 1922 г. Приводимые им по памяти слова были сказаны В. И. Лениным в докладе «Новая экономическая политика и задачи политпросветов» на II Всероссийском съезде политпросветов 17 октября 1921 г. (см.: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 44, с. 169—170).

знаменательный клич: задержимся, сказал он, в нашем порыве, отступим назад, если это необходимо для смычки с крестьянской массой, зацепим эту крестьянскую массу покруче и пойдем с нею вместе вперед, и, может быть, гораздо медленнее, чем шли бы без нее, но зато верней.

Мы пойдем вместе с нею, неразрывно с нею, только тогда это движение вперед будет непобедимым¹.

Это так, но из этого не следует, что мы можем целиком уйти в низовое образование, что к этому-то и сводится вся основная задача: школа для ликвидации безграмотности, массовая библиотека. Владимир Ильич прекрасно понимал, что мы школы как следует не поставим, и массовой библиотеки не поставим, и неграмотность не ликвидируем, если у нас рядом с этим не будет развиваться хозяйство, если сама государственная администрация будет той вечно дающей перебой и в корне испорченной машиной, какую он перед собою видел. Ведь он говорил прямо: у нас, за исключением, может быть, Наркоминдела, который еще на что-то похож, ни один комиссариат ни на что не похож, из рук вон плохо работает².

Владимир Ильич это заявлял со всей суровостью. Построили мы государственный механизм, который выдержал бой, который оказался жизнеспособным, но смотрите, какие он перебои дает, какой он бестолковый, какой он нелепый, какой он варварский. Надо его перестроить, надо научить управлять, и управлять просто и в удобных формах, в ясных, четких и простых. Надо научиться хозяйствовать, торговать в том числе. Надо научиться просвещать, просвещать так, чтобы все три стороны просвещения — общее образование, начиная с грамоты, техническое образование и политическое просвещение — были бы перевиты в один жгут, превращены были бы в один железный канат единого образования. А для всего этого надо, чтобы были налицо сами просветители, чтобы были хозяйственники, чтобы были администраторы, — а их мало. Ждать, пока маленькие дети, после того как мы образуем для них удовлетворительную школу, вырастут и превратятся в хороших хозяйственников? Но мы не можем организовать удовлетво-

¹ См.: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 45, с. 78.

² Там же, с. 383.

рительной школы, потому что мало учителей. Ждать, пока неграмотный крестьянин и рабочий, получивший только сейчас первый букварь, дорастет до марксизма, также нельзя. Это бы значило стараться капля по капле поднимать уровень целого моря. Чтобы поставить самый вопрос о поднятии народного образования на должную высоту, нужно весь руководящий аппарат обновить. Обновить как? Так, чтобы вышибить из него старые элементы, чтобы остатки этих старых элементов снизу, сверху, с боков закрепить нашими собственными людьми.

Какой из этого выход? Сдин: апеллировать к молодежи. К какой молодежи? К нашей молодежи, конечно,— не к молодежи буржуазной. Очень возможно, что мы и из числа интеллигенции средней, даже высшей, из числа даже родовитой аристократии или крупных капиталистов имели социалистических деятелей в России и вне России, но это были только белые вороны. Огромная же масса этих людей может только мечтать о своих привилегиях, может только превращать народ в ту доктрину, прикрываясь которой она сядет на шею народу, закрепит свою образованность как источник привилегии и сделается заинтересованной не в том, чтобы поднимать как можно скорее уровень развития народных масс, а в том, чтобы задерживать этот подъем.

Мы можем апеллировать только к нашей собственной молодежи, т. е. к рабоче-крестьянской молодежи. Она невежественна. Да. Надо ее образовать, дать ей то образование, которое нам нужно.

Получить высоких специалистов можно через высшие учебные заведения, но эта молодежь еще не способна слушать в них лекции.

Первым жестом Владимира Ильича был приказ отворить двери университета для всех, кто жаждет образования. Хлынули эти люди в университет, заполнили его.

Пока были только лекции — ничего. Отдавят друг другу бока, но слушают; а когда дело дошло до лабораторий, до анатомического театра, дело пошло хуже. Пришлось вернуться к тому, чтобы выбирать, потому что само-то лукошко российского высшего образования довольно мелкое и в него не насыплешь сразу всех желающих получить это образование. Стало быть, нужно было выбирать тех, кто нужнее, кто способнее, устраи-

вать проверку. А для тех, кто представляет собой прекрасный материал, но еще не подготовленный,— для тех, очевидно, надо было создать формы подготовки. Так выросла идея рабфака и классового приема в высшие учебные заведения.

Сейчас же после этого ставятся новые проблемы, которые Владимир Ильич превосходно знал, о разрешении которых очень заботился, о которых беспрестанно с нами беседовал, хотя, может быть, в его трудах особенно обильных следов его размышлений в этой области мы не найдем.

Прежде всего принципиальный вопрос. Ясно, что рабоче-крестьянская молодежь существовать за свой счет не может, что надо придумать какое-то соединение учения и заработка (что очень трудно при незначительном количестве оплачиваемого труда у нас) или же давать учащимся государственные стипендии. Конечно, наиболее рациональной формой было бы содержать эту молодежь за счет государства. Потребность в образовании в стране огромная, наплыв желающих гигантский, потребность страны в людях уже образованных не меньшая, а трубочка, через которую приходится пропускать эту волну жаждущих знания в резервуар, который должен быть наполненным, узенькая, средств мало. И эта трубочка всегда будет недостаточной вплоть до того счастливого момента, когда у нас будет такое время, что мы скажем: мы можем содержать столько-то сотен тысяч студентов за государственный счет более удовлетворительно и привольно, чем сейчас. Это будет значить, что мы государственную и хозяйственную задачу на три четверти разрешили. А разрешить-то мы ее можем только путем накачивания этой самой молодежи. Значит, самый процесс накачивания пройдет болезненно, будет всегда сопровождаться нуждой, разочарованиями, усталостью, заболеваниями, возможно смертью. Это будет в настоящем смысле слова боевой фронт, на котором люди ставят на карту свою жизнь. Даешь науку! Вот она.

И нужен такой лозунг: с такой же отвагой бросать жизнь и с такой же готовностью поставить свою жизнь на карту, как на войне.

Я не хочу этим сказать, чтобы все методы были исчерпаны, чтобы мы еще и еще раз не обдумывали со всех сторон вопрос о государственных ассигнованиях,

может быть, о сужении приема студентов с будущего года, об уменьшении количества стипендий, но об их укрупнении, о всякого рода хозяйственных улучшениях, о привлечении студенчества к работам, которые были бы одновременно и более или менее педагогическими, и более или менее хлебными. Я не говорю, чтобы все эти проблемы перед нами не стояли в жгучей форме, но говорю, что, будучи разрешенными, они облегчат положение, но полностью устранить материальный кризис не смогут.

Мы бьемся здесь как раз за такое государство, которое сделалось бы в полной мере способным проводить культурную политику, и пока мы его еще не добились, мы должны в полном смысле слова биться.

Второй вопрос — вопрос о том, чему учить и как учить. Вы знаете, что Владимир Ильич посвятил именно этому вопросу свою блестящую и бездонно-глубокую речь к комсомольцам¹. В общих принципиальных контурах он на этот вопрос с полной, исчерпывающей ясностью ответил.

Коммунист оказывается часто в некотором содрогании перед той наукой, в которую он собирается нырнуть, перед тем кубком знаний, который ему своею рукою протягивает господин профессор, ибо он не знает, не ныряет ли он в омут, и не знает, не протягивают ли ему яду. Он говорит: я марксист и я знаю, что каждая идеология есть отражение классового бытия. А наука — идеология? Да. Какой класс ее создал? Буржуазно-помещичий. Значит, эта наука мне не нужна, она мне даже враждебна. Но вообще идеология мне нужна, мне нужна наука. Какая же мне наука нужна? Та, которая выражает мое бытие, пролетарское. Значит, мне нужна пролетарская наука. Где она? Нет ее, за исключением марксизма. В остальных областях ее нет. Как же быть? Надо ее придумать. Тогда, значит, надо не учиться, а сразу учить, надо не искать науку, которую нужно одолеть, а создать свою собственную. Но пока ведь мы равным счетом ничего не знаем? Откуда же мы приобретем знания? Из бытия нашего, из нутра нашего, от себя самих.

¹ А. В. Луначарский имеет в виду речь В. И. Ленина на III съезде комсомола (см.: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 41, с. 298—318).

И когда нам самим покажется, что жидковата наша пролетарская наука, то стоит только поэнергичнее поплевать на эти ученые лысины и говорить: ну, вы там, буржуи, со всеми вашими сокровищами, что вы стоите перед одним росчерком моего пролетарского пера,— раззудись плечо, размахнись рука. Я такую пролетарскую науку выведу, что в одной брошюре в 33 страницы дам разрешение всех вопросов бытия.

Вот эта сторона дела страшно пугала Владимира Ильича. Я несколько юмористически изложил ее. Но какое из этих изложенных положений можно игнорировать? Что идеология отражает бытие? Это всякий марксист знает, и усомнившись в этом лучше свой партийный билет отдать. Что же, идеология, которая до сих пор существовала, разве она не отражала буржуазного бытия?

Как же можно в этом сомневаться! Так зачем же она нам нужна? Вот как ставится вопрос.

В чем тут ошибка? В чем заблуждение? В том, что идеология отражает не только отрицательные стороны бытия данного класса, а отражает его во всем его объеме, т. е. и в его прогрессивных сторонах. Буржуазия, капитализм имели в себе прогрессивные стороны? Конечно, имели. В чем заключалась их главная прогрессивная сторона? В том, что буржуазия была организатором машинной техники. Машинная техника — это основа новейшего буржуазного общества. Для того чтобы придумать машину, которая работала бы правильно, необходимой предпосылкой является знание математики, физики, химии, частью ботаники, зоологии и т. д.

Для миллионов задач, связанных с торговлей, с мореплаванием, строительством, обработкой металлов, горных пород, земли и т. д.,— для всего этого нужна масса положительных знаний.

Наша буржуазия может рассуждать так: мне нужна прибыль; чтобы была прибыль, мне нужно дешевое и рациональное производство; для этого мне нужна машина; построй-ка мне ее! Инженер скажет: я бы построил, но для этого нужно иметь совершенно правильное представление о материальном мире, который нас окружает, для этого нужно стать материалистами, для этого надо изучать законы природы с точки зрения полного изгнания бога и всех его родственников, а затем, на основе

такого изучения, приступить уже к чертежам и выкладкам.

Хочет этого капиталист или нет? Капиталист говорит: конечно, бог мне для себя — так себе, можно и без него, но для подлого народа он необходим. Но мы делаем так: ты в своей лаборатории действуй как материалист, и на фабрике действуй как материалист, и на рынке действуй как материалист, и я буду действовать как «материалист», — брать толстые пачки вполне материальных билетов, совать в толстые карманы моих вполне материальных брюк; но рядом с этим мы дадим профессоров-идеалистов, которые будут делать свое дело, и они не только будут говорить об идеях и идеализме в философии, не только будут запоганивать идеализмом промежуточные сферы естественных наук, но и в самих естественных науках будут, пожалуй, говорить: а что такое вера в материю? Если подойти как следует, — тут и солипсизм, и совокупность человеческих ощущений, и все что угодно другое. Но ты, инженер, этим делом не смущайся и сам работай как материалист. И таким образом только мы создадим нашу двуликую, фальшивую, отвратительную культуру.

Так вот, когда мы подходим к этой культуре, мы должны понять, что в ней накоплено изумительное богатство подлинного опыта. Ведь буржуазия хотела получить барыш-то реальный и реальными путями. Она не хотела этот барыш ни с кем разделить, поэтому она была заинтересована в народной глупости, отсюда и ее стремление к дурману. Дурман надо вышибать, с дурманом нужно бороться, а огромную сокровищницу реальных знаний и их применения нужно взять из рук буржуазии. Правда, их нужно переработать. Буржуазный НОТ — не то что наш НОТ; буржуазная фабрика — не то что наша фабрика. Но следует ли из этого, чтобы мы сказали: к черту все локомотивы — они буржуазные, и пока не выдумаем своих, по своему фасону, пусть не будет железных дорог! Мы этого не хотели. Владимир Ильич высказывал эти идеи со всею резкостью: печален будет тот коммунист, который воспитывается только на коммунистических брошюрах и книгах; если мы не усвоим всей культуры прошлого, мы вперед не двинемся никоим образом.

Если вы перечитаете его речь к комсомолу, то увидите, что Владимир Ильич идет до конца. Он не говорит,

что нужно учить и чего не нужно. Он говорит: учись всему, всю буржуазную культуру усвой, а после этого разберись, что тебе ко двору; а что нет — критикуй. К полученным знаниям прибавь свой пролетарский инстинкт, прибавь свою пролетарскую философию, свою марксистскую школу, и они тебе со стороны марксистской социалистической науки осветят весь материал по-новому. Тогда ты разберешься и изгонишь ненужное. Но помни, что учиться и строить ты сможешь только тогда, когда в течение длительного времени будешь учиться.

Конечно, я понимаю, товарищи, что из этого заявления Владимира Ильича могут сделать скверный вывод. Скверный вывод сделает каждый большой торопыга из противоположного лагеря. Они, пожалуй, скажут: вот это умный человек — Ильич, он предписал своим ребятам — усваивай, а нам, людям науки, сказал — учи, и так дело продлится всерьез и надолго. Чего же лучше, если они будут усваивать то, чему мы их будем учить! По всей вероятности, они, наконец, так доусваиваются, что очень далеко от Владимира Ильича отойдут. Дайте нам только в качестве педагогов старых опытных гувернеров, и они скоро этих молодых орлят превратят в телят, а то и в поросят.

Но эта торопливость, конечно, излишняя. Владимир Ильич прекрасно знал, что опасность того, чтобы буржуазная наука при существовании пролетарского контроля, при закваске рабоче-крестьянской молодежи ее отравила бы и сбила бы с толку, не очень велика, хотя борьбу по этому фронту вести нужно неуклонно. А вот обратная опасность — оттолкнуть от себя буржуазную науку и ввергнуться целиком в ересь комчванства — эта опасность огромна. Это создало бы тот душок верхоглядства, дилетантства, всяких фантазмагорических легковесных выдумок, которые могли бы в корне испортить все дело. Вот почему комсомолу Владимир Ильич говорил: учись без страха! Тут ты получишь огромный и нужный для тебя материал и не бойся, что при этом ты оторвешься. Нутро у тебя здоровое, и ты прекрасным образом разберешься потом, где тебе нужно, а где ненужное.

Черпай из того, что тебе пришлось зачерпнуть из моря так называемого всечеловеческого знания, которое в значительной мере было детерминировано до сих пор буржуазным миром. И когда ты это сделаешь,

тогда ты детерминируешь свою пролетарскую мысль и придашь ей совершенно новое направление и небывалый размах.

Как учить? Этот вопрос о том, как учить, Владимир Ильич ставил так. Он говорил, что учиться нужно для того, чтобы сломить класс буржуазии и чтобы добиться коммунизма. И эта задача должна быть незыблемой полярной звездой, которая укажет путь. Поэтому нужно учить в непосредственной связи с массой. Школа, даже низшая, а тем более высшая, не должна быть замкнутой в себе. Она должна быть волнуема всеми великими бурями социальной жизни, она должна на них откликаться, принимать в них живейшее участие. Студент есть гражданин, а не академик. И не только студент, даже подросток в школе второй ступени или фабзавуче, даже ребенок должны быть в эту сторону дела посвящены.

Надо позаботиться, говорит Владимир Ильич, о том, чтобы по возможности всякое знание усваивалось в порядке реальной трудовой проблемы. Это очень трудная, с точки зрения педагогической, задача, но чисто марксистская и глубоко верная. Тебе нужно дать задачу по вычислению — возьми какое-нибудь вычисление, необходимое для твоего района, для кооператива, который рядом работает, для ремонта, который производится в том же здании, возьми пример из абсолютно реальной жизни, по возможности не выдумывая, т. е. чтобы каждая задача была разрешением задачи, поставленной окружающим миром труда.

Надо учить механику, или химию, или астрономию, входя, внедряясь в те органы общественной жизни, которые этим и для этого живут, где все это применяется как отдельные элементы общественного строительства. Это трудно, мы все это знаем. Мы считаем, что сельскохозяйственный широкий уклон может быть дан в одну сторону, промышленный — несколько в другую, что мы можем опираться на муниципальное хозяйство, на общественную жизнь города с его больницами, почтой и телеграфом, пожарными командами, канализацией и водопроводами, всякого рода городской статистикой и т. д.

Мы знаем, что людям, которые займутся постановкой такого обучения, придется у нас встретиться с массой препятствий, чисто учебных, практических, лаборатор-

ных. Занятия, придуманные и вытекающие из хода дидактического плана, им придется заменять рассказом, книгой, диапозитивом, часто тем, что должна была бы дать жизнь. Чем больший круг заменит у нас в нашей педагогике трудовой метод, метод целесообразного и общепольного труда как воспитательного импульса, тем мы будем ближе к тому, что, изучая все стороны буржуазной науки в глубокой связи с практическими задачами времени и с размахом революции, мы будем застрахованы от восприятия лжи за истину. Ложь будет отпадать, потому что она будет проверяться практикой, а Маркс говорил: схоластичен вопрос о том, что такое истина сама по себе, ибо единственная проверка истины есть практика. И Ленин, конечно, на этой марксистской точке зрения целиком стоял.

Таким образом, вы видите, что эта сторона мыслей Владимира Ильича о молодежи может быть резюмирована так: не покладая рук надо работать над общим подъемом уровня масс как в школьном, так и во внешкольном порядке; но в то же время надо выдвигать из массы или выпустить, вернее, оттуда десятки, по возможности сотни тысяч молодых людей, которых мы должны в ускоренном порядке, через рабфаки, вести ко всеоружию знаний, через приобретение старой культуры, причем усвоение этой культуры должно происходить трудовым порядком, в связи с общественной практикой и при постоянном освещении каждого приобретаемого данного общей идеей коммунистической революции.

Чего же мы можем ждать, если эта программа будет выполнена? Если не будем говорить об опасностях и о положительных сторонах, то скажем так: огромных результатов... Если мы пойдем по пути, указанному Лениным, если мы будем брать молодежь преимущественно рабочую и во вторую очередь крестьянскую, если ее будем учить тому, чему сказал Ленин, и так, как он сказал, то мы несомненно интеллигенцию получим, несмотря на нашу бедность, на узость той трубочки, о которой я вам говорил, трубочки, через которую в резервуар нашей будущей интеллигенции напирает волна жаждущей знания молодежи. Несмотря на все это, эта проблема разрешима...

Мы дадим огромное преимущество рабоче-крестьянской молодежи. Значит, мы, конечно, свою интеллиген-

цию будем воспитывать. Но не может ли эта интеллигенция, по мере того как рабоче-крестьянские парни и девушки будут превращаться в интеллигенцию, перестать быть своею? Вот тут проблема, о которой нужно подумать.

Владимир Ильич многократно говорил и о комчванстве, и о возможности со стороны командного состава понять свою роль как господствующую. Когда он в своей последней статье о РКИ и ЦКК¹ говорит о том, что у нас самый метод администрации неправильный, он, между прочим, такую бросает мысль: в сущности говоря, администрирование дело простое; если учиться ему, как в Германии это делают, по упрощенному четкому способу, окажется — это дело такое, при котором всякое начальствование может быть отброшено. Мы все идем к тому, чтобы государство совсем убить, чтобы послать его вместе с каменным топором в музей.

По пути к этому и будем идти, отбрасывая начальствование.

Ленин был человек огромной авторитетности, он имел достаточно суковатую дубинку Петра Великого. Физически он нас не колотил, но пробирал довольно неласково, и почти каждый, конечно, имеет на своей духовной спине соответственные почетные синяки. Авторитет этого человека был большой. Ни единицам, ни массам он не потворствовал, но тем не менее начальственности в нем не было никакой. Какая уж начальственность! Более простого обращения решительно со всяким нельзя себе вообразить. Если бы это было что-то искусственное, если бы человек находил тон, каким можно с самым простым мужичком поговорить, это было бы не такое чудо, как то, что человек не чувствовал себя начальником никак, ходил по той же самой земле, по которой все ходят. Это был человек в поношенном пальто, который разговаривал с другим человеком без малейших гримас, без малейшего тона чванства. Всегда он мог признать: ах, какую я глупость сделал. И скажет это же, может быть, почтальону, подростку, если тот перед ним откроет что-то новое, какое-нибудь соображение, какой-нибудь неизвестный ему факт. Ни малейшей начальственности! И ему страшно хотелось, чтобы ни у кого ее не было. Он часто это высказывал, и какому-ни-

¹ См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 45, с. 383—388.

будь советскому сановнику было обидно слышать, когда Ленин в Совнаркоме начинал об этом распространяться. И хотя у нас там сановничества очень мало, но перед лицом кристального антисановничества Ильича приходило в голову: а в самом деле, не сановник ли я?

Это, пожалуй, на верхах еще сносно обстоит. Но начальственной дури немного пониже можно встретить сколько угодно. Если нарком любезен, то секретарь его обыкновенно груб. А если в Москве разговаривают по-человечески, то в губернии уже помалкивают и мычат, а в уезде рычат.

Начальственности порядочно даже в среде самих коммунистов.

Так вот, начальственность эту Ильич хотел отбросить совершенно. И если мы будем иметь так называемый командный состав, прошедший через рабфаки и вузы, не может ли случиться так, что они вырождаются в начальствующий командный состав? Это очень большой вопрос.

Вообразите такую вещь. Россия освобождается от помещиков и буржуазии, выгоняет их вон. Страна остается главным образом мелкобуржуазной и находится под сильным давлением и контролем пролетариата, который по отношению ко всей стране очень малочислен. На всем мелкобуржуазном молоке поднимаются новые сливки, новый командный состав. Выдвинулся, получил орден Красного Знамени, назначен на такой-то пост, из уезда — в губернию, затем в центр и т. д. Мы людей ищем, повышаем, фиксируем на известных местах — это естественный процесс, иначе и быть не может. Но не получают ли все-таки из них совбуры¹? Сливки-то эти не скиснут ли?..

Что касается нэпмановских сливок, то их иногда можно собрать и употребить на пользу государства, а если они уж очень горчат, то можно куда-нибудь в Нарым скинуть.

Это не так опасно.

А вот рядом с этим свой человек, который хозяйственно, административно, культурно оброс и который по всем правам (потому что он талантливый, знающий, опытный) руководит страной, — при каких условиях он не превратится в советского бюрократа, а будет коммунистом и слугой народа?

¹ *Совбур* — в лексиконе 20-х годов — советский бюрократ.

Во-первых, при условии, если сейчас будем вырабатывать верное понимание того, что отрыв от масс для него — гибель, а также губельно неумение дать массе то, что он от нее и за ее счет взял. Когда Лавров (Миртов) писал свои «Письма к интеллигенции» и укорял дворянскую интеллигенцию, буржуазную и в лучшем случае разночинскую, в том, что она имеет долг перед народом, — это был навязанный извне долг. А когда теперь это повторяют рабоче-крестьянской молодежи, то идут по линии вашего собственного инстинкта, идут по линии того направления, которое дала вам жизнь. И только против таких пересекающих вам путь сил, которые могут заставить вас уклониться от этого прямого пути, надо бороться.

Молодежь — это биологически есть, конечно, те люди, которым предстоит господствовать в судьбах человечества на завтрашний день, это основная сила, коренная мощь человечества на завтрашний день. Молодежь вместе с тем переживает такое время, когда она особенно восприимчива и к дурному и к хорошему. В это время на ее гибкую, мягкую, как воск, душу можно положить пятно, наложить изъян, который потом окостенеет и станет пороком, но в это же время можно положить на нее священную печать преданной любви к человечеству, которая жила в сердце Владимира Ильича и о которой свидетельствовала нам в день торжественных поминок его съездом Советов СССР Надежда Константиновна¹.

Вы являетесь той частью молодежи, которая в наибольшей мере определит судьбу всех ваших сверстников и в значительной степени следующих за вами поколений. Какая печать ляжет на вас — та же печать становится наиболее возможной для всех ваших сверстников, которые не попали в число счастливых, приобретающих знания, являющихся кандидатами на командные посты. Повторяю, отчасти и для последующих поколений, для ваших братьев и сестер, сынов и дочерей.

Вы сейчас находитесь в центре борьбы двух сил — растущего социализма и огромной стихии крестьянско-мещанской, мелкобуржуазной, в которой говорит голос

¹ Н. К. Крупская выступила с речью на траурном заседании II Всероссийского съезда Советов 26 января 1924 г. (Правда, 1924, 27 янв.; 30 янв.).

эгоизма, голос честолюбия, которая находит подкупающие, льстивые ноты для того, чтобы прокрасться в ваше сердце.

Поэтому, кроме той тяжелой материальной борьбы, которую вы ведете, и борьбы за специальные знания, вы должны будете вести также борьбу за свою душу и за душу своего соседа по койке и столу, за которым вы учитесь, вести борьбу за скорейший подъем к свету законченного коммунистического сознания, внедренного в плоть и кровь вашу до самых костей и мозга костей, для того чтобы оказаться раз навсегда отрезанными от всякой возможности мелкобуржуазных тенденций.

Эта борьба за молодежь есть одна из важнейших именно потому, что поскольку эта молодежь будет завоевана и не выпадет из рук рабочего класса, постольку она будет мощным оружием в предстоящей борьбе и гарантирует нам победу, постольку мы с нею вместе сможем развернуть не сравнимую с нынешним масштабом борьбу за просвещение самих масс, взрослых и подрастающих.

Вот тогда, когда на ваши молодые рабоче-крестьянские плечи, на десятки и сотни тысяч плеч, молодых и свежих, перенесется в значительной своей мере вся тяжесть по решению наших социальных вопросов,— вот тогда мы сможем сказать, что мы могучи по-настоящему, тогда мы можем сказать, что задача наша нам по плечу.

Сейчас же она обременяет плечи уже редющей старей гвардии коммунизма, плечи часто неприспособленных и сравнительно редкой сетью разбросанных понимающих наши задачи работников партийных и внепартийных. Она тяжела сейчас, но она будет облегчаться и становиться все более радостной по мере того, как вы, пройдя ваш путь образования, будете становиться в ряды деятелей нового государства и нового общества.

Не для того, конечно, я указываю на все эти опасности, чтобы пустить на ваше небо какие-то темные облака, наоборот,— именно для того, чтобы эти облака никак не могли сгуститься ни в какую тучу. Я лично целиком разделяю тот титанический оптимизм, которым проникнут марксизм вообще. В частности, Владимир Ильич в смысле оптимизма идет дальше, чем марксизм. Марк-

сизм полагает априорно, что победоносную революцию могут сделать страны с многочисленным пролетариатом. Когда Владимир Ильич сказал: мы сделаем марксистскую революцию в России,— что ответили на это марксисты-меньшевики? «У тебя слишком много оптимизма, Ленин. Ты забыл, что Россия страна отсталая; ты забыл, что пролетариата в ней мало, что он несорганизован и необразован, что рабочий класс, как мухи в молоке, плавает в огромном крестьянстве». При таких условиях и сам Маркс, так говорили марксисты-меньшевики, никогда не посмел бы говорить о марксистской революции; хорошо, если будет более или менее приличная буржуазная революция, а остальное мы отложим до тех пор, пока пролетариат созреет.

Владимир Ильич думал, что не только в России, но и в Персии, и в Китае, на Индостане и на Яве возможны марксистские революции. Они не выливаются, конечно, сразу в коммунистические формы, но несомненно, что революции в мелкобуржуазных странах, революции мужицкие, революции бедняцкие могут получить закваску, фермент, окраску от своего пролетариата и через свой пролетариат, как бы он ни был малочислен сравнительно с пролетариатом Западной Европы и Америки.

Смычка— это его центральная идея. Пролетариат заражает своим настроением мелкую буржуазию, притягивает ее к себе, двигает ее вслед за собой. На этом базируется Владимир Ильич. Вот почему он не боялся того, что коммунисты — капля в море. Вот почему он призывал: используйте всякого рода спецов. Потому что он знал, что эта притягивающая все сила, вот эти пролетарские дрожжи так мощны, что могут заставить взойти очень большую опару.

Это позволяло ему предполагать, что все бесчисленное море крестьянское может быть поднято пролетариатом.

Все это, конечно, меньшевики слушали с трясущимися коленками. Большевики должны были припомнить, что они «рабочедельцы»¹, что у них «настоящая пролетарская рабочая душа», и они должны были занять:

¹ *Рабочедельцы* — представители первого оппортунистического течения внутри РСДРП — «экономизма», группировавшиеся вокруг журнала «Рабочее дело».

«Что ты делаешь, Ленин? Ты потопишь пролетариат во всей этой неразберихе. Это эсеровщина, это ересь!» Но они ныли потому, что у них не столько пролетарская душа, сколько короткая интеллигентская кишка, и они, воспринимая идею пролетариата как передового класса, понимают ее не с той точки зрения, что это класс — слуга и в то же время водитель человечества.

Никто в такой мере, как Ленин, не подчеркнул эту идею.

Когда мы изучали Маркса, мы его понимали таким образом: пролетариат в передовых странах делает пролетарскую революцию и после этого протягивает руку остальным братьям и заботится о них, а не эксплуатирует их. Что сказал Ленин? Пролетариат не сможет освободиться, не опираясь на крестьянство и в том числе на крестьянство колониальных стран. Он должен до своего освобождения втянуть их в свою работу. Мог ли при таких условиях Владимир Ильич испугаться того, что наша молодежь, если она не будет исключительно пролетарской по своему составу, свихнется в другую сторону, что эта молодежь пойдет не по тому пути, на который зовет ее голос мировой истории и на который направляет ее своею верной рукой наша испытанная Коммунистическая партия? Он этого бояться не мог.

Когда он указывал нам на опасность нэпа, когда он указывал на опасность комчванства, он делал это не для того, чтобы сеять среди нас уныние, а для того, чтобы мы знали, с какой действительностью мы имеем дело, чтобы мы все это приняли во внимание и сказали себе: наш путь чреват опасностями, но мы их избегнем, мы их преодолеем.

«Ленин и молодежь» — так назван мой сегодняшний доклад. Вот эта отвага Ильичева — она была молода, он был молод в свои 53 года и остался бы молод, сколько бы ни прожил на свете. Молод и ленинизм — от него веет мировой молодостью, веет колоссальным будущим впереди и безудержной молодецкой отвагой.

И если Ильич молод, то и молодежь должна быть «ильичевой» молодежью. Она должна проникнуться не только этой заразной и родной для него молодостью, но и мудростью, и осмотрительностью, и умением

делать выводы из седой культуры, приобретенной столетиями. И когда это все в ней соединится, когда она станет достойной Ильича, когда она десятками тысяч зеркал отразит в себе этот сияющий образ и сделается, насколько кто может это вместить, подобной нашему вождю, тогда это будет уже поистине богатырская молодежь. Тогда само собою разумеется, ни внутренние, ни внешние опасности не будут для нас ничего значить.

М. ГОРЬКИЙ

В. И. ЛЕНИН

Очерк

Владимир Ленин умер.

Даже некоторые из стана врагов его честно признают: в лице Ленина мир потерял человека, «который среди всех современных ему великих людей наиболее ярко воплощал в себе гениальность».

Немецкая буржуазная газета «Prager Tageblatt», напечатав о Ленине статью, полную почтительного удивления перед его колоссальной фигурой, закончила эту статью словами:

«Велик, недоступен и страшен кажется Ленин даже в смерти».

По тону статьи ясно, что вызвало ее не физиологическое удовольствие, цинично выраженное афоризмом: «Труп врага всегда хорошо пахнет», не та радость, которую ощущают люди, когда большой беспокойный человек уходит от них,— нет, в этой статье громко звучит человеческая гордость человеком.

Пресса русской эмиграции не нашла в себе ни сил, ни такта отнестись к смерти Ленина с тем уважением, какое обнаружили буржуазные газеты в оценке личности одного из крупнейших выразителей воли к жизни и бесстрашия разума.

Писать его портрет — трудно. Ленин, внешне, весь в словах, как рыба в чешуе. Был он прост и прям, как все, что говорилось им.

Героизм его почти совершенно лишен внешнего блеска, его героизм — это нередкое в России скромное, аскетическое подвижничество честного русского интеллигента-революционера, непоколебимо убежденного в возможности на земле социальной справедливости, героизм человека, который отказался от всех радостей мира ради тяжелой работы для счастья людей.

То, что написано мною о нем вскоре после его смерти, — написано в состоянии удрученном, поспешно и плохо. Кое-чего я не мог написать по соображениям «такта», надеюсь вполне понятным. Проницателен и мудр был этот человек, а «в многой мудрости — много печали».

Далеко вперед видел он и, размышляя, разговаривая о людях в 19—21 годах, нередко и безошибочно предугадывал, каковы они будут через несколько лет. Не всегда хотелось верить в его предвидения, и нередко они были обидны, но, к сожалению, не мало людей оправдало его скептические характеристики. Воспоминания мои о нем написаны, кроме того что плохо, еще и непоследовательно, с досадными пробелами. Мне следовало начать с Лондонского съезда, с тех дней, когда Владимир Ильич встал передо мною превосходно освещенный сомнениями и недоверием одних, явной враждой и даже ненавистью других.

Я и сейчас вот все еще хорошо вижу голые стены смешной своим убожеством деревянной церкви на окраине Лондона, стрельчатые окна небольшого, узкого зала, похожего на классную комнату бедной школы. Это здание напоминало церковь только извне, а внутри ее — полное отсутствие предметов культа, и даже невысокая кафедра проповедника помещалась не впереди, в глубине зала, а — у входа в него, между двух дверей.

До этого года я не встречал Ленина, да и читал его не так много, как бы следовало. Но то, что удалось мне прочитать, а особенно восторженные рассказы товарищей, которые лично знали его, потянуло меня к нему с

большой силой. Когда нас познакомили, он, крепко стиснув мою руку, прощупывая меня зоркими глазами, заговорил тоном старого знакомого, шутливо:

— Это хорошо, что вы приехали! Вы ведь драки любите? Здесь будет большая драчка.

Я ожидал, что Ленин не таков. Мне чего-то не хватало в нем. Картавит и руки сунул куда-то под мышки, стоит фертом. И вообще, весь — как-то слишком прост, не чувствуется в нем ничего от «вождя». Я — литератор. Профессия обязывает меня подмечать мелочи, эта обязанность стала привычкой, иногда — уже надоедливой.

Когда меня «подводили» к Г. В. Плеханову, он стоял, скрестив руки на груди, и смотрел строго, скучновато, как смотрит утомленный своими обязанностями учитель еще на одного нового ученика. Он сказал мне весьма обычную фразу: «Я поклонник вашего таланта». Кроме этого, он не сказал ничего, что моя память удержала бы. И на протяжении всего съезда ни у него, ни у меня не явилось желания поговорить «по душам».

А этот лысый, картавый, плотный, крепкий человек, потирая одною рукой сократовский лоб, дергая другою мою руку, ласково поблескивая удивительно живыми глазами, тотчас же заговорил о недостатках книги «Мать», оказалось, что он прочитал ее в рукописи, взятой у И. П. Ладыжникова. Я сказал, что торопился написать книгу, но — не успел объяснить, почему торопился, — Ленин, утвердительно кивнув головой, сам объяснил это: очень хорошо, что я поспешил, книга — нужная, много рабочих участвовало в революционном движении незаметно, стихийно, и теперь они читают «Мать» с большой пользой для себя.

«Очень своевременная книга». Это был единственный, но крайне ценный для меня его комплимент. Затем он деловито осведомился, переводится ли «Мать» на иностранные языки, насколько испортила книгу русская и американская цензура, а узнав, что автора решено привлечь к суду, сначала — поморщился, а затем, вскинув голову, закрыв глаза, засмеялся каким-то необыкновенным смехом; смех его привлек рабочих, подошел, кажется, Фома Уральский и еще человека три.

Я был настроен очень празднично, я находился в среде трех сотен отборных партийцев, узнал, что они посланы на съезд полутора ста тысячами организованных рабочих, я видел перед собою всех лидеров партии, старых

революционеров: Плеханова, Аксельрода, Дейча. Праздничное мое настроение было вполне естественно и будет понятно читателю, если я скажу, что за два года, прожитых мною вне родины, обычное самочувствие мое сильно понизилось.

Понижаться оно начало с Берлина, где я видел почти всех крупнейших вождей социал-демократии, обедал у Августа Бебеля, сидя рядом с очень толстым Зингером и в среде других, тоже весьма крупных людей.

Обедали мы в просторной, уютной квартире, где клетки с канарейками были изящно прикрыты вышитыми салфеточками и на спинках кресел тоже были прищиплены вышитые салфеточки, чтобы сидящие не пачкали затылками чехлов. Все вокруг было очень солидно, прочно, все кушали торжественно и торжественно говорили друг другу:

— Мальцейт¹.

Слово это было незнакомо мне, но я знал, что французское «маль» по-русски значит — плохо, немецкое «цейт» — время, вышло: плохое время.

Зингер дважды назвал Каутского «мой романтик». Бебель с его орлиным носом показался мне человеком немножко самодовольным. Пили рейнское вино и пиво; вино было кислое и теплое, пиво хорошее; о русской революции и партии с.-д. говорили тоже кислотовато и снисходительно, а о своей, немецкой партии — очень хорошо! Вообще — все было очень самодовольно, и чувствовалось, что даже стулья довольны тем, что их отягощают столь почтенные мякоти вождей.

К немецкой партии у меня было «щекотливое» дело: видный ее член, впоследствии весьма известный Парвус, имел от «Знания» доверенность на сбор гонорара с театров за пьесу «На дне». Он получил эту доверенность в 902 году в Севастополе, на вокзале, приехав туда нелегально. Собранные им деньги распределялись так: 20% со всей суммы получал он, остальное делилось так: четверть — мне, три четверти в кассу с.-д. партии. Парвус это условие, конечно, знал, и оно даже восхищало его. За четыре года пьеса обошла все театры Германии, в одном только Берлине была поставлена свыше 500 раз, у Парвуса собралось, кажется, 100 тысяч марок. Но вместо денег он прислал в «Знание» К. П. Пятницкому письмо, в

¹ На доброе здоровье (нем.).

котором добродушно сообщил, что все эти деньги он потратил на путешествие с одной барышней по Италии. Так как это, наверно, очень приятное путешествие лично меня касалось только на четверть, то я счел себя вправе указать ЦК немецкой партии на остальные три четверти его. Указал через И. П. Ладыжникова. ЦК отнесся к путешествию Парвуса равнодушно. Позднее я слышал, что Парвуса лишили каких-то партийных чинов,— говоря по совести, я предпочел бы, чтоб ему надрали уши. Еще позднее мне в Париже показали весьма красивую девушку или даму, сообщив, что это с ней путешествовал Парвус. «Дорогая моя,— подумалось мне,— дорогая».

Видел я в Берлине литераторов, художников, меценатов и других людей, они различались друг от друга по степеням самодовольства и самолюбования.

В Америке весьма часто видел Мориса Хилквит, который хотел быть мэром или губернатором Нью-Йорка, старика Дебса, который одиноко и устало рычал на всех и на все,— он только что вышел из тюрьмы,— видел очень многих и очень много, но не встречал ни одного человека, который понимал бы всю глубину русской революции, и всюду чувствовал, что к ней относятся как к «частному случаю европейской жизни» и обычному явлению в стране, где «всегда или холера или революция», по словам одной «гэнсом¹ лэди», которая «сочувствовала социализму».

Идею поездки в Америку для сбора денег в кассу «большевиков» дал Л. Б. Красин; ехать со мною в качестве секретаря и организатора выступлений должен был В. В. Воровский, он хорошо знал английский язык, но ему партия дала какое-то другое поручение, и со мною поехал Н. Е. Буренин, член боевой группы при ЦК(б); он был «без языка», начал изучать его в дороге и на месте. Эсеры, узнав, с какой целью я еду, юношески живо заинтересовались поездкой; ко мне — еще в Финляндии — пришел Чайковский с Житловским и предложили собирать деньги не для большевиков, а «вообще для революции». Я отказался от «вообще революции». Тогда они послали туда «бабушку»², и перед американцами явились двое людей, которые, независимо друг от друга и не встречаясь, начали собирать деньги, очевидно, на

¹ Прекрасной (англ.).

² Е. К. Брешко-Брешковская — один из лидеров партии эсеров.

две различных революции; сообразить, которая из них лучше, солиднее, у американцев, конечно, не было ни времени, ни желания. «Бабушку» они, кажется, знали и раньше, американские друзья сделали ей хорошую рекламу, а мне царское посольство — устроило скандал. Американские товарищи, тоже рассматривая русскую революцию как «частное и неудавшееся дело», относились к деньгам, собранным мною на митингах, несколько «либерально», в общем я собрал долларов очень мало, меньше 10 тысяч. Решил «заработать» в газетах, но и в Америке нашелся Парвус. Вообще поездка не удалась, но я там написал «Мать», чем и объясняются некоторые «промахи», недостатки этой книги.

Затем я переехал в Италию, на Капри, там погрузился в чтение русских газет, книг, — это тоже очень понижало настроение. Если зуб, выбитый из челюсти, способен чувствовать, он, вероятно, чувствовал бы себя так же одиноко, как я. Очень удивляла клоунская быстрота и ловкость, с которой знакомые люди перескакивали с одной «платформы» на другую.

Приезжали из России случайные революционеры, разбитые, испуганные, обозленные на самих себя и на людей, которые вовлекли их в «безнадежное предприятие».

— Все пропало, — говорили они. — Все разбито, истреблено, сослано, посажено в тюрьмы!

Было очень много смешного, но — ничего веселого. Один гость из России, литератор, и — талантливый, доказывал мне, что я будто бы сыграл роль Луки из пьесы «На дне»: пришел, наговорил молодежи утешительных слов, она мне поверила и набила себе шишек на лбу, а я — убежал. Другой утверждал, что меня съела «тенденция», что я — «конченный человек» и отрицаю значение балета только потому, что он — «императорский». Вообще было весьма много смешного, глупого, и часто казалось, что из России несется какая-то гнилая пыль.

И — вдруг, точно в сказке, я на съезде Российской социал-демократической партии. Конечно — праздник!

Но праздновал я только до первого заседания, до споров по вопросу о «порядке дня». Свирепость этих споров сразу охладила мои восторги и не столько тем, что я почувствовал, как резко расколота партия на реформаторов и революционеров, — это я знал с 903 года, — а враждебным отношением реформаторов к В. И. Лени-

ну. Оно просачивалось и брызгало сквозь их речи, как вода под высоким давлением сквозь старую пожарную «кишку».

Не всегда важно — что говорят, но всегда важно, как говорят. Г. В. Плеханов в сюртуке, застегнутом на все пуговицы, похожий на протестантского пастора, открывая съезд, говорил, как законоучитель, уверенный, что его мысли неоспоримы, каждое слово — драгоценно, так же как и пауза между словами. Очень искусно он развешивал в воздухе над головами съездовцев красиво закругленные фразы, и когда на скамьях большевиков кто-нибудь шевелил языком, перешептываясь с товарищем, почтенный оратор, сделав маленькую паузу, вонзал в него свой взгляд, точно гвоздь.

Одна из пуговиц на его сюртуке была любима Плехановым больше других, он ее ласково и непрерывно гладил пальцем, а во время паузы прижимал ее, точно кнопку звонка, — можно было думать, что именно этот нажим и прерывает плавное течение речи. На одном из заседаний Плеханов, собираясь ответить кому-то, скрестил руки на груди и громко, презрительно произнес:

— X-xe!

Это вызвало смех среди рабочих-большевиков, Г. В. поднял брови, и у него побледнела щека; я говорю: щека, потому что сидел сбоку кафедры и видел лицо оратора в профиль.

Во время речи Г. В. Плеханова в первом заседании на скамьях большевиков чаще других шевелился Ленин, то — съезживаясь, как бы от холода, то — расширяясь, точно ему становилось жарко; засовывал пальцы куда-то под мышки себе, потирал подбородок, встряхивая светлой головой, и шептал что-то М. П. Томскому. А когда Плеханов заявил, что «ревизионистов в партии нет», Ленин согнулся, лысина его покраснела, плечи затряслись в беззвучном смехе, рабочие, рядом с ним и сзади его, тоже улыбались, а из конца зала кто-то угрюмо и громко спросил:

— А по ту сторону — какие сидят?

Коротенький Федор Дан говорил тоном человека, которому подлинная истина приходится родной дочерью, он ее родил, воспитал и все еще воспитывает. Сам же он, Федор Дан, является совершенным воплощением Карла Маркса, а большевики — недоучки, неприличные ребята, что особенно ясно из их отношения к меньшевикам, сре-

ди которых находятся — «все выдающиеся теоретики марксизма», сказал он.

— Вы — не марксисты, — пренебрежительно говорил он, — нет, вы не марксисты! — И толкал в воздух, направо, желтым кулаком.

Кто-то из рабочих осведомился у него:

— А когда вы опять пойдете чай пить с либералами?

Не помню, выступал ли на первом заседании Мартов. Этот удивительно симпатичный человек говорил юношески пламенно, и казалось, что он особенно глубоко чувствует драму раскола, боль противоречий.

Он весь содрогался, качался, судорожно расстегивал воротник крахмальной рубашки, размахивал руками; обшлага, выскакивая из рукава пиджака, закрывали ему кисть руки, он высоко поднимал руку и тряс ею, чтобы водрузить обшлаг на его законное место. Мне казалось, что Мартов не доказывает, а — упрасивает, умоляет: раскол необходимо изжить, партия слишком слаба для того, чтобы разбиваться на две, рабочий прежде всего нуждается в «свободах», надобно поддерживать Думу. Иногда его первая речь звучала почти истерически, обилие слов делало ее непонятной, а сам оратор вызывал впечатление тяжелое. В конце речи и как будто вне связи ее, все-таки «боевым» тоном, он все так же пламенно стал кричать против боевых дружин и вообще работы, направленной к подготовке вооруженного восстания. Хорошо помню, как на скамьях большевиков кто-то изумленно воскликнул:

— Вот те и раз!

А, кажется, М. П. Томский спросил:

— Может, нам и руки обрубить, для того чтоб товарищ Мартов успокоился?

Повторяю: не уверен, что Мартов говорил на первом заседании, я упомянул о нем только для того, чтоб рассказать, как говорили.

После его речи рабочие, в помещении перед залом заседания, угрюмо беседовали:

— Вот вам и Мартов! А — «искрист» был!

— Линяют товарищи интеллигенты.

Красиво, страстно и резко говорила Роза Люксембург, отлично владея оружием иронии. Но вот поспешно взошел на кафедру Владимир Ильич, картаво произнес «товарищи». Мне показалось, что он плохо говорит, но уже через минуту я, как и все, был «поглощен» его ре-

чью. Первый раз слышал я, что о сложнейших вопросах политики можно говорить так просто. Этот не пытался сочинять красивые фразы, а подавал каждое слово на ладони, изумительно легко обнажая его точный смысл. Очень трудно передать необычное впечатление, которое он вызывал.

Его рука, протянутая вперед и немного поднятая вверх, ладонь, которая как бы взвешивала каждое слово, отсеивая фразы противников, заменяя их вескими положениями, доказательствами права и долга рабочего класса идти своим путем, а не сзади и даже не рядом с либеральной буржуазией,— все это было необыкновенно и говорилось им, Лениным, как-то не от себя, а действительно по воле истории. Слитность, законченность, прямота и сила его речи, весь он на кафедре — точно произведение классического искусства: все есть, и ничего лишнего, никаких украшений, а если они были — их не видно, они так же естественно необходимы, как два глаза на лице, пять пальцев на руке.

По счету времени он говорил меньше ораторов, которые выступали до него, а по впечатлению — значительно больше; не один я чувствовал это, сзади меня восторженно шептали:

— Густо говорит...

Так оно и было; каждый его довод разворачивался сам собою — силою, заключенной в нем.

Меньшевики, не стесняясь, показывали, что речь Ленина неприятна им, а сам он — более чем неприятен. Чем убедительнее он доказывал необходимость для партии подняться на высоту революционной теории для того, чтобы всесторонне проверить практику, тем озлобленнее прерывали его речь.

— Съезд не место для философии!

— Не учите нас, мы — не гимназисты!

Особенно старался кто-то рослый, бородатый, с лицом лавочника, он вскакивал со скамьи и, заикаясь, кричал:

— З-загово-орчки... в з-заговорчки играет! Б-бланкисты!

Одобрительно кивала головой Роза Люксембург; она очень хорошо сказала меньшевикам на одном из следующих заседаний:

— Вы не стоите на марксизме, а сидите, даже — лежите на нем.

Злой, горячий ветерок раздражения, иронии, ненависти гулял по залу, сотни глаз разнообразно освещали фигуру Владимира Ильича. Не заметно было, что враждебные выпады волнуют его, говорил он горячо, но веско, спокойно; через несколько дней я узнал, чего стоило ему это внешнее спокойствие. Было очень странно и обидно видеть, что вражду к нему возбуждает такая естественная мысль: только с высоты теории партия может ясно увидеть причины разногласий среди ее. У меня образовалось такое впечатление: каждый день съезда придает Владимиру Ильичу все новые и новые силы, делает его бодрее, уверенней, с каждым днем речи его звучат все более твердо и вся большевистская часть членов съезда настраивается решительнее, строже. Кроме его речей, меня почти так же взволновала прекрасная и резкая речь против меньшевиков Розы Люксембург.

Свободные минуты, часы он проводил среди рабочих, выпрашивал их о самых мизерных мелочах быта.

— Ну, а женщины как? Заедает хозяйство? Все-таки — учатся, читают?

В Гайд-парке несколько человек рабочих, впервые видевших Ленина, заговорили о его поведении на съезде. Кто-то из них характерно сказал:

— Не знаю, может быть, здесь, в Европе, у рабочих есть и другой, такой же умный человек — Бебель или еще кто. А вот чтобы был другой человек, которого я бы сразу полюбил, как этого, — не верится!

Другой рабочий добавил, улыбаясь:

— Этот — наш!

Ему возразили:

— И Плеханов — наш.

Я услышал меткий ответ:

— Плеханов — наш учитель, наш барин, а Ленин — вождь и товарищ наш.

Какой-то молодой парень юмористически заметил:

— Сюртучок Плеханова-то стесняет.

Был такой случай: по дороге в ресторан Владимира Ильича остановил меньшевик-рабочий, спрашивая о чем-то. Ильич замедлил шаг, а его компания пошла дальше. Придя в ресторан минут через пять, он, хмурясь, рассказал:

— Странно, что такой наивный парень попал на партийный съезд! Спрашивает меня: в чем же все-таки истинная причина разногласий? Да вот, говорю, ваши то-

варищи желают заседать в парламенте, а мы убеждены, что рабочий класс должен готовиться к бою. Кажется — понял...

Обедали небольшой компанией всегда в одном и том же маленьком, дешевом ресторане. Я заметил, что Владимир Ильич ест очень мало: яичницу из двух-трех яиц, небольшой кусок ветчины, выпивает кружку густого, темного пива. По всему видно было, что к себе он относится небрежно, и поражала меня его удивительная заботливость о рабочих. Питанием их заведовала М. Ф. Андреева, и он спрашивал ее:

— Как вы думаете: не голодают товарищи? нет? Гм, гм... А может, увеличить бутерброды?

Пришел в гостиницу, где я остановился, и вижу: озабоченно щупает постель.

— Что это вы делаете?

— Смотрю — не сырые ли простыни.

Я не сразу понял: зачем ему нужно знать — какие в Лондоне простыни? Тогда он, заметив мое недоумение, объяснил:

— Вы должны следить за своим здоровьем.

Осенью 18 года я спросил сормовского рабочего Дмитрия Павлова, какова, на его взгляд, самая резкая черта Ленина?

— Простота. Прост, как правда.

Сказал он это как хорошо продуманное, давно решенное.

Известно, что строже всех судят человека его служащие. Но шофер Ленина, Гиль, много испытывавший человек, говорил:

— Ленин — особенный. Таких — нет. Я везу его по Мясницкой, большое движение, едва еду, боюсь — изломают машину, даю гудки, очень волнуюсь. Он открыл дверь, добрался ко мне по подножке, рискуя, что его сшибут, уговаривает: «Пожалуйста, не волнуйтесь, Гиль, поезжайте, как все». Я — старый шофер, я знаю — так никто не сделает.

Трудно передать, изобразить ту естественность и гибкость, с которыми все его впечатления вливались в одно русло.

Его мысль, точно стрелка компаса, всегда обращалась острием в сторону классовых интересов трудового народа. В Лондоне выдался свободный вечер, пошли небольшой компанией в «мюзик-холл» — демократический

театрик. Владимир Ильич охотно и заразительно смеялся, глядя на клоунов, эксцентриков, равнодушно смотрел на все остальное и особенно внимательно на рубку леса рабочими Британской Колумбии. Маленькая сцена изображала лесной лагерь, перед нею, на земле, двое здоровых молодцов перерубали в течение минуты ствол дерева, объемом около метра.

— Ну, это, конечно, для публики, на самом деле они не могут работать с такой быстротой,— сказал Ильич.— Но ясно, что они и там работают топорами, превращая массу дерева в негодные щепки. Вот вам и культурные англичане!

Он заговорил об анархии производства при капиталистическом строе, о громадном проценте сырья, которое расходуется бесплодно, и кончил сожалением, что до сей поры никто не догадался написать книгу на эту тему. Для меня было что-то неясное в этой мысли, но спросить Владимира Ильича я не успел, он уже интересно говорил об «эксцентризме» как особой форме театрального искусства.

— Тут есть какое-то сатирическое или скептическое отношение к общепринятому, есть стремление вывернуть его наизнанку, немножко исказить, показать алогизм обычного. Замысловато, а — интересно!

Года через два, на Капри, беседуя с А. А. Богдановым-Малиновским об утопическом романе, он сказал ему:

— Вот вы бы написали для рабочих роман на тему о том, как хищники капитализма ограбили землю, растратив всю нефть, все железо, дерево, весь уголь. Это была бы очень полезная книга, синьор махист!

Прощаясь, в Лондоне, он сказал мне, что обязательно придет на Капри отдыхать.

Но раньше, чем он собрался приехать, я увидел его в Париже, в студенческой квартирке из двух комнат,— студенческой она была только по размерам, но не по чистоте и строгому порядку в ней. Надежда Константиновна, сделав нам чай, куда-то ушла, мы остались вдвоем. Тогда разваливалось «Знание», и я приехал поговорить с Владимиром Ильичем об организации нового издательства, которое объединяло бы, по возможности, всех наших литераторов. Редактуру издательства за границей

я предлагал Владимиру Ильичу, В. В. Воровскому и еще кому-то, а в России представлял бы их В. А. Десницкий-Строев.

Мне казалось, что нужно написать ряд книг по истории западных литератур и по русской литературе, книги по истории культуры, которые дали бы богатый фактический материал рабочим для самообразования и пропаганды.

Но Владимир Ильич разрушил этот план, указав на цензуру, на трудность организовать своих людей; большинство товарищей занято практической партийной работой, писать им — некогда. Но главный и наиболее убедительный для меня довод его был приблизительно таков: для толстой книги — не время, толстой книгой питается интеллигенция, а она, как видите, отступает от социализма к либерализму, и нам ее не столкнуть с пути, ею избранного. Нам нужна газета, брошюра, хорошо бы восстановить библиотечку «Знания», но в России это невозможно по условиям цензуры, а здесь по условиям транспорта: нам нужно бросить в массы десятки, сотни тысяч листовок, такую кучу нелегально не перевезешь. Подождем с издательством до лучших времен.

С поразительной, всегда присущей ему живостью и ясностью он заговорил о Думе, о кадетах, которые «стыдятся быть октябристами», о том, что «пред ними один путь направо», а затем привел ряд доказательств в пользу близости войны, и, «вероятно, не одной, но целого ряда войн», — это его предвидение вскоре оправдалось на Балканах.

Встал, характерным жестом сунул пальцы рук за жилет под мышками и медленно шагал по тесной комнате, прищуриваясь, поблескивая глазами.

— Война будет. Неизбежно. Капиталистический мир достиг состояния гнилостного брожения, уже и сейчас люди начинают отравляться ядами шовинизма, национализма. Я думаю, что мы еще увидим общеевропейскую войну. Пролетариат? Едва ли пролетариат найдет в себе силу предотвратить кровавую склоку. Как это можно сделать? Общеевропейской забастовкой рабочих? Для этого они недостаточно организованы, сознательны. Такая забастовка была бы началом гражданской войны, мы, реальные политики, не можем рассчитывать на это.

Остановясь, шаркая подошвой по полу, угрюмо сказал:

— Пролетариат, конечно, пострадает ужасно — такая, пока, его судьба. Но враги его — обесселят друг друга. Это — тоже неизбежно.

И, подойдя ко мне, он сказал, как бы с изумлением, с большой силой, но негромко:

— Нет, вы подумайте: чего ради сытые гонят голодных на бойню друг против друга? Можете вы назвать преступление более идиотическое и отвратительное? Страшно дорого заплатят за это рабочие, но в конце концов выиграют они. Это — воля истории.

Он часто говорил об истории, но никогда в его речах я не чувствовал фетишистического преклонения пред ее волей и силой.

Речь взволновала его, присев к столу, он вытер вспотевший лоб, хлебнул холодного чая и неожиданно спросил:

— Что это за скандал был у вас в Америке? По газетам я знаю, в чем дело, но — как это вышло?

Я кратко рассказал ему мои приключения.

Никогда я не встречал человека, который умел бы так заразительно смеяться, как смеялся Владимир Ильич. Было даже странно видеть, что такой суровый реалист, человек, который так хорошо видит, глубоко чувствует неизбежность великих социальных трагедий, непримиримый, непоколебимый в своей ненависти к миру капитализма, может смеяться по-детски, до слез, захлебываясь смехом. Большое, крепкое душевное здоровье нужно было иметь, чтобы так смеяться.

— Ох, да вы — юморист! — говорил он сквозь смех. — Вот не предполагал. Черт знает как смешно...

И, стирая слезы смеха, он уже серьезно, с хорошей, мягкой улыбкой сказал:

— Это — хорошо, что вы можете относиться к неудачам юмористически. Юмор — прекрасное, здоровое качество. Я очень понимаю юмор, но не владею им. А смешного в жизни, пожалуй, не меньше, чем печального, правое, не меньше.

Условились, что я зайду к нему через день, но погода была плохая, вечером у меня началось обильное кровохарканье, и на другой день я уехал.

После Парижа мы встретились на Капри. Тут у меня осталось очень странное впечатление: как будто Влади-

мир Ильич был на Капри два раза и в двух резко различных настроениях.

Один Ильич, как только я встретил его на пристани, тотчас же решительно заявил мне:

— Я знаю, вы, Алексей Максимович, все-таки надеетесь на возможность моего примирения с махистами, хотя я вас предупредил в письме: это — невозможно! Так уж вы не делайте никаких попыток.

По дороге на квартиру ко мне и там я пробовал объяснить ему, что он не совсем прав: у меня не было и нет намерения примирять философские распри, кстати — не очень понятные мне. К тому же я, от юности, заражен недоверием ко всякой философии, а причиной этого недоверия служило и служит разноречие философии с моим личным, «субъективным» опытом: для меня мир только что начинался, «становился», а философия шлепала его по голове и совершенно неуместно, несвоевременно спрашивала:

«Куда идешь? Зачем идешь? Почему — думаешь?»

Некоторые же философы просто и строго командовали:

«Стой!»

Кроме того, я уже знал, что философия, как женщина, может быть очень некрасивой, даже уродливой, но одета настолько ловко и убедительно, что ее можно принять за красавицу. Это рассмешило Владимира Ильича.

— Ну, это — юмористика, — сказал он. — А что мир только начинается, становится — хорошо! Над этим вы подумайте серьезно, отсюда вы придете, куда вам давно следует прийти.

Затем я сказал ему, что А. А. Богданов, А. В. Луначарский, В. А. Базаров — в моих глазах крупные люди, отлично, всесторонне образованные, в партии я не встречал равных им.

— Допустим. Ну, и что же отсюда следует?

— В конце концов я считаю их людьми одной цели, а единство цели, понятное и осознанное глубоко, должно бы стереть, уничтожить философические противоречия...

— Значит — все-таки надежда на примирение жива? Это — зря, — сказал он. — Гоните ее прочь и как можно дальше, дружески советую вам! Плеханов тоже, по-вашему, человек одной цели, а вот я — между нами — думаю, что он — совсем другой цели, хотя и материалист, а не метафизик.

На этом беседа наша и кончилась. Я думаю, что нет надобности напоминать, что я воспроизвел ее не в точных словах, не буквально. В точности смысла — не сомневаюсь.

И вот я увидел пред собой Владимира Ильича Ленина еще более твердым, непреклонным, чем он был на Лондонском съезде. Но там он волновался, и были моменты, когда ясно чувствовалось, что раскол в партии заставляет переживать его очень тяжелые минуты.

Здесь он был настроен спокойно, холодновато и насмешливо, сурово отталкивался от бесед на философские темы и вообще вел себя настороженно. А. А. Богданов, человек удивительно симпатичный, мягкий и влюбленный в Ленина, но немножко самолюбивый, принужден был выслушивать весьма острые и тяжелые слова:

— Шопенгауэр говорит: «Кто ясно мыслит — ясно излагает», я думаю, что лучше этого он ничего не сказал. Вы, товарищ Богданов, излагаете неясно. Вы мне объясните в двух-трех фразах, что дает рабочему классу ваша «подстановка» и почему махизм — революционное марксизма?

Богданов пробовал объяснить, но он говорил действительно неясно и многословно.

— Бросьте, — советовал Владимир Ильич. — Кто-то, кажется — Жорес, сказал: «Лучше говорить правду, чем быть министром», я бы прибавил: и махистом.

Затем он азартно играл с Богдановым в шахматы и, проигрывая, сердился, даже унывал, как-то по-детски. Замечательно: даже и это детское уныние, так же как его удивительный смех, — не нарушали целостной слитности его характера.

Был на Капри другой Ленин — прекрасный товарищ, веселый человек, с живым и неутомимым интересом ко всему в мире, с поразительно мягким отношением к людям.

Как-то поздним вечером, когда все ушли гулять, он говорил мне и М. Ф. Андреевой, — невесело говорил, с глубоким сожалением:

— Умные, талантливые люди, не мало сделали для партии, могли бы сделать в десять раз больше, а — не пойдут они с нами! Не могут. И десятки, сотни таких людей ломает, уродует этот преступный строй.

В другой раз он сказал:

— Луначарский вернется в партию, он — менее индивидуалист, чем те двое. На редкость богато одаренная натура. Я к нему «питаю слабость» — черт возьми, какие глупые слова: питать слабость! Я его, знаете, люблю, отличный товарищ! Есть в нем какой-то французский блеск. Легкомыслие у него тоже французское, легкомыслие — от эстетизма у него.

Он подробно расспрашивал о жизни каприйских рыбаков, о их заработке, о влиянии попов, о школе — широта его интересов не могла не изумлять меня. Когда ему указали, что вот этот попик — сын бедного крестьянина, он сейчас же потребовал, чтоб ему собрали справки: насколько часто крестьяне отдают своих детей в семинариумы, и возвращаются ли дети крестьян служить попами в свои деревни?

— Вы — понимаете? Если это не случайное явление — значит, это политика Ватикана. Хитрая политика!

Не могу представить себе другого человека, который, стоя так высоко над людьми, умел бы сохранить себя от соблазна честолюбия и не утратил бы живого интереса к «простым людям».

Был в нем некий магнетизм, который притягивал к нему сердца и симпатии людей труда. Он не говорил поитальянски, но рыбаки Капри, видевшие и Шалапина и не мало других крупных русских людей, каким-то чутьем сразу выделили Ленина на особое место. Обаятелен был его смех — «задушевный» смех человека, который, прекрасно умея видеть неуклюжесть людской глупости и акробатические хитрости разума, умел наслаждаться детской наивностью «простых сердцем».

Старый рыбак, Джиованни Спадаро, сказал о нем:

— Так смеяться может только честный человек.

Качаясь в лодке, на голубой и прозрачной, как небо, волне, Ленин учился удить рыбу «с пальца» — лесой без удилица. Рыбаки объясняли ему, что подсекать надо, когда палец почувствует дрожь леси:

— Кози: дринь-дринь. Капиш?

Он тотчас подсек рыбу, повел ее и закричал с восторгом ребенка, с азартом охотника:

— Ага! Дринь-дринь!

Рыбаки оглушительно и тоже, как дети, радостно захохотали и прозвали рыбака:

«Синьор Дринь-дринь».

Он уехал, а они все спрашивали:

— Как живет синьор Дринь-дринь? Царь не схватит его, нет?

Не помню, до Владимира Ильича или после его на Капри был Г. В. Плеханов.

Несколько эмигрантов каприйской колонии — литератор Н. Олигер, Лоренц-Метнер, присужденный к смертной казни за организацию восстания в Сочи, Павел Вигдорчик и еще, кажется, двое — хотели побеседовать с ним. Он отказался. Это было его право, он — был большой человек, приехал отдохнуть. Но Олигер и Лоренц говорили мне, что он сделал это в форме очень обидной для них. Нервозный Олигер настаивал, что Г. В. сказано было нечто об «усталости от обилия желающих говорить, но не способных делать». Он, будучи у меня, действительно не пожелал никого видеть из местной колонии, — Владимир Ильич видел всех. Плеханов ни о чем не спрашивал, он уже все знал и сам рассказывал. По-русски широко талантливый, европейски воспитанный, он любил щегольнуть красивым, острым словом и, кажется, именно ради острого слова жестоко подчеркивал недостатки иностранных и русских товарищей. Мне показалось, что его остроты не всегда удачны, в памяти остались только неудачные: «не в меру умеренный Меринг», «самозванец Энрико Ферри, в нем нет железа ни золотника» — тут каламбур построен на слове ферро — железо. И все — в этом роде. Вообще же он относился к людям снисходительно, разумеется не так, как бог, но несколько похоже. Талантливейший литератор, основоположник партии, он вызвал у меня глубокое почтение, но не симпатию. Слишком много было в нем «аристократизма». Может быть, я сужу ошибочно. У меня нет особенной любви к ошибкам, но, как все люди, я тоже ошибаюсь. А факт остается фактом: редко встречал я людей до такой степени различных, как Г. В. Плеханов и В. И. Ленин. Это и естественно: один заканчивал свою работу разрушения старого мира, другой уже начал строить новый мир.

Жизнь устроена так дьявольски искусно, что, не умея ненавидеть, невозможно искренно любить. Уже только эта одна, в корне искажающая человека, необходимость раздвоения души, неизбежность любви сквозь ненависть осуждает современные условия жизни на разрушение.

В России, стране, где необходимость страдания про-

поведется как универсальное средство «спасения души», я не встречал, не знаю человека, который с такой глубиной и силой, как Ленин, чувствовал бы ненависть, отвращение и презрение к несчастиям, горю, страданию людей.

В моих глазах эти чувства, эта ненависть к драмам и трагедиям жизни особенно высоко поднимают Владимира Ленина, человека страны, где во славу и освящение страдания написаны самые талантливые евангелия и где юношество начинает жить по книгам, набитым однообразными, в сущности, описаниями мелких, будничных драм. Русская литература — самая пессимистическая литература Европы; у нас все книги пишутся на одну и ту же тему о том, как мы страдаем, — в юности и зрелом возрасте: от недостатка разума, от гнета самодержавия, от женщин, от любви к ближнему, от неудачного устройства вселенной; в старости: от сознания ошибок жизни, недостатка зубов, несварения желудка и от необходимости умереть.

Каждый русский, посидев «за политику» месяц в тюрьме или прожив год в ссылке, считает священной обязанностью своей подарить России книгу воспоминаний о том, как он страдал. И никто до сего дня не догадался выдумать книгу о том, как он всю жизнь радовался. А так как русский человек привык выдумывать жизнь для себя, делать же ее плохо умеет, то весьма вероятно, что книга о счастливой жизни научила бы его, как нужно выдумывать такую жизнь.

Для меня исключительно велико в Ленине именно это его чувство непримиримой, неугасимой вражды к несчастиям людей, его яркая вера в то, что несчастье не есть неустраняемая основа бытия, а — мерзость, которую люди должны и могут отместить прочь от себя.

Я бы назвал эту основную черту его характера воинствующим оптимизмом материалиста. Именно она особенно привлекала душу мою к этому человеку, — Человеку — с большой буквы.

В 17—18 годах мои отношения с Лениным были далеко не таковы, какими я хотел бы их видеть, но они не могли быть иными.

Он — политик. Он в совершенстве обладал тою четко выработанной прямолинейностью взгляда, которая необ-

ходима рулевому столь огромного, тяжелого корабля, каким является свинцовая крестьянская Россия.

У меня же органическое отвращение к политике, и я плохо верю в разум масс вообще, в разум же крестьянской массы — в особенности. Разум, не организованный идеей, — еще не та сила, которая входит в жизнь творчески. В разуме массы — нет идеи до поры, пока в ней нет сознания общности интересов всех ее единиц.

Тысячелетия живет она стремлением к лучшему, но это стремление создает из плоти ее хищников, которые ее же порабащают, ее кровью живут, и так будет до поры, пока она не осознает, что в мире есть только одна сила, способная освободить ее из плена хищников, — сила правды Ленина.

Когда в 17 году Ленин, приехав в Россию, опубликовал свои «тезисы», я подумал, что этими тезисами он приносит свою ничтожную количественно, героическую качественно рать политически воспитанных рабочих и всю искренно революционную интеллигенцию в жертву русскому крестьянству. Эта единственная в России активная сила будет брошена, как горсть соли, в пресное болото деревни и бесследно растворится, рассосется в ней, ничего не изменив в духе, быте, в истории русского народа.

Научная, техническая — вообще квалифицированная интеллигенция, с моей точки зрения, революционна по существу своему, и вместе с рабочей, социалистической интеллигенцией — для меня была самой драгоценной силой, накопленной Россией, — иной силы, способной взять власть и организовать деревню, я — в России 17 года не видел. Но эти силы, количественно незначительные и раздробленные противоречиями, могли бы выполнить свою роль только при условии прочнейшего внутреннего единения. Пред ними стояла грандиозная работа: овладеть анархизмом деревни, культивировать волю мужика, научить его разумно работать, преобразить его хозяйство и всем этим быстро двинуть страну вперед; все это достижимо лишь при наличии подчинения инстинктов деревни организованному разуму города. Первейшей задачей революции я считал создание таких условий, которые бы содействовали росту культурных сил страны. В этих целях я предложил устроить на Капри школу для рабочих и в годы реакции, 1907—1913, усиленно пытался всячески поднять бодрость духа рабочих.

Ради этой цели тотчас после февральского переворота, весной 17 года, была организована «Свободная ассоциация для развития и распространения положительных наук» — учреждение, которое ставило задачей своей, с одной стороны, организацию в России научно-исследовательских институтов, с другой — широкую и непрерывную популяризацию научных и технических знаний в рабочей среде. Во главе ассоциации встали крупные ученые, члены Российской Академии наук В. А. Стеклов, Л. А. Чугаев, академик Ферсман, С. П. Костычев, А. А. Петровский и ряд других. Деятельно собирались средства; С. П. Костычев уже приступил к поискам места для устройства исследовательского института по вопросам зооботаники.

Для большей ясности скажу, что меня всю жизнь угнетал факт подавляющего преобладания безграмотной деревни над городом, зоологический индивидуализм крестьянства и почти полное отсутствие в нем социальных эмоций. Диктатура политически грамотных рабочих, в тесном союзе с научной и технической интеллигенцией, была, на мой взгляд, единственно возможным выходом из трудного положения, особенно осложненного войной, еще более анархизировавшей деревню.

С коммунистами я расходился по вопросу об оценке роли интеллигенции в русской революции, подготовленной именно этой интеллигенцией, в число которой входят и все «большевики», воспитавшие сотни рабочих в духе социального героизма и высокой интеллектуальности. Русская интеллигенция — научная и рабочая — была, остается и еще долго будет единственной ломовой лошастью, запряженной в тяжкий воз истории России. Несмотря на все толчки и возбуждения, испытанные им, разум народных масс все еще остается силой, требующей руководства извне.

Так думал я 13 лет тому назад и так — ошибался. Эту страницу моих воспоминаний следовало бы вычеркнуть. Но — «написано пером — не вырубишь топором». К тому же: «на ошибках — учимся» — часто повторял Владимир Ильич. Пусть же читатели знают эту мою ошибку. Было бы хорошо, если б она послужила уроком для тех, кто склонен торопиться с выводами из своих наблюдений.

Разумеется, после ряда фактов подлейшего вредительства со стороны части спецов я обязан был пере-

оценить — и переоценил — мое отношение к работникам науки и техники. Такие переоценки кое-чего стоят, особенно — на старости лет.

Должность честных вождей народа — нечеловечески трудна. Но ведь и сопротивление революции, возглавляемой Лениным, было организовано шире и мощнее. К тому же надо принять во внимание, что с развитием «цивилизации» — ценность человеческой жизни явно понижается, о чем неоспоримо свидетельствует развитие в современной Европе техники истребления людей и вкуса к этому делу.

Но скажите голосом совести: насколько уместно и не слишком ли отвратительно лицемерие тех «моралистов», которые говорят о кровожадности русской революции, после того как они в течение четырех лет позорной общеевропейской бойни не только не жалели миллионы истребляемых людей, но всячески разжигали «до полной победы» эту мерзкую войну? Ныне «культурные нации» оказались разбиты, истощены, дичают, а победила общечеловеческая мещанская глупость: тугие петли ее и по сей день душат людей.

Много писали и говорили о жестокости Ленина. Разумеется, я не могу позволить себе смешную бестактность защиты его от лжи и клеветы. Я знаю, что клевета и ложь — узаконенный метод политики мещан, обычный прием борьбы против врага. Среди великих людей мира сего едва ли найдется хоть один, которого не пытались бы измазать грязью. Это — всем известно.

Кроме этого, у всех людей есть стремление не только принизить выдающегося человека до уровня понимания своего, но и попытаться свалить его под ноги себе, в ту липкую, ядовитую грязь, которую они, сотворив, наименовали «обыденной жизнью».

Мне отвратительно памятен такой факт: в 19 году, в Петербурге, был съезд «деревенской бедноты». Из северных губерний России явилось несколько тысяч крестьян, и сотни их были помещены в Зимнем дворце Романовых. Когда съезд кончился и эти люди уехали, то оказалось, что они не только все ванны дворца, но и огромное количество ценнейших северских, саксонских и восточных ваз загадили, употребляя их в качестве ночных горшков. Это было сделано не по силе нужды, — уборные дворца

оказались в порядке, водопровод действовал. Нет, это хулиганство было выражением желания испортить, опорочить красивые вещи. За время двух революций и войны я сотни раз наблюдал это темное, мстительное стремление людей ломать, исказить, осмеивать, порочить прекрасное.

Не следует думать, что поведение «деревенской бедноты» было подчеркнуто мною по мотивам моего скептического отношения к мужику, нет,— я знаю, что болезненным желанием изгадить прекрасное страдают и некоторые группы интеллигенции, например, те эмигранты, которые, очевидно, думают, что, если их нет в России,— в ней нет уже ничего хорошего.

Злостное стремление портить вещи исключительной красоты имеет один и тот же источник с гнусным стремлением опорочить во что бы то ни стало человека необыкновенного. Все необыкновенное мешает людям жить так, как им хочется. Люди жаждут — если они жаждут— вовсе не коренного изменения своих социальных навыков, а только расширения их. Основной стон и вопль большинства:

«Не мешайте нам жить, как мы привыкли!»

Владимир Ленин был человеком, который так помещал людям жить привычной для них жизнью, как никто до него не умел сделать это.

Ненависть мировой буржуазии к нему обнаженно и отвратительно ясна, ее синие, чумные пятна всюду блещут ярко. Отвратительная сама по себе, эта ненависть говорит нам о том, как велик и страшен в глазах мировой буржуазии Владимир Ленин — вдохновитель и вождь пролетариев всех стран. Вот он не существует физически, а голос его все громче, победоноснее звучит для трудящихся земли, и уже нет такого угла на ней, где бы этот голос не возбуждал волю рабочего народа к революции, к новой жизни, к строительству мира людей равных. Все более уверенно, крепче, успешней делают великое дело ученики Ленина, наследники его силы.

Меня восхищала ярко выраженная в нем воля к жизни и активная ненависть к мерзости ее, я любовался тем азартом юности, каким он насыщал все, что делал. Меня изумляла его нечеловеческая работоспособность. Его движения были легки, ловки, и скупой, но сильный жест вполне гармонировал с его речью, тоже скупой словами, обильной мыслью. И на лице, монгольского типа, горели,

играли эти острые глаза неутомимого борца против лжи и горя жизни, горели, прищуриваясь, подмигивая, иронически улыбаясь, сверкая гневом. Блеск этих глаз делал речь его еще более жгучей и ясной.

Иногда казалось, что неукротимая энергия его духа брызжет из глаз искрами и слова, насыщенные ею, блестят в воздухе. Речь его всегда вызывала физическое ощущение неотразимой правды.

Необычно и странно было видеть Ленина гуляющим в парке Горок,— до такой степени срослось с его образом представление о человеке, который сидит в конце длинного стола и, усмехаясь, поблескивая зоркими глазами рулевого, умело, ловко руководит прениями товарищей или же, стоя на эстраде, закинув голову, мечет в притихшую толпу, в жадные глаза людей, изголодавшихся о правде, четкие, ясные слова.

Они всегда напоминали мне холодный блеск железных стружек.

С удивительной простотой из-за этих слов возникала художественно выточенная фигура правды.

Азарт был свойством его природы, но он не являлся корыстным азартом игрока, он обличал в Ленине ту исключительную бодрость духа, которая свойственна только человеку, непоколебимо верующему в свое призвание, человеку, который всесторонне и глубоко ощущает свою связь с миром и до конца понял свою роль в хаосе мира,— роль врага хаоса. Он умел с одинаковым увлечением играть в шахматы, рассматривать «Историю костюма», часами вести спор с товарищем, удить рыбу, ходить по каменным тропам Капри, раскаленным солнцем юга, любоваться золотыми цветами дрока и чумазами ребятами рыбаков. А вечером, слушая рассказы о России, о деревне, завистливо вздыхал:

— А мало я знаю Россию. Симбирск, Казань, Петербург, ссылка и — почти все!

Он любил смешное и смеялся всем телом, действительно «заливался» смехом, иногда до слез. Краткому, характерному восклицанию «гм-гм» он умел придавать бесконечную гамму оттенков, от язвительной иронии до осторожного сомнения, и часто в этом «гм-гм» звучал острый юмор, доступный человеку очень зоркому, хорошо знающему дьявольские нелепости жизни.

Коренастый, плотный, с черепом Сократа и всевидящими глазами, он нередко принимал странную и немножко комическую позу — закинет голову назад и, наклонив ее к плечу, сунет пальцы рук куда-то под мышки, за жилет. В этой позе было что-то удивительно милое и смешное, что-то победоносно петушиное, и весь он в такую минуту светился радостью, великое дитя окаянного мира сего, прекрасный человек, которому нужно было принести себя в жертву вражды и ненависти ради осуществления дела любви.

До 18 года, до пошлейшей и гнусной попытки убить Ленина, я не встречался с ним в России и даже издали не видал его. Я пришел к нему, когда он еще плохо владел рукой и едва двигал простреленной шеей. В ответ на мое возмущение он сказал неохотно, как говорят о том, что надоело:

— Драка. Что делать? Каждый действует как умеет.

Мы встретились очень дружески, но, разумеется, пронзительные, всевидящие глазки милого Ильича смотрели на меня, «заблудившегося», с явным сожалением.

Через несколько минут Ленин азартно говорил:

— Кто не с нами, тот против нас. Люди, независимые от истории, — фантазия. Если допустить, что когда-то такие люди были, то сейчас их — нет, не может быть. Они никому не нужны. Все, до последнего человека, втянуто в круговорот действительности, запутанной, как она еще никогда не запутывалась. Вы говорите, что я слишком упрощаю жизнь? Что это упрощение грозит гибелью культуре, а?

Ироническое, характерное:

— Гм-гм...

Острый взгляд становится еще острее, и пониженным голосом Ленин продолжает:

— Ну, а по-вашему, миллионы мужиков с винтовками в руках — не угроза культуре, нет? Вы думаете, Учредилка справилась бы с их анархизмом? Вы, который так много шумите об анархизме деревни, должны бы лучше других понять нашу работу. Русской массе надо показать нечто очень простое, очень доступное ее разуму. Советы и коммунизм — просто.

— Союз рабочих с интеллигенцией, да? Это — не плохо, нет. Скажите интеллигенции, пусть она идет к нам.

Ведь, по-вашему, она искренне служит интересам справедливости? В чем же дело? Пожалуйте к нам: это именно мы взяли на себя колоссальный труд поднять народ на ноги, сказать миру всю правду о жизни, мы указываем народам прямой путь человеческой жизни, путь из рабства, нищеты, унижения.

Он засмеялся и беззлобно сказал:

— За это мне от интеллигенции и попала пуля.

А когда температура беседы приблизилась к нормальной, он проговорил с досадой и печалью:

— Разве я спорю против того, что интеллигенция необходима нам? Но вы же видите, как враждебно она настроена, как плохо понимает требования момента? И не видит, что без нас она бессильна, не дойдет к массам. Это — ее вина будет, если мы разобьем слишком много горшков.

Беседы с ним на эту тему возникали почти при каждой встрече. И, хотя на словах его отношение к интеллигенции оставалось недоверчивым, враждебным, — на деле он всегда правильно оценивал значение интеллектуальной энергии в процессе революций и как будто соглашался с тем, что, в сущности, революция является взрывом именно этой энергии, не нашедшей для себя в изжитых и тесных условиях возможности закономерного развития.

Помню, я был у него с тремя членами Академии наук. Шел разговор о необходимости реорганизации одного из высших научных учреждений Петербурга. Проводив ученых, Ленин удовлетворенно сказал:

— Это я понимаю. Это — умники. Все у них просто, все сформулировано строго, сразу видишь, что люди хорошо знают, чего хотят. С такими работать — одно удовольствие. Особенно понравился мне этот...

Он назвал одно из крупных имен русской науки, а через день уже говорил мне по телефону:

— Спросите С., пойдет он работать с нами?

И когда С. принял предложение, это искренно обрадовало Ленина, потирая руки, он шутил:

— Вот так, одного за другим, мы перетянем всех русских и европейских Архимедов, тогда мир, хочет не хочет, а — перевернется!

На 8 съезде партии Н. И. Бухарин, между прочим, сказал:

— Нация — значит буржуазия вместе с пролетариатом. Ни с чем не сообразно признавать право на самоопределение какой-то презренной буржуазии.

— Нет, извините,— возразил Ленин,— это сообразно с тем, что есть. Вы ссылаетесь на процесс дифференциации пролетариата от буржуазии, но — посмотрим еще, как он пойдет.

Затем, показав на примере Германии, как медленно и трудно развивается процесс этой дифференциации, и упомянув, что «не путем насилия внедряется коммунизм»,— он так высказался по вопросу о значении интеллигенции в промышленности, армии и кооперации. Цитирую по отчету «Известий» о прениях на съезде:

«Этот вопрос на предстоящем съезде должен быть решен с полной определенностью. Мы можем построить коммунизм лишь тогда, когда средства буржуазной науки и техники сделают его более доступным массам.

А для этого надо взять аппарат от буржуазии, надо привлечь к работе всех специалистов. Без буржуазных специалистов нельзя поднять производительной силы. Их надо окружить атмосферой товарищеского сотрудничества, рабочими комиссарами, коммунистами, поставить в такие условия, чтобы они не могли вырваться, но надо дать возможность работать им лучше, чем при капиталистах, ибо этот слой, воспитанный буржуазией, иначе работать не станет. Заставить работать из-под палки целый слой нельзя. Буржуазные специалисты привыкли к культурной работе, они двигали ее в рамках буржуазного строя, то есть обогащали буржуазию огромными материальными предприятиями и в ничтожных дозах уделали ее для пролетариата. Но они все-таки двигали культуру — в этом их профессия. Поскольку они видят, что рабочий класс не только ценит культуру, но и помогает проведению ее в массах, они меняют свое отношение к нам. Тогда они будут поработаны морально, а не только политически устранены от буржуазии. Надо вовлечь их в наш аппарат, а для этого надо иногда и на жертвы идти. По отношению к специалистам мы не должны придерживаться системы мелких придирок. Мы должны дать им как можно более хорошие условия существования. Это будет лучшая политика. Если вчера мы говорили о легализации мелкобуржуазных партий, а сегодня арестовывали меньшевиков и левых эсеров, то через эти колебания все же идет одна самая твердая ли-

ния: контрреволюцию отсекают, культурно-буржуазный аппарат использовать».

В этих прекрасных словах великого политика гораздо больше живого, реального смысла, чем во всех воплях мещанского, бессильного и, в сущности, лицемерного «гуманизма». К сожалению, многие из тех, кто должен был понять и оценить этот призыв к честному труду вместе с рабочим классом, — не поняли, не оценили призыва. Они предпочли вредительство из-за угла, предательство.

После отмены крепостного права многие из «дворянских людей», холопов по натуре, тоже оставались служить своим господам в тех же конюшнях, где, бывало, господа драли их.

Мне часто приходилось говорить с Лениным о жестокости революционной тактики и быта.

— Чего вы хотите? — удивленно и гневно спрашивал он. — Возможна ли гуманность в такой небывало свирепой драке? Где тут место мягкосердечию и великодушью? Нас блокирует Европа, мы лишены ожидавшейся помощи европейского пролетариата, на нас, со всех сторон, медведем лезет контрреволюция, а мы — что же? Не должны, не вправе бороться, сопротивляться? Ну, извините, мы не дурачки. Мы знаем: то, чего мы хотим, никто не может сделать, кроме нас. Неужели вы допускаете, что, если б я был убежден в противном, я сидел бы здесь?

— Какую мерой измеряете вы количество необходимых и лишних ударов в драке? — спросил он меня однажды после горячей беседы. На этот простой вопрос я мог ответить только лирически. Думаю, что иного ответа — нет.

Я очень часто одолевал его просьбами различного рода и порою чувствовал, что мои ходатайства о людях вызывают у Ленина жалость ко мне. Он спрашивал:

— Вам не кажется, что вы занимаетесь чепухой, пустяками?

Но я делал то, что считал необходимым, и косые, сердитые взгляды человека, который знал счет врагов пролетариата, не отталкивали меня. Он сокрушенно качал головою и говорил:

— Компрометируете вы себя в глазах товарищей, рабочих.

А я указывал, что товарищи, рабочие, находясь «в состоянии запальчивости и раздражения», нередко слыш-

ком легко и «просто» относятся к свободе, к жизни ценных людей и что, на мой взгляд, это не только компрометирует честное, трудное дело революции излишней, порою и бессмысленной жестокостью, но объективно вредно для этого дела, ибо отталкивает от участия в нем небольшое количество крупных сил.

— Гм-гм,— скептически ворчал Ленин и указывал мне на многочисленные факты измены интеллигенции рабочему делу.

— Между нами,— говорил он,— ведь многие изменяют, предательствуют не только из трусости, но из самолюбия, из боязни сконфузиться, из страха, как бы не пострадала возлюбленная теория в ее столкновении с практикой. Мы этого не боимся. Теория, гипотеза для нас не есть нечто «священное», для нас это — рабочий инструмент.

И все-таки я не помню случая, когда бы Ильич отказал в моей просьбе. Если же случалось, что они не исполнялись, это было не по его вине, а, вероятно, по силе тех «недостатков механизма», которыми всегда изобиловала неуклюжая машина русской государственности. Допустимо и чье-то злое нежелание облегчить судьбу ценных людей, спасти их жизнь. Возможно и здесь «вредительство», враг циничен так же, как хитер. Месть и злоба часто действуют по инерции. И, конечно, есть маленькие, психически нездоровые люди с болезненной жадной наслаждаться страданиями ближних.

Однажды он, улыбаясь, показал мне телеграмму: «Опять арестовали скажите чтобы выпустили».

Подписано: Иван Вольный.

— Я читал его книгу,— очень понравилась. Вот в нем я сразу по пяти словам чувствую человека, который понимает неизбежность ошибок и не сердится, не лезет на стену из-за личной обиды. А его арестуют, кажется, третий раз. Вы бы посоветовали ему уехать из деревни, а то еще убьют. Его, видимо, не любят там. Посоветуйте. Телеграммой.

Нередко меня очень удивляла готовность Ленина помочь людям, которых он считал своими врагами, и не только готовность, а и забота о будущем их. Так, например, одному генералу, ученому, химику, угрожала смерть.

— Гм-гм,— сказал Ленин, внимательно выслушав мой рассказ.— Так, по-вашему, он не знал, что сыновья

спрятали оружие в его лаборатории? Тут есть какая-то романтика. Но — надо, чтоб это разобрал Дзержинский, у него тонкое чутье на правду.

Через несколько дней он говорил мне по телефону в Петроград:

— А генерала вашего — выпустим, — кажется, уже и выпустили. Он что хочет делать?

— Гомоэмульсию...

— Да, да — карболку какую-то! Ну вот, пусть варит карболку. Вы скажите мне, чего ему надо...

И для того, чтобы скрыть стыдливую радость спасения человека, Ленин прикрывал радость иронией.

Через несколько дней он снова спрашивал:

— А как — генерал? Устроился?

В 19 году в петербургские кухни являлась женщина, очень красивая, и строго требовала:

— Я княгиня Ч., дайте мне кость для моих собак!

Рассказывали, что она, не стерпев унижения и голода, решила утопиться в Неве, но будто бы четыре собаки ее, почуяв недобрый замысел хозяйки, побежали за нею и своим воем, волнением заставили ее отказаться от самоубийства.

Я рассказал Ленину эту легенду. Поглядывая на меня искоса, снизу вверх, он все прищуривал глаза и наконец, совсем закрыв их, сказал угрюмо:

— Если это и выдуманно, то выдуманно неплохо. Шуточка революции.

Помолчал. Встал и, перебирая бумаги на столе, сказал задумчиво:

— Да, этим людям туго пришлось, история — мамаша суровая и в деле возмездия ничем не стесняется. Что ж говорить? Этим людям плохо. Умные из них, конечно, понимают, что вырваны с корнем и снова к земле не прирастут. А трансплантация, пересадка в Европу умных не удовлетворит. Не вживутся они там, как думаете?

— Думаю — не вживутся.

— Значит — или пойдут с нами, или же снова будут хлопотать об интервенции.

Я спросил: кажется мне это, или действительно он жалеет людей?

— Умных — жалею. Умников мало у нас. Мы — народ по преимуществу талантливый, но ленивого ума.

И, вспомнив некоторых товарищей, которые изжили классовую зоопсихологию, работают с «большевиками», он удивительно ласково заговорил о них.

Человек изумительно сильной воли, Ленин в высшей степени обладал качествами, свойственными лучшей революционной интеллигенции, — самоограничением, часто восходящим до самоистязания, самоуродования, до рахметовских гвоздей, отрицания искусства, до логики одного из героев Л. Андреева:

«Люди живут плохо — значит, я тоже должен плохо жить».

В тяжелом, голодном 19 году Ленин стыдился есть продукты, которые присылали ему товарищи, солдаты и крестьяне из провинции. Когда в его неуютную квартиру приносили посылки, он морщился, конфузился и спешил раздать муку, сахар, масло больным или ослабевшим от недоедания товарищам. Приглашая меня обедать к себе, он сказал:

— Копченой рыбой угощу — прислали из Астрахани.

И, нахмурив сократовский лоб, скосив в сторону всевидящие глаза, добавил:

— Присылают, точно барину! Как от этого отвадишь? Отказаться, не принять — обидишь. А кругом все голодают.

Неприхотливый, чуждый привычки к вину, табаку, занятый с утра до вечера сложной, тяжелой работой, он совершенно не умел заботиться о себе, но зорко следил за жизнью товарищей. Сидит за столом у себя в кабинете, быстро пишет и говорит, не отрывая пера от бумаги:

— Здравствуйте, как здоровье? Я сейчас кончу. Тут один товарищ, в провинции, скучает, видимо — устал. Надо поддержать. Настроение — не малая вещь!

Как-то в Москве прихожу к нему, спрашивает:

— Обедали?

— Да.

— Не сочиняете?

— Свидетели есть, — обедал в кремлевской столовой.

— Я слышал — скверно готовят там.

— Не скверно, а — могли бы лучше.

Он тотчас же подробно допросил: почему плохо, как может быть лучше?

И начал сердито ворчать:

— Что же они там, умелого повара не смогут найти? Люди работают буквально до обморока, их нужно кормить вкусно, чтобы они ели больше. Я знаю, что продуктов мало и плохи они,— тут нужен искусный повар.— И — процитировал рассуждение какого-то гигиениста о роли вкусных приправ в процессе питания и пищеварения. Я спросил:

— Как это вы успеваете думать о таких вещах?

Он тоже спросил:

— О рациональном питании?

И тоном своих слов дал мне понять, что мой вопрос неуместен.

Старый знакомый мой, П. А. Скороходов, тоже соромович, человек мягкой души, жаловался на тяжесть работы в Чеке. Я сказал ему:

— И мне кажется, что это не ваше дело, не по характеру вам.

Он грустно согласился:

— Совсем не по характеру.— Но, подумав, сказал:— Однако вспомнишь, что ведь Ильичу тоже, наверное, частенько приходится держать душу за крылья, и — стыдно мне слабости своей.

Я знал и знаю немало рабочих, которым приходилось и приходится, крепко сжав зубы, «держать душу за крылья» — насиловать органический «социальный идеализм» свой ради торжества дела, которому они служат.

Приходилось ли самому Ленину «держать душу за крылья»?

Он слишком мало обращал внимания на себя для того, чтобы говорить о себе с другими, он, как никто, умел молчать о тайных бурях в своей душе. Но однажды, в Горках, лаская чьих-то детей, он сказал:

— Вот эти будут жить уже лучше нас; многое из того, чем жили мы, они не испытают. Их жизнь будет менее жестокой.

И, глядя вдаль на холмы, где крепко осела деревня, он добавил раздумчиво:

— А все-таки я не завидую им. Нашему поколению удалось выполнить работу, изумительную по своей исторической значительности. Вынужденная условиями, жестокость нашей жизни будет понята и оправдана. Все будет понята, все!

Детей он ласкал осторожно, какими-то особенно легкими и бережными прикосновениями.

Как-то пришел к нему и — вижу! на столе лежит том «Войны и мира».

— Да, Толстой! Захотелось прочитать сцену охоты, да вот, вспомнил, что надо написать товарищу. А читать — совершенно нет времени. Только сегодня ночью прочитал вашу книжку о Толстом.

Улыбаясь, прижмурив глаза, он с наслаждением вытянулся в кресле и, понизив голос, быстро продолжал:

— Какая глыба, а? Какой матерый человечище! Вот это, батенька, художник... И — знаете, что еще изумительно? До этого графа подлинного мужика в литературе не было.

Потом, глядя на меня прищуренными глазками, спросил:

— Кого в Европе можно поставить рядом с ним?

Сам себе ответил:

— Некого.

И, потирая руки, засмеялся, довольный.

Я нередко подмечал в нем черту гордости Россией, русскими, русским искусством. Иногда эта черта казалась мне странно чуждой Ленину и даже наивной, но потом я научился слышать в ней отзвук глубоко скрытой, радостной любви к рабочему народу.

На Капри он, глядя, как осторожно рыбаки распутывают сети, изорванные и спутанные акулой, заметил:

— Наши работают бойчее.

А когда я выразил сомнение по этому поводу, он, не без досады, сказал:

— Гм-гм, а не забываете вы России, живя на этой шишке?

В. А. Десницкий-Строев сообщил мне, что однажды он ехал с Лениным по Швеции, в вагоне, и рассматривал немецкую монографию о Дюрере.

Немцы, соседи по купе, его спросили, что это за книга. В дальнейшем оказалось, что они ничего не слышали о своем великом художнике. Это вызвало почти восторг у Ленина, и дважды, с гордостью, он сказал Десницкому:

— Они своих не знают, а мы знаем.

Как-то вечером, в Москве, на квартире Е. П. Пешковой, Ленин, слушая сонаты Бетховена в исполнении Исаия Добровейн, сказал:

— Ничего не знаю лучше «Apassionata», готов слушать ее каждый день. Изумительная, нечеловеческая

музыка. Я всегда с гордостью, может быть, наивной, думаю: вот какие чудеса могут делать люди!

И, прищурясь, усмехаясь, он прибавил невесело:

— Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головке никого нельзя — руку откусят, и надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого насилия над людьми. Гм-гм,—должность адски трудная!

Сам почти уже больной, очень усталый, он писал мне 9. VIII. 1921 года:

Алексей Максимович!

Переслал Ваше письмо Л. Б. Каменеву.

Я устал так, что ничегошеньки не могу.

А у Вас кровохарканье, и Вы не едете! Это ей-же-ей и бессовестно и нерационально.

В Европе в *хорошем* санатории будете и лечиться и *втрое больше дела делать*.

Ей-ей.

А у нас ни лечения, ни дела — одна *суетня*. Зряшная *суетня*.

Уезжайте, вылечитесь. Не упрямитесь, прошу Вас.

Ваш Ленин.

Он больше года с поразительным упрямством настаивал, чтоб я уехал из России, и меня удивляло: как он, всецело поглощенный работой, помнит о том, что кто-то, где-то болен, нуждается в отдыхе?

Таких писем, каково приведенное, он написал разным людям, вероятно, десятки.

Я уже говорил о его совершенно исключительном отношении к товарищам, о внимании к ним, которое пронизательно догадывалось даже о неприятных мелочах их жизни. Но в этом его чувстве я никогда не мог уловить своекорыстной заботливости, которая иногда свойственна умному хозяину в его отношении к честным и умелым работникам.

Нет, это было именно сердечное внимание истинного товарища, чувство любви равного к равным. Я знаю, что между Владимиром Лениным и даже крупнейшими

людьми его партии невозможно поставить знака равенства, но сам он этого как бы не знал, а вернее — не хотел знать. Он был резок с людьми, споря с ними, безжалостно высмеивал, даже порою ядовито издевался — все это так.

Но сколько раз в его суждениях о людях, которых он вчера распинал и «разносил», я совершенно ясно слышал ноты искреннего удивления пред талантами и моральной стойкостью этих людей, пред их упорной и тяжелой работой адовых условий 1918—1921 годов, работой в окружении шпионов всех стран и партий, среди заговоров, которые гнилыми нарывами вздувались на истощенном войною теле страны. Работали — без отдыха, ели мало и плохо, жили в непрерывной тревоге.

Но сам Ленин как будто не испытывал тяжести этих условий и тревог жизни, потрясенной до самых глубочайших основ своих кровавой бурей гражданской распри.

И только один раз, в беседе с М. Ф. Андреевой, у него, по ее словам, вырвалось что-то подобное жалобе:

— Что же делать, милая Мария Федоровна? Надо бороться. Необходимо! Нам тяжело? Конечно! Вы думаете: мне тоже не бывает трудно? Бывает — и еще как! Но — посмотрите на Дзержинского, — на что стал похож он! Ничего не поделаешь! Пусть лучше нам будет тяжело, только бы одолеть!

Лично я слышал от него лишь одну жалобу:

— Жаль — Мартова нет с нами, очень жаль! Какой это удивительный товарищ, какой чистый человек!

Помню, как весело и долго хохотал он, прочитав где-то слова Мартова:

«В России только два коммуниста: Ленин и Коллонтай».

А посмеявшись, сказал, со вздохом:

— Какая умница! Эх...

Именно с уважением и удивлением он сказал, проводив из кабинета одного товарища «хозяйственника»:

— Вы давно знаете его? Он был бы во главе кабинета министров любой европейской страны.

И, потирая руки, посмеиваясь, добавил:

— Европа беднее нас талантливыми людьми.

Я предложил ему съездить в Главное Артиллерийское Управление посмотреть изобретенный одним большеви-

ком, бывшим артиллеристом, аппарат, корректирующий стрельбу по аэропланам.

— А что я в этом понимаю? — спросил он, но — поехал. В сумрачной комнате, вокруг стола, на котором стоял аппарат, собралось человек семь хмурых генералов, все седые, усатые старики, ученые люди. Среди них скромная штатская фигура Ленина как-то потерялась, стала незаметной. Изобретатель начал объяснять конструкцию аппарата. Ленин послушал его минуты две, три, одобрительно сказал:

— Гм-гм! — и начал спрашивать изобретателя так же свободно, как будто экзаменовал его по вопросам политики: — А как достигнута вами одновременно двойная работа механизма, устанавливающая точку прицела? И нельзя ли связать установку хоботов орудий автоматически с показаниями механизма?

Спрашивал про объем поля поражения и еще о чем-то, — изобретатель и генералы оживленно объясняли ему, а на другой день изобретатель рассказывал мне:

— Я сообщил моим генералам, что приедете вы с товарищем, но умолчал, кто — товарищ. Они не узнали Ильича, да, вероятно, и не могли себе представить, что он явится без шума, без помпы, охраны. Спрашивают: «Это техник, профессор? Ленин?» Страшно удивились: «Как? Не похоже! И — позвольте! — откуда он знает наши премудрости? Он ставил вопросы как человек технически сведущий! Мистификация!» — Кажется, так и не поверили, что у них был именно Ленин...

А Ленин, по дороге из ГАУ, возбужденно похохатывал и говорил об изобретателе:

— Ведь вот как можно ошибаться в оценке человека! Я знал, что это старый честный товарищ, но — из тех, что звезд с неба не хватают. А он как раз именно на это и оказался годен. Молодчина! Нет, генералы-то как окрысились на меня, когда я выразил сомнение в практической ценности аппарата! А я нарочно сделал это, — хотелось знать, как именно они оценивают эту остроумную штуку.

Залился смехом, потом спросил:

— Говорите, у И. есть еще изобретение? В чем дело? Нужно, чтоб он ничем иным не занимался. Эх, если б у нас была возможность поставить всех этих техников в условия, идеальные для их работы! Через двадцать пять лет Россия была бы передовой страной мира!

Да, часто слышал я его похвалы товарищам. И даже о тех, кто — по слухам — не пользовался его личными симпатиями, Ленин умел говорить, воздавая должное их энергии.

Я был очень удивлен его высокой оценкой организаторских способностей Л. Д. Троцкого, — Владимир Ильич подметил мое удивление.

— Да, я знаю, о моих отношениях с ним что-то врут. Но — что есть — есть, а чего нет — нет, это я тоже знаю. Он вот сумел организовать военных спецов.

Помолчав, он добавил потише и невесело:

— А все-таки не наш! С нами, а — не наш. Честолюбив. И есть в нем что-то... нехорошее, от Лассалья...

Эти слова: «С нами, а — не наш» — я слышал от него дважды, второй раз они были сказаны о человеке тоже крупном. Он умер вскоре после Владимира Ильича. Людей Владимир Ильич чувствовал, должно быть, очень хорошо.

Как-то, входя в его кабинет, я застал там человека, который, пятясь к двери задом, раскланивался с Владимиром Ильичем, а Владимир Ильич, не глядя на него, писал:

— Знаете этого? — спросил он, показав пальцем на дверь; я сказал, что раза два обращался к нему по делам «Всемирной литературы».

— И — что?

— Могу сказать: невежественный и грубый человек.

— Гм-гм... Подхалим какой-то. И, вероятно, жулик. Впрочем, я его первый раз вижу, может быть, ошибаюсь.

Нет, Владимир Ильич не ошибся; через несколько месяцев человек этот вполне оправдал характеристику Ленина.

О людях он думал много, обеспокоенный тем, что, по его словам:

— Аппарат у нас — пестренький, после Октября много вошло в него чужих людей. Это — по вине благочестивой и любимой вами интеллигенции, это — вследствие ее подлого саботажа, да-с!

Это он говорил, гуляя со мною в Горках. Не помню, почему я заговорил об Алексинском, кажется, он выкинул в это время какую-то дрянную штуку.

— Можете представить: с первой же встречи с ним у меня явилось к нему чисто физическое отвращение. Непобедимое. Никогда, никто не вызывал у меня такого

чувства. Приходилось вместе работать, всячески одергивал себя, неловко было, а — чувствую: не могу я терпеть этого выродка!

И, удивленно пожав плечами, сказал:

— А вот негодяя Малиновского не мог раскусить. Очень это темное дело, Малиновский...

Его отношение ко мне было отношением строгого учителя и доброго «заботливого друга».

— Загадочный вы человек,— сказал он мне шутливо,— в литературе как будто хороший реалист, а в отношении к людям — романтик. У вас все — жертвы истории. Мы знаем историю, и мы говорим жертвам: опрокидывайте жертвенники, ломайте храмы, долой богов! А вам хочется убедить меня, что боевая партия рабочего класса обязана прежде всего удобно устроить интеллигентов.

Может быть, я ошибаюсь, но мне казалось, что беседовать со мною Владимиру Ильичу было приятно. Он почти всегда предлагал:

— Приедете — позвоните, повидаемся.

А однажды сказал:

— Потолковать с вами всегда любопытно, у вас разнообразнее и шире круг впечатлений.

Расспрашивал о настроении интеллигенции, особенно внимательно об ученых,— я в то время работал с А. Б. Халатовым в «Комиссии по улучшению быта ученых».

Интересовался пролетарской литературой:

— Чего вы ждете от нее?

Я говорил, что жду много, но считаю совершенно необходимым организацию литвуза с кафедрами по языкознанию, иностранным языкам — Запада и Востока,— по фольклору, по истории всемирной литературы, отдельно — русской.

— Гм-гм,— говорил он, прищуриваясь и похохатывая.— Широко и ослепительно! Что широко — я не против, а вот — ослепительно будет, а? Своих-то профессоров у нас нет по этой части, а буржуазные такую историю покажут... Нет, сейчас нам этого не поднять. Годика три, пяток подождать надо.

И жаловался:

— Читать совершенно нет времени!

Усиленно и неоднократно подчеркивал агитационное значение работы Демьяна Бедного, но говорил:

— Грубоват. Идет за читателем, а надо быть немножко впереди.

К Маяковскому относился недоверчиво и даже раздраженно:

— Кричит, выдумывает какие-то кривые слова, и все у него не то, по-моему, — не то и мало понятно. Рассыпано все, трудно читать. Талантлив? Даже очень? Гм-гм, посмотрим! А вы не находите, что стихов пишут очень много? И в журналах целые страницы стихов, и сборники выходят почти каждый день.

Я сказал, что тяготение молодежи к песне — естественно в такие дни и что — на мой взгляд — посредственные стихи легче писать, чем хорошую прозу, и времени требуют стихи меньше; к тому же у нас очень много хороших учителей по технике стихосложения.

— Ну, что стихи легче прозы — я не верю! Не могу представить. С меня хоть кожу сдерите — двух строчек не напишу, — сказал он и нахмурился. — В массу надобно двинуть всю старую революционную литературу, сколько ее есть у нас и в Европе.

Он был русский человек, который долго жил вне России, внимательно разглядывал свою страну, — издали она кажется красочнее и ярче. Он правильно оценил потенциальную силу ее — исключительную талантливость народа, еще слабо выраженную, не возбужденную историей, тяжелой и нудной, но талантливость всюду, на темном фоне фантастической русской жизни блестящую золотыми звездами.

Владимир Ленин, большой, настоящий человек мира сего, — умер.

Эта смерть очень больно ударила по сердцам тех людей, кто знал его, очень больно!

Но черная черта смерти только еще резче подчеркнет в глазах всего мира его значение, — значение вождя всемирного трудового народа.

И если б туча ненависти к нему, туча лжи и клеветы вокруг имени его была еще более густа — все равно: нет сил, которые могли бы затемнить факел, поднятый Лениным в душной тьме обезумевшего мира.

И не было человека, который так, как этот, действительно заслужил в мире вечную память.

Владимир Ленин умер. Наследники разума и воли его — живы. Живы и работают так успешно, как никто, никогда, нигде в мире не работал.

1924, 1930

В. МАЯКОВСКИЙ

ВЛАДИМИР
ИЛЬИЧ
ЛЕНИН

Поэма

Ленин
и теперь
живее всех живых.
Наше знание —
сила
и оружие.
Люди — лодки.
Хотя и на суше.
Проживешь
свое
пока,
много всяких
грязных ракушек
налипает
нам
на бока.
А потом,
пробивши
бурю разозленную,
сядешь,
чтобы солнца близ,
и счищаешь
водорослей
бороду зеленую
и медуз малиновую слизь.
Я
себя
под Лениным чищу,
чтобы плыть
в революцию дальше.
Я боюсь
этих строчек тыщи,
как мальчишкой
бонься фальши.
Рассияют головою венчик,
я тревожусь,
не закрыли чтоб
настоящий,
мудрый,
человечий
ленинский
огромный лоб.

Я боюсь,
 чтоб шествия
 и мавзолей,
поклонений
 установленный статут
не залили б
 приторным елеем
ленинскую
 простоту.
За него дрожу,
 как за зеницу глаза,
чтоб конфетной
 не был
 красотой оболган.
Голосует сердце —
 я писать обязан
по мандату долга.
Вся Москва.
 Промерзшая земля
 дрожит от гуда.
Над кострами
 обмороженные с ночи.
Что он сделал?
 Кто он
 и откуда?
Почему
 ему
 такая почесть?
Слово за́ словом
 из памяти таская,
не скажу
 ни одному —
 на место сядь.
Как бедна
 у мира
 сло́ва мастерская!
Подходящее
 откуда взять?
У нас
 семь дней,
у нас
 часов — двенадцать.
Не прожить
 себя длинней.

Смерть
не умеет извиняться.
Если ж
с часами плохо,
мала
календарная мера,
мы говорим —
«эпоха»,
мы говорим —
«эра».
Мы
спим
ночь.
Днем
совершаем поступки.
Любим
свою толочь
воду
в своей ступке.
А если
за всех смог
направлять
потоки явлений,
мы говорим —
«пророк»,
мы говорим —
«гений».
У нас
претензий нет,—
не зовут —
мы и не лезем,
нравимся
своей жене,
и то
довольны донельзя.
Если ж,
телом и духом слит,
прет
на нас непохожий,
шпилим —
«царственный вид»,
удивляемся —
«дар божий».

Он, как вы
и я,
совсем такой же,
только,
может быть,
у самых глаз
мысли
больше нашего
морщият кожей,
да насмешливей
и тверже губы,
чем у нас.
Не сатрапья твердость,
триумфаторской коляской
мнущая
тебя,
подергивая вожжи.
Он
к товарищу
милел
людскою лаской.
Он
к врагу
вставал
железа тверже.
Знал он
слабости,
знакомые у нас,
как и мы,
перемогал болезни.
Скажем,
мне бильярд —
отращиваю глаз,
шахматы ему —
они вождям
полезней.
И от шахмат
перейдя
к врагу натурой,
в люди
выведа
вчерашних пешек строй,
становил
рабочей — человечьей диктатурой

объявляет
покоренной
силу деревенщины.
Город грабил,
грёб,
грабастал,
глыбил
пуза касс,
а у станков
худой и горбастый
встал
рабочий класс.
И уже
грозил,
взвивая трубы за небо.
— Нами
к золоту
пути мостите.
Мы родим,
пошлем,
придет когда-нибудь
человек,
борец,
каратель,
мститель! —
И уже
смешались
облака и дымы,
будто
рядовые
одного полка.
Небеса
становятся двойными,
дымы
забивают облака.
Товары
растут,
меж нищими высясь.
Директор,
лысый черт,
пощелкал счетами,
буркнул:
«кризис!»

Время нового зовет
Стеньку Разина».
Внуки
спросят: — Что такое капиталист? —
Как дети
теперь: — Что это
г-о-р-о-д-о-в-о-й?..—
Для внуков
пишу
в один лист
капитализма
портрет родовой.
Капитализм
в молодые года
был ничего,
деловой парнишка:
первый работал —
не боялся тогда,
что у него
от работ
засалится манишка.
Трико феодальное
ему тесно!
Лез
не хуже,
чем нынче лезут.
Капитализм
революциями
своей весной
расцвел
и даже
подпевал «Марсельезу».
Машину
он
задумал и выдумал.
Люди,
и те — ей!
Он
по вселенной
видимо-невидимо

Будет.
С этих нар рабочий сын —
пролетариатоводец.—
Им уже
земного шара мало.
И рукой,
отяжелевшей
от колец,
тянется
упитанная
туша капитала
ухватить
чужой горлѣц.
Идут,
железом
клацая и лацкая.
— Убивайте!
Двум буржуям тесно! —
Каждое село —
могила братская,
городá —
завод протезный.
Кончилось —
столы
накрыли чайные.
Пирогом
победа на столе.
— Слушайте
могил чревовещание,
кастаньеты костылей!
Снова
нас
увидите
в военной яви.
Эту
время
не простит вину.
Он расплатится,
придет он
и объявит

вам
и вашинской войне
войну! —

Вырастают
на земле
слезы озёра,
слишком
непролазны
крови топи.

И клонились
одиночки фантазеры
над решением
немыслимых утопий.

Голову
об жизнь
разбили филантропы.

Разве
путь миллионам —
филантропов тропы?

И уже
бессилен
сам капиталист,
так
его
машина размахалась,—
строй его
несет,
как пожелтый лист,
кризисов
и забастовок хаос.

— В чей карман
стекаем
золотою лавой?

С кем идти
и на кого пенять? —

Класс миллионоглавый
напрягает глаз —
себя понять.

Время
часы
капитала
кράло,

побивая
прожекторов яркость.
Время
родило
брата Карла —
старший
ленинский брат
Маркс.
Маркс!
Встает глазам
седин портретных рама.
Как же
жизнь его
от представлений далека!
Люди
видят
замурованного в мрамор,
гипсом
холодеющего старика.
Но когда
революционной тропкой
первый
делали
рабочие
шажок,
о, какой
невероятной топкой
сердце Маркс
и мысль свою зажег!
Будто сам
в заводе каждом
стоя сто́йма,
будто
каждый труд
размозоливая лично,
граблящих
прибавочную стоимость
за руку
поймал с поличным.
Где дрожали тельцем,
не вздымая глаз свой
даже
до пупа
биржевика-дельца,

Маркс
повел
разить
войною классовой
золотого
до быка
доросшего тельца.
Нам казалось —
в коммунизмовы затоны
только
волны случая
закинут
нас
юля.

Маркс
раскрыл
истории законы,
пролетариат
поставил у руля.
Книги Маркса —
не сухие
не набора гранки,
цифр столбцы —

Маркс
рабочего
поставил на ноги
и повел
колоннами
стройнее цифр.

Вел
и говорил:
сражаясь лягте,
дело —
корректур
выкладкам ума.
Он придет,
придет
великий практик,
поведет
полями битв,
а не бумага!
Жерновами дум
последнее меля

и рукой
дописывая
восковой,
знаю,
Марксу
виделось
видение Кремля
и коммуны
флаг
над красною Москвой.
Назревали,
зрели дни,
как дыни,
пролетариат
взрослел
и вырос из ребят.
Капиталовы
отвесные твердыни
валом размывают
и дробят.
У каких-нибудь
годов
на расстоянии
сколько гроз
гудит
от нарастаний.
Завершается
восстанием
гнева нарастание,
нарастают
революции
за вспышками восстаний.
Крут
буржуев
озверевший норов.
Тьерами растерзанные,
воя и стенáя,
тени прадедов,
парижских коммунаров,
и сейчас
вопят
парижскою стеною:

Я знал рабочего. Он был безграмотный.
Не разжевал даже азбуки соль.
Но он слышал, как говорил Ленин,
и он знал — всё.
Я слышал рассказ крестьянина-сибирца.
Отобрали, отстояли винтовками
и раем разделали селеньеце.
Они не читали и не слышали Ленина,
но это были ленинцы.
Я видел горы — на них и куст не рос.
Только тучи на скалы упали ничком.
И на сто верст у единственного горца
лохмотья сияли ленинским значком.
Скажут — это о булавках áхи.
Барышни их вкальвают из кокетливых причуд.
Не булавка вколота — значком
прожгло рубахи сердце,
полное любовью к Ильичу.

Этого
 не объяснишь
 церковными славянскими
 крюками,
 и не бог
 ему
 велел —
 избранник будь!
 Шагом человеческим,
 рабочими руками,
 собственною головой
 прошел он
 этот путь.

Сверху
 взгляд
 на Россию брось —
 рассинелась речками,
 словно
 разгулялась
 тысяча розг,
 словно
 плетью исполосована.

Но синей,
 чем вода весной,
 синяки
 Руси крепостной.

Ты
 с боков
 на Россию глянь —
 и куда
 глаза ни кинь,
 упрутся
 небу в склянь
 горы,
 каторги
 и рудники.

Но и каторг
 больнее была
 у фабричных станков
 кабала.

Были страны
 богатые более,
 красивее видал
 и умней.

за освобождение
рабочего класса.—
Ленинизм идет
все далее
и более
вширь
учениками
Ильичевой выверки.
Кровью
вписан
героизм подполья
в пыль
и в слякоть
бесконечной Володимирки.
Нынче
нами
шар земной заверчен.
Даже
мы
в кремлевских креслах если,—
скольким
вдруг
из-за декретов Нерчинск
кандалами
раззвенится в кресле!
Вам
опять
напомню птичий путь я.
За волчком —
трамваев
электрическая рысь.
Кто
из вас
решетчатые прутья
не царапал
и не грыз?!
Лоб
разбей
о камень стенки тесной —
за тобою
смыли камеру
и замели.
«Служил ты недолго, но честно
на благо родимой земли».

Америку
пересекаешь
идешь Чухломой — в экспрессном купе,
тебе
в глаза
вонзается теперь
РКП
и в скобках
маленькое «б».
Теперь
на Марсов охотится Пулково,
перебирая
небесный ларчик.
Но миру
эта
строчная буква
в сто крат красней,
грандиозней
и ярче.
Слова
у нас
до важного самого
в привычку входят,
ветшают, как платье.
Хочу
сиять заставить заново
величественнейшее слово
«ПАРТИЯ».
Единица!
Кому она нужна?!
Голос единицы
тоньше писка.
Кто ее услышит? —
Разве жена!
И то
если не на базаре,
а близко.
Партия —
это
единый ураган,
из голосов спрессованный
тихих и тонких,

от него
 лопаются
 укрепления врага,
как в канонаду
 от пушек
 перепонки.
Плохо человеку,
 когда он один.
Горе одному,
 один не воин —
каждый дюжий
 ему господин,
и даже слабые,
 если двое.
А если
 в партию
 сгрудились малые —
сдайся, враг,
 замри
 и ляг!
Партия —
 рука миллионопалая,
сжатая
 в один
 громающий кулак.
Единица — вздор,
 единица — ноль,
один —
 даже если
 очень важный —
не подымет
 простое
 пятивершковое бревно,
тем более
 дом пятиэтажный.
Партия —
 это
 миллионов плечи,
друг к другу
 прижатые туго.
Партией
 стройки
 в небо взмечем,

держа
 и вздымая друг друга.
 Партия —
 спинной хребет рабочего класса.
 Партия —
 бессмертие нашего дела.
 Партия — единственное,
 что мне не изменит.
 Сегодня приказчик,
 а завтра
 царства стираю в карте я.
 Мозг класса,
 дело класса,
 сила класса,
 слава класса —
 вот что такое партия.
 Партия и Ленин —
 близнецы-братья,—
 кто более
 матери-истории ценен?
 Мы говорим Ленин,
 подразумеваем —
 партия,
 мы говорим
 партия,
 подразумеваем —
 Ленин.
 Еще
 горой
 коронованные главы,
 и буржуи
 чернеют,
 как вороны в зиме,
 но уже
 горение
 рабочей лавы
 по кратеру партии
 рвется из-под земель.
 Девятое января.
 Конец гапонщины.
 Падаем,
 царским свинцом косимы.
 Бредня
 о милости царской прикончена

с бойней Мукденской,
с треском Цусимы.
Довольно!
Не верим
разговорам посторонним!
Сами
с оружием
встали пресненцы.
Казалось —
сейчас
покончим с треном,
за ним
и буржуево
кресло треснетса.
Ильич уже здесь.
Он изо дня на́ день
проводит
с рабочими
пятый год.
Он рядом
на каждой стоит баррикаде,
ведет
всего восстания ход.
Но скоро
прошла
лукавая вестийка —
«свобода».
Бантики люди надели,
царь
на балкон
выходил с манифестиком.
А после
«свободной»
медовой недели
речи,
банты
и пения плавные
пушечный рев
покрывает басом:
по крови рабочей
пустился в плавание
царев адмирал,
каратель Дубасов.

и эти раны
 в рабочем стане
 покажутся
 школой
 первой ступени
 в грозе и буре
 грядущих восстаний.

И Ленин
 снова
 в своем изгнании
 готовит
 нас
 перед новой битвой.

Он учит
 и сам вбирает знание,
 он партию
 вновь
 собирает разбитую.

Смотри —
 забастовки
 вздывают год,
 еще —
 и к восстанию сумеешь сдвинуться ты.

Но вот
 из лет
 подымается
 страшный четырнадцатый.

Так пишут —
 солдат-де
 раскурит трубку,
 балакать пойдет
 о походах древних,
 но эту
 всемирнейшую мясорубку
 к какой приравнять
 к Полтаве,
 к Плевне?!

Имперализм
 во всем оголении —
 живот наружу,
 с вставными зубами,
 и море крови
 ему по колени —

сжирает страны,
вздымая штыками.
Вокруг него
его подхалимы —
патриоты —
приспособились Вовы —
пишут,
руки предавшие вымыв:
— Рабочий,
дерись
до последней крови! —
Земля —
горой
железного лома,
а в ней
человечья
рвань и рваль.
Среди
всего сумасшедшего дома
трезвый
встал
один Циммервальд.
Отсюда
Ленин
с горсточкой товарищей
встал над миром
и поднял над
мысли
ярче
всякого пожараща,
голос
громче
всех канонад.
Оттуда —
миллионы
канонадою в уши,
стотысячесабельной
конницы бег,
отсюда,
против
и сабель и пушек, —
скуластый
и лысый
один человек.

— Солдаты!
Буржуи,
предав и про́дав,
к туркам шлют
за Вердэн,
на Двину.
Довольно!
Превратим
войну народов
в гражданскую войну!
Довольно
разгромов,
смертей и ран,
у наций
нет
никакой вины.
Против
буржуазии всех стран
подыдем
знамя
гражданской войны! —
Думалось:
сразу
пушка-печка
чихнет огнем
и сдунет гнилью,
потом поди,
ищи человечка,
поди,
вспоминай его фамилию.
Глоткой орудий,
шипевших и вывших,
друг другу
страны
орут —
на колени!
Додрались,
и вот
никаких победивших —
один победил
товарищ Ленин.
Империализма прорва!
Мы
истожили терпенье ангельское.

Ты
 восставшею
 Россией прорвана
 от Тавриза
 и до Архангельска.
 Империя —
 это тебе не кúра!
 Клювастый орел
 с двуглавою властью.
 А мы,
 как докуренный окуроч,
 просто
 сплюнули
 их династью.
 Огромный,
 покрытый кровавой ржою,
 народ,
 голодный и голоштаный,
 к Советам пойдет
 или будет
 буржую
 таскать,
 как и встарь,
 из огня каштаны?
 — Народ
 разорвал
 оковы царьи,
 Россия в буре,
 Россия в грозе,—
 читал
 Владимир Ильич
 в Швейцарии,
 дрожа,
 волнуясь
 над кипой газет.
 Но что
 по газетным узнаешь ключьям?
 На аэроплане
 прорваться б ввысь,
 туда,
 на помощь
 к восставшим рабочим,—
 одно желанье,
 единая мысль.

на мушку Ленина!
И партия в Кресты Зиновьева!
снова
ушла в подполье,
Ильич на Разливе,
Ильич в Финляндии.
Но ни чердак,
ни шалаш,
ни поле
вождя
не дадут
озверелой банде их,
Ленина не видно,
но он близ.
По тому,
работа движется как,
видна
направляющая
ленинская мысль,
видна
ведущая
ленинская рука.
Словам Ильичевым —
лучшая почва:
падают,
сейчас же
дело растя,
и рядом
уже
с плечом рабочего —
плечи
миллионов крестьян.
И когда
осталось
на баррикады выйти,
день
наметив
в ряду недель,
Ленин
сам
явился в Питер:
— Товарищи,
довольно тянуть канитель!

Кто мчит с приказом,
кто в куче спорящих,
кто щелкал
затвором
на левом колене.
Сюда
с того конца коридорища
бочком
пошел
незаметный Ленин.
Уже
Ильичем
поведенные в битвы,
еще
не зная
его по портретам,
толкались,
орали,
острее бритвы
солдаты друг друга
крыли при этом.
И в этой желанной
железной буре
Ильич,
как будто
даже заспанный,
шагал,
становился
и глаз, сощуря,
вонзал,
заложивши
руки за спину.
В какого-то парня
в обмотках,
лохматого,
уоставил
без промаха бьющий глаз,
как будто
сердце
с-под слов выматывал,
как будто
душу
тащил из-под фраз.

Но фронт
 без боя
 слова эти взяли —
деревня
 и город
 декретами зáлит,
и даже
 безграмотным
 сердце прожег.
Мы знаем,
 не нам,
 а им показали,
какое такое бывает
 «ужо».
Переходило
 от близких к ближним,
от ближних
 дальним взрывало сердца:
«Мир хижинам,
война,
 война,
 война дворцам!»
Дрались
 в любом заводе и цехе,
горохом
 из городов вытряхали,
 а сзади
шаганье октябрьское
 метило вехи
пылающих
 дворянских усадеб.
Земля —
 подстилка под ихними порками,
и вдруг
 ее,
 как хлебища в узел,
со всеми ручьями ее
 и пригорками
крестьянин взял
 и зажал, закорузел.
В очках
 манжетщики,
 злостью похаркав,

ползли туда,
 где царство да графство.
 Дорожка скатертью!
 Мы и кухарку
 каждую
 выучим
 управлять государством!
 Мы жили
 пока
 производством ротаций.
 С окопов
 летело в немецкие уши:
 — Пора кончать!
 Выходите брататься! —
 И фронт
 расползлся
 в улитки теплушек.
 Таковую ли
 течь
 загородите горстью?
 Казалось —
 наша лодчонка кренится —
 Вильгельмов сапог,
 Николаева шпористой,
 сотрет
 Советской страны границы.
 Пошли эсеры
 в плащах распашонкой,
 ловили бегущих
 в свое словоблудьище,
 тащили
 по-рыцарски
 глупой шпажонкой
 красиво
 сразить
 броневые чудища!
 Ильич
 петушившимся
 крикнул:
 — Ни с места!
 Пусть партия
 взвалит
 и это бремя.

Возьмем
 передышку похабного Бреста.
 Потеря — пространство,
 выигрыш — время.—
 Чтоб не передóхнуть
 нам
 в передышку,
 чтоб знал —
 запомнят удáры мои,—
 себя
 не муштровкой,
 сознанием вышколи,
 стройся
 рядами
 Красной Армии.
 Историки
 с гидрой плакаты выдерут
 — чи эта гидра была,
 чи нет? —
 А мы
 знавали
 вот эту гидру
 в ее
 натуральной величине.
 «Мы смело в бой пойдем
 за власть Советов
 и как один умрем
 в борьбе за это!»
 Деникин идет.
 Деникина выкинут,
 обрушенный пушкой
 подымут очаг.
 Тут Врангель вам —
 на смену Деникину.
 Барона уронят —
 уже Колчак.
 Мы жрали кору,
 ночевка — болотце,
 но шли
 миллионами красных звезд,
 и в каждом — Ильич,
 и о каждом заботится
 на фронте
 в одиннадцать тысяч верст.

Где порт?
 Маяки
 поломались в порту,
 кренимся,
 мачтами
 волны крестя!
 Нас опрокинет —
 на правом борту
 в сто миллионов
 груз крестьян.
 В восторге враги
 заливаются воя,
 но так
 лишь Ильич умел и мог —
 он вдруг
 повернул
 колесо рулевое
 сразу
 на двадцать румбов вбок.
 И сразу тишь,
 дивящая даже;
 крестьяне
 подвозят
 к пристани хлеб.
 Обычные вывески
 — купля —
 — продажа —
 — нэп.
 Прищурился Ленин:
 — Чинитесь пока чего,
 аршину учишь,
 не научишься —
 плох.—
 Команду
 усталую
 берег покачивал.
 Мы к буре привыкли,
 что за подвох?
 Залив
 Ильичем
 указан глубокий
 и точка
 смычки-причала
 найдена,

и плавно
 в мир,
 строительству в доки,
 вошла
 Советских республик громадина.
 И Ленин
 сам
 где железо,
 где дерево
 носил
 чинить
 пробитое место.
 Стальными листами
 вздымал
 и примеривал
 кооперативы,
 лавки
 и тресты.
 И снова
 становится
 Ленин штурман,
 огни по бортам,
 впереди и сзади.
 Теперь
 от абордажей и штурма
 мы
 перейдем
 к трудовой осаде.
 Мы
 отошли,
 рассчитавши точно.
 Кто разложился —
 на берег
 за вóрот.
 Теперь вперед!
 Отступление окончено.
 РКП,
 команду на борт!
 Коммуна — столетия,
 что́ десять лет для ней?
 Вперед —
 и в прошлом
 скроется нэпчик.

шагов Ильича
от победы к победе.
Революции —
тяжелые вещи,
один не подынешь —
согнется нога.
Но Ленин
меж равными
был первейший
по силе воли,
ума рычагам.
Подымаются страны
одна за одной —
рука Ильича
указывала верно:
народы —
черный,
белый
и цветной —
становятся
под знамя Коминтерна.
Столпов империализма
непреклонные колонны —
буржуи
пяти частей света,
вежливо
приподымая
цилиндры и короны,
кланяются
Ильичевой республике Советов.
Нам
не страшно
усилие ничье,
мчим
вперед
паровозом труда...
и вдруг
стопудовая весть —
с Ильичем
удар.

Отчего
 глаза
 краснее ложи?
 Что с Калининым?
 Держится еле.
 Несчастье?
 Какое?
 Быть не может!
 А если с ним?
 Нет!
 Неужели?
 Потолок
 на нас
 пошел снижаться вороном.
 Опустили головы —
 еще нагни!
 Задрожали вдруг
 и стали черными
 люстр расплывшихся огни.
 Захлебнулся
 колокольчика ненужный щелк.
 Превозмог себя
 и встал Калинин.
 Слезы не сжуешь
 с усов и щек.
 Выдали.
 Блестят у бороды на клине.
 Мысли смешались,
 голову мнут.
 Кровь в виски,
 клокочет в вене:
 — Вчера
 в шесть часов пятьдесят минут
 скончался товарищ Ленин! —
 Этот год
 видал,
 чего не взвидят сто.
 День
 векам
 войдет
 в тоскливое преданье.
 Ужас
 из железа
 выжал стон.

Стариками
 рассерьезничались дети,
и, как дети,
 плакали седобородые.
Ветер
 всей земле
 бессонницею выл,
и никак
 восставшей
 не додумать до конца,
что вот гроб
 в морозной
 комнатеночке Москвы
революции
 и сына и отца.
Конец,
 конец,
 конец.
 Кого
уверить!
 Стекло —
 и видите под...
Это
 его
 несут с Павелецкого
по городу,
 взятому им у господ.
Улица,
 будто рана сквозная —
так болит
 и стонет так.
Здесь
 каждый камень
 Ленина знает
по топоту
 первых
 октябрьских атак.
Здесь
 всё,
 что каждое знамя
 вышило,
задумано им
 и велено им.

Здесь
каждая башня
Ленина слышала,
за ним
пошла бы
в огонь и в дым.

Здесь
Ленина
знает
каждый рабочий,
сердца́ ему
ветками елок стели.
Он в битву вел,
победу пророчил,
и вот
пролетарий —
всего властелин.

Здесь
каждый крестьянин
Ленина имя
в сердце
вписал
любовней, чем в святцы.

Он зёмли
велел
назвать своими,
что дедам
в гробах,
засеченным, снятся.

И коммунары
с-под площади Красной,
казалось,
шепчут:
— Любимый и милый!

Живи,
и не надо
судьбы прекрасней —
сто раз сразимся
и ляжем в могилы! —

Сейчас
прозвучали б
слова чудотворца,
чтоб нам умереть
и его разбудят,—

плотина улиц
враспашку раствóрится,
и с песней
на́ смерть
ринутся люди.
Но нету чудес,
и мечтать о них нечего.
Есть Ленин,
гроб и согнутые плечи.
Он был человек
до конца человеческого —
неси
и казись
тоской человеческой.
Вовек
такого
бесценного груза
еще
не несли
океаны наши,
как гроб этот красный,
к Дому Союзов
плывущий
на спинах рыданий и маршей.
Еще
в караул
вставала в почетный
суровая гвардия
ленинской выправки,
а люди
уже
прожидают, впечатаны
во всю длину
и Тверской
и Димитровки.
В семнадцатом
было —
в очередь дочери
за хлебом не вышлешь —
завтра съем!
Но в эту
холодную,
страшную очередь

с детьми и с больными
встали все.
Деревни
строились
с городом рядом.
То мужеством горе,
то детскими вызвенит.
Земля труда
проходила парадом —
живым
итогом
ленинской жизни.
Желтое солнце,
косое и лаковое,
взойдет,
лучами к подножью кидается.
Как будто
забитые,
надежду оплакивая,
склоняясь в горе,
проходят китайцы.
Вплывали
ночи
на спинах дней,
часы мешая,
путая даты.
Как будто
не ночь
и не звезды на ней,
а плачут
над Лениным
негры из Штатов.
Мороз небывалый
жарил подошвы.
А люди
днюют
давкою тесной.
Даже
от холода
бить в ладоши
никто не решается —
нельзя,
неуместно.

Мороз хватает
и тащит,
как будто
пытает,
насколько в любви закаленные.
Врывается в толпы.
В давку запутан,
вступает
вместе с толпой за колонны.
Ступени растут,
разрастаются в риф.
Но вот
затихает
дыханье и пенье,
и страшно ступить —
под ногою обрыв —
бездонный обрыв
в четыре ступени.
Обрыв
от рабства в сто поколений,
где знают
лишь золота звонкий резон.
Обрыв
и край —
это гроб и Ленин,
а дальше —
коммуна
во весь горизонт.
Что увидишь?!
Только лоб его лишь,
и Надежда Константиновна
в тумане
за...
Может быть,
в глаза без слез
увидеть можно больше.
Не в такие
я
смотрел глаза.
Знамен
плывущих
склоняется шелк
последней
почестью отданной:

«Прощай же, товарищ,
ты честно прошел
свой доблестный путь, благородный».
Страх.
Закрой глаза
и не гляди —
как будто
идешь
по проволоке прѳвода.
Как будто
минуту
один на один
остался
с огромной
единственной правдой.
Я счастлив.
Звенящего марша вода
относит
тело мое невесомое.
Я знаю —
отныне
и навсегда
во мне
минута
эта вот самая.
Я счастлив,
что я
этой силы частица,
что общие
даже слезы из глаз.
Сильнее
и чище
нельзя причаститься
великому чувству
по имени —
класс!
Знамѳнные
снова
склоняются крылья,
чтоб завтра
опять
подняться в бой —
«Мы сами, родимый, закрыли
орлиные очи твои».

СОДЕРЖАНИЕ

Н. К. Крупская. О Владимире Ильиче. <i>Из воспоминаний</i>	5
В. Д. Бонч-Бруевич. В. И. Ленин в Петрограде и в Москве. 1917—1920. <i>Воспоминания</i>	233
А. В. Луначарский. Ленин и молодежь. <i>Доклад в день революционного студенчества в Коммунистическом университете им. Я. М. Сверд- лова. 25 января 1924 года</i>	273
М. Горький. В. И. Ленин. <i>Очерк</i>	299
В. Маяковский. Владимир Ильич Ленин. <i>Поэма</i>	341

ЮНОШЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

**Н. К. КРУПСКАЯ, В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧ, А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ,
М. ГОРЬКИЙ, В. МАЯКОВСКИЙ**

О ЛЕНИНЕ

Печатается по изданиям:
Н. К. Крупская. О Владимире Ильиче. Из воспоминаний. М., «Дет. лит.», 1970; О Ленине. Воспоминания. Рассказы. Очерки. М., «Худож. лит.», 1957; А. В. Луначарский. О воспитании и образовании. М., «Педагогика», 1976; М. Горький. Собр. соч в 18-ти томах, т. 18. М., «Худож. лит.», 1963; Владимир Маяковский. Собр. соч. в 12-ти томах, т. 3. М., «Правда», 1978.

На переплете иллюстрация
Д. С. Бисти
к поэме В. Маяковского
«Владимир Ильич Ленин»

Заведующий редакцией *И. Лепин*. Редактор *А. Зебзеева*. Художник *Е. Нестеров*. Художественные редакторы *Н. Горбунов*, *М. Курушин*. Технический редактор *Л. Тренева*. Корректоры *И. Пархомовская*, *Л. Крамаренко*.

ИБ № 718

Сдано в набор 03. 07. 79. Подписано в печать 11. 12. 79. Формат бумаги 84×108¹/₃₂. Бум. тип. № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл.-печ. л. 21,84, уч.-изд. л. 22,5. Тираж 75 000 экз. Заказ № 5661. Цена 95 к. Пермское книжное издательство. 614000, г. Пермь, ул. К. Маркса, 30. Типография издательства «Звезда», г. Пермь, ул. Дружбы, 34.

О Ленине/[Крупская Н. К., Бонч-Бруевич В. Д.,
О53 Луначарский А. В., Горький М., Маяковский В.]—
Пермь: Кн. изд-во, 1980.— 412 с.— (Юношеская
библиотека).

В книгу включены воспоминания о Владимире Ильиче Ленине
Н. К. Крупской, В. Д. Бонч-Бруевича, А. В. Луначарского, М. Горь-
кого и поэма В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин».

О $\frac{70803-16}{M152(03)-80}$ 49—80

Сб.

А. С. Пушкин. Избранные произведения.
Н. В. Гоголь. Мертвые души.
М. А. Шолохов. Избранное.
Вильям Шекспир. Трагедии. Сонеты.

Эти книги вышли в серии
«Юношеская библиотека».

Готовятся к изданию:

Д. Лондон. Повести. Рассказы.
Л. Толстой. Детство. Отрочество. Юность.
А. Фадеев. Молодая гвардия.



95 коп.



О ЛЕНИНЕ

О ЛЕНИНЕ

